



Израильский литературный журнал

АРТЯКЛА



№ 6

Общественный фонд культурных связей
“Израиль - Россия”

Тель-Авив
2018

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Нина Воронель. Великая любовь Райнера-Мария Рильке.....	3
Мадина Тлостанова. Дама без собачки.....	23
Алина Загорская. Дядя Эйзер и дядя Пейсах.....	60
Григорий Подольский. Прощай.....	65
Михаил Гольд. Последний галс.....	81
Сергей Четвертков. Квартирка.....	97
Даниэль Клугер. Бухарест, фотостудия Давида Фридмана.....	110
Яков Шехтер. Всем собакам собака.....	127

ПОЭЗИЯ

Рита Бальмина. Я плохая мама.....	141
Ирина Каренина. Задворки тихой каторги.....	145
Ирина Маулер. Город холодного неба.....	150
Алексей Цветков. В канун огня.....	159
София Бронштейн. Наверное, я осенью умру.....	167
Илья Марков. Стихи.....	173
Дмитрий Стровский. Букетик цветов.....	177
Максим Ненарокомов. Сосны вышли из берегов.....	179

НОН-ФИКШН

Давид Маркиш. Кинжал для Эйзенхауэра.....	183
Тая Найдено. Хочется фильма с нелинейным сюжетом.....	218
Роза Ляст. Потерянный триумф.....	221
Марк Горин. ВГИК и не только.....	229
Эдуард Бормашенко. К столетию русской революции.....	254
Александр Мошинский. Памятник.....	261
Борис Карафёлов. Портрет художника.....	266

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Роман Кацман. Песнь крота.....	275
Михаил Юдсон. Мессианские хроники.....	281

СТИХИ И СТРУНЫ

Ирина Морозовская. По безумным дорогам судьбы колеся (о песнях Вадима Гэфтера).....	285
---	-----

На первой странице – Дина Рубина (см. стр. 266).

ПРОЗА

Нина Воронель

ВЕЛИКАЯ ЛЮБОВЬ РАЙНЕРА-МАРИЯ РИЛЬКЕ

(Главы из второго тома романа «БЫЛОЕ И ДАМЫ»)

ЛУ

Лу приспустила верхнее стекло, и в купе ворвался весенний ветер. Она усмехнулась – вот он истинный ветер свободы! Наконец она свободна и ни от кого не зависит, ни от Георга, ни от Карла, ни от сероглазого оперного режиссёра, с которым провела последние две недели в Вене. Он не провожал её на вокзал, а мирно поцеловал перед уходом на репетицию, даже не заподозрив, что она уже купила билет на поезд Вена-Париж. Да и как он мог это заподозрить, если у них всё было складно и любовно? Ведь это только она, заранее почуяв надвигающуюся на них угрозу привычного однообразия, решила не дожидаться, пока она ему надоест. И поспешила покинуть его поскорей, чтобы он гадал и не мог догадаться, за какую провинность наказан и брошен.

Лу зябко поёжилась, но окно не закрыла – ей нравилось лёгкое шуршание ветра в складках коленкоровой занавески. Она была собой довольна – за последние пару лет она отлично разработала изощрённую технику разлук, превращающую её в недостижимый объект неудовлетворённого желания. За окном замелькали тусклые огоньки дальних пригородов Мюнхена. Лу задумалась. Срочно предстояло решить, как быть – пересечь на ночной берлинский поезд и вернуться домой к Карлу, или ехать дальше в Париж к Савелию? Представив себе, как оба они будут рады её приезду, она сразу заскучала – в этом не было ничего нового, да и не хотелось всю ночь трястись на неудобной вагонной койке, пускай хоть и первого класса.

А что, если остаться в Мюнхене? Ведь в среде её друзей всё настойчивей утверждалось мнение, будто Мюнхен становится культурным центром Европы. Какой же это будет культурный центр без неё? Она быстро набросила пальто, натянула перчатки и вызвала кондуктора, чтобы вынес на площадку её чемоданы. На платформе её никто не встречал – это было непривычно и даже немного неприятно, хотя она сама была виновата, никого не предупредив о своём приезде. Что ж, такова плата за полную свободу. Но всё же по прибытии в отель она пожертвовала свободой, вызвала посыльного и отправила одному из своих литературных поклонников записку о том, что она на несколько дней приехала в Мюнхен.

Её записка привела в движение весь механизм мюнхенской культурной жизни, и с утра на Лу посыпался град посещений и приглашений на приёмы, презентации и премьеры. Да, похоже, Мюнхен и впрямь становился культурным центром Европы. А она, Лу, пусть хоть на время, становилась центром культурной жизни Мюнхена. И она с удовольствием закружилась в весёлом водовороте приёмов и премьер.

Наутро после одной из премьер она получила странное письмо без подписи, не похожее на обычные приветствия, присланные ей на завтра после посещения театра. Автор письма сбивчиво утверждал, что будучи вчера в театре представлен Лу в антракте, он по возвращении домой стал читать её эссе «Иисус Христос – еврей». Перечитав эссе несколько раз, он с восторгом убедился, что строй её мыслей удивительно совпадает со строем чувств, выраженных в его поэтическом цикле «Видения Христа». И теперь он убеждён, что его поэзия освящена её гением.

Это неподписанное письмо странно тронуло ледяное сердце Лу, в нем было всё, чего не было у других – доверчивая беспомощность и детская уязвимость, сливающаяся с уверенностью в своём призвании. Ей захотелось встретиться с автором письма, но как она ни старалась, ей не удалось вспомнить всех, кого ей представляли вчера в театре. Она попросила в книжном магазине поэтический сборник «Видения Христа», но никто о нём никогда не слышал.

Отчаявшись, Лу решила порыться в письмах, полученных ею по приезде в Мюнхен – она хранила их, чтобы при встрече пока-

зять Карлу. И – о чудо! – нашла маленькую открытку, почти на-верняка написанную той же рукой. Открытка выражала надежду на встречу с удивительной женщиной и была подписана «Рене Мария Рильке». Дальше уже не составило большого труда найти адрес автора открытки, и Лу предложила ему встретиться с нею в соседнем с отелем кафе.

Она намеренно пришла раньше назначенного времени и села у дальнего от входа столика, чтобы угадать, кто из входящих Рене Мария Рильке. Кафе было популярным, время было пополуденное, и входная дверь то и дело отворялась, впуская всё новых и новых посетителей. Она выбрала двух-трёх мужчин поэтического облика, обводящих зал ищущим взглядом, но ни один из них к ней не подошёл. Она уже было подумала, что неизвестный поэт не отозвался на её приглашение, как вдруг за её спиной тихий голос произнёс:

«Добрый день, божественная фрау Лу Саломе».

Она обернулась и не поверила своим глазам – перед нею стоял юноша, вчера ещё мальчик. Не удивительно, что она не обратила на него внимания, перебирая взглядом входящих в кафе мужчин. Мальчик на лету схватил её руку и, низко склонившись, впился губами в запястье. Он не спешил завершить поцелуй, а она не спешила отнять руку – губы у него оказались удивительно нежные и тёплые. Но всё же долго так продолжаться не могло, и она наконец откинулась на спинку стула и сказала:

«Садитесь, Рене, и расскажите мне немного о себе».

Рене рухнул на соседний стул так неловко, что наступил ей на ногу, потом испуганно отодвинулся, но не слишком далеко, так что колено его уперлось ей в бедро. Она могла бы чуть повернуть стул, чтобы, не смущая юношу, оттолкнуть его колено, но ей понравилось его прикосновение, и она сделала вид, что ничего не заметила и слушает его внимательно:

«Я родился в Праге, учился там в университете... издал два тоненьких сборника стихов, приехал в Мюнхен в прошлом году»...

Пока он сбивчиво открывал ей небогатые подробности своей короткой жизни, она исподтишка рассматривала его черты, не находя в них ничего примечательного – крупные тёмные глаза в тени спутанных тёмных волос, бледные щёки, плохо вылепленный нос уточкой, глубокая ямочка на подбородке. Внезапно голос его пре-

рвался, похоже, волнение перехватило ему горло. Чтобы выручить юношу, она спросила, принёс ли он с собой цикл стихов «Видения Христа», о котором написал в своём письме. Он стал лихорадочно рыться в карманах своей студенческой курточки, вытаскивал какие-то бумажки и бросал на пол, но никаких стихов не нашёл.

«Как же так, – бормотал он, – я перед уходом положил их в левый карман... Куда же они делись?»

Вид у него был растерянный и несчастный.

МАРТИНА

Потом, когда их отношения уже сложились, они вместе искали эти стихи в его комнате, но так и не нашли. А через много лет, когда Рене уже давно был общепризнанным величайшим поэтом современности Райнером Рильке, их искали многие литературные критики и издатели, и тоже не нашли. Странно, не правда ли?

Может этих стихов вообще никогда не было, он просто их придумал, чтобы добиться свидания с божественной фрау Лу Саломе? Мог ли он предполагать, куда это свидание его приведёт?

ЛУ

Через пару дней они встретились в парке. Парк был огромный и прекрасный, и почему-то назывался Английский Сад. Им повезло, аллеи парка были пустынные – с нависших над городом грозowych туч накрапывал не крупный дождь, который разогнал гуляющих. Предусмотрительная Лу взяла с собой большой зонтик, предполагая, что влюблённый поэт придет не только без зонтика, но даже без головного убора. Так и оказалось: когда она подошла к водопаду, у которого они назначили встречу, волосы у Рене были совершенно мокрые – он, как видно, давно её ждал.

«Скорей прячьтесь под зонтик!» – воскликнула она, но Рене не удалось нырнуть в прозрачную голубую тень зонтика, он был для этого слишком высок.

«Тогда держите зонтик вы, – сообразила Лу, – он достаточно большой для двоих».

Но зонтик оказался недостаточно большим, и Лу то и дело выскальзывала под дождь, который становился всё крупней.

«Так не пойдёт, – объявила Лу и решительно прижалась к Рене, – вам придётся за меня держаться».

Его рука, застрявшая между плечом и локтем Лу, была так наэлектризована желанием, что волна этого желания захлестнула и её. За последние годы у неё было немало любовников, в разной степени в неё влюблённых, – все они были мужики бывалые, знавшие толк в любовных утехах, но не в любви. Ими можно было играть и манипулировать. А как быть с этим, юным и неопытным, который мог бы быть её сыном? Оттолкнуть и не попробовать? В её мысли ворвался его голос:

«Так куда же мы пойдём?»

Дождь усиливался, делая предполагаемую прогулку по парку невозможной. Конечно, можно было бы попытаться найти свободный столик в соседнем кафе, битком набитом разочарованными любителями прогулок по парку, но как-то не хотелось. Тем более, что ноги у них обоих уже промокли и рукава, торчащие из-под зонтика, тоже.

«Давайте пойдём ко мне, – робко предложил Рене. – Мой пансион тут недалеко, в двух шагах от парка».

Пойти к нему? Это звучало заманчиво и опасно. Интересно, что сказала бы княгиня Марья Алексевна? А не всё ли равно? Ведь недаром Лу объявила себя поборницей свободы и равенства мужчин и женщин в любви!

«Что ж, пошли к тебе, если это и вправду недалеко».

«Ты» соскочило с её языка легко и непринуждённо, словно она обратилась к своему сыну, а «сын» онемел от неожиданности – он-то не мог так сходу сказать ей «ты». И потому ответил безлико:

«Только нужно тихо, чтобы хозяйка не заметила».

Так на «ты» и «вы» сжавшись под зонтиком, они весело потопали по лужам, – всё равно, башмаки промокли насквозь и терять было нечего.

Его пансион и вправду оказался за углом. Он открыл дверь своим ключом и они, сдерживая смех, прокрались по коридору, застеленному потёртой дорожкой бывшего цвета. Окно его комнаты выходило в сад – она заметила это вскользь, когда он задёргивал шторы. Заметила и не спросила зачем. И не спросила зачем, когда

он, сбросив в угол свои мокрые башмаки и носки, опустился на колени и стал стягивать с неё промокшие башмачки. И потом не спросила, когда он стянул с неё башмачки и чулки и, не вставая с колен, принялся целовать пальцы её ног – его юность позволяла ему любую позу. От его поцелуев в голове у неё помутилось, как никогда до того, а дальше всё полетело к тартарары, и мысли, и одежды, осталась только радость, что и ей досталась в жизни любовь.

МАРТИНА

Лу не спешила сообщить Карлу о своей неожиданной любви. Она только написала ему, что хочет еще на какое-то время задержаться в Мюнхене и попросила прислать её любимые книги и летний гардероб. Карл не стал её упрекать – он никогда её не упрекал, таков был уговор. Карл послушно отправил багажом сундук с платьями и книгами, но при этом объявил, что хочет навестить жену в Мюнхене.

Лу прикусила губу – неясно, он просто соскучился или до него дошли какие-то сплетни. Для сплетен было много оснований – как они с Рене ни старались скрыть свои отношения, их слишком часто видели вместе, а не быть вместе они уже не могли. И она решила – написала Карлу, что ждёт его в августе, когда у него будут каникулы.

ЛУ

Могло показаться, что все хозяйки дешёвых пансионатов штампуются по одному шаблону. Хозяйка мюнхенского пансионата Рене выглядела как любительская копия хозяйки берлинского пансионата Лу – те же стянутые в узел сидящие волосы, тот же стянутый в куриную гузку рот, те же колючие маленькие глазки неопределённого цвета. Однажды её колючие глазки проводили Лу до самой комнаты Рене и встретили через несколько часов у двери его комнаты – можно было поверить, что хозяйка всё это время не покидала свой наблюдательный пост у входа в пансион.

Дождавшись, пока Лу достигнет входной двери, хозяйка процедила сквозь зубы:

«Ни стыда, ни совести! Ведь вы ему в матери годитесь!»

Погружённая в свои мысли Лу вздрогнула:

«О чём вы?»

«Думаете, я вас первый раз вижу? Но сегодня я решила проследить, сколько времени вы проведёте у этого мальчика. И убедилась!»

«В чём вы убедились?»

«В том самом! И если вы ещё раз здесь появитесь, я вызову полицию нравов! И вас арестуют за растление малолетних».

И Лу, гордая поборница свободы, отважная поборница равенства женщин и мужчин в сексуальных отношениях, испугалась – не за себя, а за Карла, за его честное имя, за его профессорскую позицию. Она поняла, что дальше так продолжать невозможно и нужно искать новое место для встреч с Рене. Она не стала брать фиакр, а пошла пешком, чтобы лучше обдумать сложившуюся ситуацию. Неожиданная мысль обожгла её – зачем ей встречаться с возлюбленным, когда можно с ним не расставаться? А значит, нужно искать не новое место для встреч, а скромную площадку для любовного гнездышка.

Задача оказалась непростой. Квартиру в городе невозможно было снять на неопределённый срок и невозможно было предположить на какой срок эта квартира им понадобится. А вдруг это безумное опьянение любви к неопытному юноше слетит с неё так же внезапно, как и налетело?

Но пока безумное опьянение владело ею, она жаждала быть рядом с ним, жаждала слышать его голос и таять в его объятиях. Странно, за эти годы она перебрала немало любовников, одни были лучше, другие – хуже, но ни к одному она не прикипела душой так, как этому мальчишке, не такому уж красивому, не такому уж талантливому. Он был ещё не готов к величию, ещё не созрел как поэт, но в его подчас невнятном бормотании можно было расслышать отзвуки ритмов будущего гения. И в любовном искустве он поначалу был робок и не уверен в себе, но страстен и способен к обучению. Она даже не представляла себе раньше, какое это удовольствие обучать искусству любви любимое существо.

Единственное, что раздражало её в нём, было его дурацкое девичье имя – Рене. И вот однажды она набралась смелости и предложила ему сменить его нежное Рене на мужественное – Райнер.

Он, конечно, согласился, как соглашался со всем, чего она требовала. И стал Райнер Мария Рильке.

Под этим именем он вошёл в историю.

Проблему любовного гнездышка Лу решила со свойственной ей изобретательностью. Она сняла не городскую квартиру, а деревенский бревенчатый домик, одной стеной прилепившийся к горному склону. В соседнем с ними сарае жила кроткая корова, но им её близость нисколько не мешала наслаждаться своим жилищем. Они купили на блошином рынке большую деревянную кровать, поцарапанный овальный стол и двусторчатый шкаф. Хозяин подарил им пару жестких скамеек, а друзья художники завалили дощатый пол подушками и плетёнными ковриками – получилось комфортабельно и даже по-своему красиво.

Когда Лу разбирала присланный Карлом сундук, Райнер заметил несколько книг, написанных кириллицей.

«Что это?» – удивился он.

«Книги русских писателей – Льва Толстого и Антона Чехова».

«Ты читаешь по-русски?»

«А ты не знал? Я недаром закончила гимназию в Санкт-Петербурге».

Райнер пришёл в восторг: «Значит, ты можешь научить меня русскому языку? Я давно об этом мечтал».

Так в их счастливую жизнь вошёл русский язык – неделями не выходя из своего уютного гнёздышка, они попеременно занимались то любовью, то кириллицей. В изучении языка, как и в любви, Райнер оказался на редкость способным учеником. Так что к приезду Карла он уже сносно лопотал по-русски, правда, со страшным акцентом, зато связно.

Карл к тому времени уже знал всё о новой причуде своей взбалмошной жены. Ему это вовсе не понравилось, но возражать он не смел – таково было их брачное соглашение. Как ни удивительно, ему понравился Райнер – своей наивностью, талантом и стремлением выучить чужой язык. Сам Карл Андреас кроме десятка ближневосточных языков отлично владел английским, французским и тремя скандинавскими. Правда, русского он не знал.

МАРТИНА

Я во всех деталях изучила жизнь и похождения Лу, но так и не смогла понять мотивов поведения высокообразованного профес-

сора Кала Андреаса. Неужели он и вправду поверил коварной выдумке Лу, что истинная любовь на всю жизнь возможна только, если она не искажена причудами эротики, как у других людей? Такой умный, такой начитанный, и поверил? Или он просто был мазохист и любил страдать? Страдания от жены он получал без меры до конца жизни. Причём его биография наглядно показывает, что он не был импотентом: много лет он сожительствовал со своей экономкой, которая родила ему дочь Мари.

Нигде не сказано, куда в конце концов девалась экономка, но девочка Мари осталась в доме Карла и Лу. Лу не только воспитала её, но и приворожила – Мари обожала её, и в конце её жизни верно и преданно за неё ухаживала. Лу завещала Мари всё своё состояние, оставленное ей Карлом.

Странные люди, странные, непостижимые отношения. Или это я такая наивная простушка, что ничего не понимаю? Но это не исказит мой рассказ – он отражает только факты.

ЛУ

Прекрасно! Райнер настолько понравился Карлу, что тот пригласил его переехать в свой дом в Шмаргендорфе. Лу просто онемела, когда услышала, как Карл, даже не сговорившись с ней, начал расписывать Райнеру красоты этого берлинского пригорода.

«Лу всю зиму ходит там босиком по лесным тропинкам», – похвастался он, будто зимние прогулки Лу были его личным достижением.

«С чего бы это он?» – удивилась Лу и догадалась: Карл боится, что ему иначе не удастся заманить неверную супругу домой.

Они втроём покинули бревенчатую хижину и кроткую корову, которая даже не выглянула в окошко, чтобы с ними попрощаться. И дружной тройцей въехали в уютный профессорский дом в уютном пригороде Берлина. Там Лу и Райнер после пробежек босиком по зимним лесным тропинкам продолжили усердные занятия любовью и русским языком.

Правда, их счастливые идиллические периоды то и дело нарушались депрессивными лихорадками Райнера. В минуты сжигающего его трагического отчаяния все достоинства возлюбленной

превращались в её недостатки. Он начинал ненавидеть её щедрость, её великодушие, её нежность. Она подавляла его своим великолепием.

Он писал: «Я подобен анемону, который раскрылся так широко, что вечером не смог закрыться и вынужден был принять в себя весь ужас ночи».

«Я ненавижу тебя за то, что ты такая большая и щедрая», – говорил он ей. Он проклинал её, а она всё ему прощала. Они сладко мирились и начинали с еще большей страстью атаковать неприступную твердыню русского языка.

В конце зимы Карл смирился с их непостижимой любовью и, замороженный происходящим в его доме освоением русской культуры, предложил им втроем отправиться в Россию. 25 апреля 1899 года Карл, Райнер и Лу отбыли пассажирским поездом Берлин-Москва и 27-го прибыли в Москву как раз к празднику православной пасхи.

Москва встретила их всем, о чём они мечтали – перезвоном сотен колоколов, пасхальными процессиями, пышными куличами и крашеными яйцами. На их очарованный глаз она выглядела провинциальным пряничным городом, сохраняющим при этом следы прошлого столичного великолепия. Но, предвкушая пасхальные радости, заботливая Лу подготовилась и к светской части их поездки – она запаслась рекомендательными письмами к видным представителям московской культурной элиты.

Самым результативным был визит к художнику Леониду Пастернаку, работавшему в то время над иллюстрациями к роману Льва Толстого «Воскресение». Услыхав, что его немецкие гости страстные почитатели Толстого, Пастернак попросил писателя уделить им несколько минут своего драгоценного времени. Толстой пригласил всю троицу к чаю в Страстную Пятницу.

Это был странный визит. Впереди гордо выступала Лу, уверенная в обаянии своей женственности и писательского успеха. За её спиной топтался робкий, ни в чём не уверенный Рильке. И замыкающим вошёл в гостиную великого человека скромный высокообразованный профессор Карл Андреас. Великий человек небрежно бросил на стол презентованную ему последнюю книгу Лу, кратко объяснил Рильке, почему поэзия никому не нужна, и обратил взгляд на профессора Андреаса. Взгляд его из равнодушного быстро превратился в заинтересованный:

«Вы – профессор ближневосточных культур?» – спросил он по-французски. Андреас ответил утвердительно, и между ними вспыхнул увлекательный для обоих и непонятный для остальных стремительный диалог. Лу, потрясённая таким очевидным невниманием к её присутствию, несколько раз пыталась втиснуться в этот диалог по-русски, но великий старец то ли не слышал её реплик, то ли делал вид, что не слышит. Когда назначенное время их визита почти истекло, ей всё же удалось воскликнуть на прощанье:

«Мы все в таком восторге от пасхальной Москвы, от её щедрости, от её колоколов, от её шествий и куличей!»

Тут Толстой наконец её заметил:

«То-то я всё время твержу, что пора покончить с этими языческими обрядами, – отозвался он. – В них нет ничего от христианства!»

«Зачем отменять? – ужаснулась Лу. – Это же так красиво!»

«Мне сейчас недосуг с вами спорить. Хотите поговорить об этом, приезжайте как-нибудь летом к обеду в Ясную Поляну».

МАРТИНА

Через год они и вправду поехали в Ясную Поляну в надежде вступить в диалог с «великим русским», как они его называли. Конечно, для второй поездки в Россию было много разных других поводов кроме увлечения Львом Толстым. Тогда, в 1899 году, Лу после Москвы повезла Райнера в родной ей Санкт-Петербург, где они провели две недели, кружась в искромётном хороводе создателей российского «Серебряного века». Там всё завихрялось «в ритме вальса» – создавалась новая живопись, новая поэзия, новый театр. Чуткий Рильке с головой окунулся в этот водоворот, нескладно лопоча по-русски и лишь на треть понимая услышанное. Но этого ему было достаточно, чтобы влюбиться в Россию.

Эта влюблённость всколыхнула творческий дух экзальтированного юноши. За год, прошедший между двумя поездками в Россию, он написал невероятное количество произведений. – первый том «Книги часов», финал книги «Бог-отец», множество лирических стихов, а главное, поэму «Любовь и смерть корнета Кристофера Рильке», о которой речь впереди.

Хоть Лу была не так очарована своей покинутой родиной, как её юный любовник, ей льстило повышенное внимание русских артистов и художников. Ей даже постепенно начало казаться, будто сам великий старец Толстой, как и всякий представитель сильного пола, подпал под власть её чар. Она словно забыла, что весь час чаепития он посвятил беседе с Карлом о персидской секте Бахаев, а не ей с её богоискательством. И она всё с большим количеством подробностей хвасталась своим приятелям и поклонникам, что Лев Толстой пригласил их с Райнером пообедать у него в Ясной Поляне.

ЛУ

«Лу, – плохо скрывая раздражение позвал Карл, – пора кончать урок. Обед уже на столе».

«Да, да, – отозвалась Лу по-русски, – мы уже идём».

«Ты что, совсем разучилась говорить на родном языке?» – спросил Карл, когда они втроём, как обычно, привычно уселись за привычно накрытый стол.

«Представляешь, я недавно обнаружила, что у меня их два».

«Но жить ты всё же собираешься в Европе?»

«Как сказать. Мы с Райнером планируем новую поездку в Россию».

Карл прямо задохнулся от возмущения:

«Зачем? Вы ведь всё там уже видели!»

«Отнюдь не всё! Мы даже не понюхали прелести крестьянской жизни. А ведь Россия – крестьянская страна».

«Что же вы хотите узнать?»

«Мы хотим, – вмешался Райнер, – заглянуть в душу угнетённого пролетария и в душу кроткого пахаря, ещё не деформированную городской жизнью»

«Сказано возвышенно, – фыркнул Карл. – Но как именно вы намереваетесь это сделать?»

«Мы уже наполовину это сделали. Мы сговорились с нашими московскими друзьями, и они составили нам программу встреч. Они поведут нас на курсы продвинутых рабочих и на выставки самых дерзких художников. Ты сам говорил, что сегодня Россия – центр революционного искусства».

«У нас уже есть билеты на все пьесы Чехова в художественном театре!» – похвастался Райнер.

«И ты надеешься понять быструю русскую речь?»

«Во всяком случае пьесу «Чайка» я пойму наверняка – я уже перевёл её на немецкий».

«Хорошо. Предположим, вы подглядите в щёлочку жизнь московского художественного мира, а как быть с подлинным крестьянином?»

«И на это у нас есть ответ – наши друзья сняли нам хижину, которая называется изба, в отдаленной северной деревне. И мы проживем истинной крестьянской жизнью – будем пахать, сеять, косить и жать. И таскать воду из колодца!»

«А для этого, как ты понимаешь, Райнер должен выучить русский язык как можно лучше. Вот мы и занимаемся русским языком дни и ночи напролёт. Теперь ты понимаешь, почему мы перестали тратить время даже на лесные прогулки?».

«Кажется, я понимаю».

«И одобряешь?»

«Одобряю, но не настолько, чтобы финансировать ваш русский каприз».

Лу прикусила губу – этого она не ожидала. Карл всегда был щедр и безропотно оплачивал её поездки в европейские столицы. Однако она гордо ответила:

«Не хочешь, как хочешь! Мы справимся без твоей помощи!»

И они справились – Лу взяла в долг небольшую сумму, которой в сочетании с её карманными деньгами хватило на билеты до Москвы. А в гостеприимной Москве она умело организовала их быт, так что живя по очереди у разных приятелей, они не должны были тратиться на гостиницу, и будучи часто приглашены на обеды и вернисажи, могли почти ежедневно обходиться только скромным завтраком.

Артистическая жизнь в Москве бурлила, кипела и пенилась, на глазах создавалось новое искусство, менялись нормы живописи и театра. Восторженно вдыхая московский воздух, немецкие гости не сознавали, что он насыщен грозowymi разрядами надвигающейся революции, а московские хозяева не спешили открывать им глаза, чтобы не омрачать их праздничное настроение. И потому второй московский период остался в их памяти как непре-

рывный фестиваль духовной жизни. Не вникая в глубокий кризис российской реальности, они вырастили в своих душах совершенно другой облик этой чужой страны – образ пряничного рая для всех её жителей.

По-детски держась за руки они бродили по арбатским переулкам, посещали церковные службы и пили чай в народных кабачках. И вдоволь нагулявшись, счастливые и вдохновлённые, они наконец отправились на Курский вокзал, намереваясь сесть в поезд, который отвезёт их в Ясную Поляну на обед к Льву Толстому. На перроне они неожиданно столкнулись со знакомой по прошлому московскому визиту фигурой – с художником Леонидом Пастернаком, который вёз в Крым девятилетнего сына Боря. Впоследствии поэт Борис Пастернак описал эту встречу в своей «Охранной грамоте» – хрупкий молодой мужчина поразил его своим наивным взглядом и благородной осанкой, а сопровождавшую его высокую женщину Боря принял за его мать или старшую сестру.

МАРТИНА

Правда, здесь нужно сделать сноску на то, что автор «Охранной грамоты» уже знал, что случайно встреченный им много лет назад на вокзале молодой мужчина признан гением всех времён и народов, а мальчик Боря ещё этого не знал. И неизвестно, точно ли соответствует то, что подумал тогда мальчик Боря, тому, что написал юный Борис Пастернак. Он не то, чтобы слухавил, а просто постепенно выстроил в душе лубочный образ Райнера Марии Рильке, о котором вряд ли бы вспомнил, если бы тот не оказался впоследствии гением всех времён и народов. Нет, нет, я ничего такого не хотела сказать, это прорвалось моё второе Я, о котором я честно рассказала во вступлении в эту книгу.

ЛУ

Лу и Райнер расстались с Леонидом и Борей ещё на перроне, так как российские художники ехали в самом дорогом классе, а немецкие гости из экономии в самом дешёвом. Они вышли из поезда на маленькой станции под Тулой и прощально помахали

Пастернакам, смотрящим на них из вагонного окна. Найти дорогу к Ясной Поляне было не трудно, — её знал каждый встречный. Любовники весело шагали мимо сосновых рощ, берёзовых перелесков и бедных крестьянских домишек, наслаждаясь мыслью, что идут по истинно русской земле к истинно великому Русскому.

Они пришли немного раньше назначенного времени, так что смогли полюбоваться роскошным барским домом, позабывши на время о требованиях социальной справедливости. Их только немного смутил истошный женский крик, доносящийся из открытого окна второго этажа. Какая-то женщина произносила бесконечный гневный монолог, иногда прерываемый рыданиями, а иногда умоляющим старческим голосом. В назначенное время Райнер дёрнул верёвку колокольчика. После долгого ожидания заветная дверь неохотно приоткрылась, позволив Лу протиснуться в прихожую, и тут же закрылась. Испуганный Райнер растерянно топтался снаружи, не зная, что ему делать. Но к счастью, дверь снова отворилась и впустила в прихожую и его.

За дверью гостей ожидал старший сын Толстого, который провёл их в большую комнату, увешанную картинами, и попросил немного подождать. Они натянуто заговорили о достоинствах висящих на стенах комнаты картин, делая вид, что не слышат воплей и рыданий, прорывающихся даже сквозь толстые стены и основательный потолок. Сын Толстого тоже вёл себя так, словно ничего необычного не происходило. Так прошло много времени — по одним оценкам полчаса, а по другим — не менее двух. И наконец, к потрясённым гостям вышел сам Толстой, как-то сразу постаревший и согбенный.

Он спросил, что его дорогие гости предпочитают — обед с друзьями или прогулку с ним. Гости, хоть и были отчаянно голодны — в ожидании графского обеда они сэкономили на завтраке, — естественно, предпочли прогулку с ним.

«Тогда я покажу вам свои луга».

И он повёл их по хорошо утопанной боковой дорожке, обсаженной разноцветными цветущими кустами. Они пытались завести с ним заранее заготовленный разговор о вере в Бога и неверии, но вскоре заметили, что он не может сосредоточиться на высоких материях. Он раздраженно обрывал с веток головки цветов и бросал их обратно в кусты, а потом вдруг перебил Райнера, пытающегося развить какую-то мысль по-русски, и спросил:

«А чем ты занимаешься в жизни?»

Райнер на секунду опешил, но пришёл в себя и смущённо пробормотал:

«Я написал несколько вещичек и издал пару книжек стихов».

Толстой резко обернулся к нему и рявкнул:

«Разве я не предупреждал тебя, что поэзия никому не нужна?»

И повернул обратно к дому:

«Простите, но я должен вернуться и уладить свои семейные проблемы».

Он пошёл по дорожке настолько быстро, насколько ему позволяла согбенная спина, а огорчённые гости поплелись следом, голодные и безутешные. Они уже давно поняли, что великому человеку сейчас не до них.

Но они не могли долго переживать обиду и разочарование, — им нужно было спешить. Их дешёвые билеты были суточные и включали в себя возможность ещё одной поездки. А в их планы входил ещё один душевный визит — к крестьянскому поэту Дрожкину, живущему в родной деревне к северу от Москвы. Райнер перевёл на немецкий сборник стихов Дрожкина, скорее всего потому, что тот был классически ясный поэт, вроде Кольцова и Майкова, и его русский язык позволял Райнеру проникнуть в неглубокую суть его стихов.

Дрожкин встретил их как родных. Да он и чувствовал их родными — иначе с чего бы это Райнер выбрал именно его стихи для перевода? Он поселил гостей в новенькой, ещё не закопченной чистой избе, и вечером при свете коптилки читал им свои последние стихи. Они были растроганы, и выбросив из памяти неудачный визит к Толстому, заснули умиротворённые, чтобы ни свет ни заря отправиться бродить босиком по росистым российским лугам. В деревне их восхищало всё — мычание коров, душистое сено на скошенных лугах, гостеприимные улыбки кротких крестьян, простота их быта. Но когда за ними заехал местный помещик Николай Толстой, родственник писателя, и пригласил их пожить в его комфортабельном барском доме, они с радостью согласились.

Однако это был еще не конец их попыткам познать крестьянскую душу России — на окраине деревеньки под Ярославлем для

них была снята свежестроенная бревенчатая изба, в которой они поселились, чтобы жить полной жизнью простого крестьянина. Любезные хозяева избы оставили на столе буханку ржаного хлеба, лукошко картошки и полную солонку. Любовники спали на набитых соломой матрасах и варили картошку на дровяной плите, которую нелегко было разжечь. Однако на второй день они почувствовали, что картошки с хлебом им не достаточно, и купили кувшин молока у соседки. Назавтра оставленное на окне молоко скисло, картошка закончилась, а от буханки хлеба осталась только сухая горбушка.

Тогда они отправились на местный базар, купили хлеб, картошку и пять предложенных им курочек-несушек в надежде на яйца. По приходе домой оказалось, что яйца снесли только две курочки из пяти, а три остальные возможно были петушками. Лу решила из одного петушка сварить бульон, но ни она, ни Райнер не были готовы этого бесплодного петушка зарезать и оципать. Так что пришлось вернуться в деревню и уговорить кого-то это сделать. Пока сухонький рыжебородый мужичок выполнял их просьбу, они выбежали из его двора и отошли подальше, чтобы не видеть экзекуции и не слышать предсмертных воплей. Правда, это не помешало им наслаждаться вкусом свежего куриного бульона.

Среди ночи Лу проснулась от того, что пальцы Райнера лихорадочно впились в ее плечо, он весь трясся – его охватила нервная дрожь, такая сильная, что у него зуб на зуб не попадал.

«Ты видишь, Лу, вон он – окровавленный петушок с перерезанным горлом! Бежит по дорожке к нашей избе!»

«Ты бредишь, Райнер. Разве ты можешь увидеть петушка в этой кромешной тьме?»

Райнера вырвало – куриный бульон вырвался наружу из его желудка в отместку за совершённое убийство. Лу с трудом удалось успокоить его и укачать, как ребёнка. Но наутро от его смертельного страха не осталось и следа, и он сам смеялся над своей впечатлительностью.

«Это был не я, а тот, Другой, который прячется у меня где-то внутри», – повторял он.

Можно было бы считать, что их деревенская жизнь постепенно налаживается, если бы не уборная, то есть её отсутствие. Во

дворе за домом была вырыта неглубокая выгребная яма, которая ужасно воняла. Не было никакого сиденья, только поперёк ямы лежали три довольно тонких жёрдочки непонятного назначения, – сидеть на них было нельзя, стоять опасно. И потому Лу охотно откликнулась на робкое предложение Райнера прервать этот слишком мучительный эксперимент и вернуться в Петербург.

Оказалось, что она мечтала прервать не только мучительный эксперимент попытки жить крестьянской жизнью, но и не менее мучительный эксперимент по замене матери и старшей сестры своему юному любовнику.

По дороге в Петербург она объявила потрясённому Райнеру, что намерена оставить его на несколько недель в Москве на попечении их московской приятельницы Софьи, пока она сама поедет в Финляндию к брату, чтобы подлечить пошатнувшееся здоровье. Бедный Райнер не мог поверить тому, что услышал – ведь за четыре года их горячей любви они по сути никогда не расставались. А теперь она хочет покинуть его одинокого в чужой стране – не может быть!

Правда, однажды они расстались по его инициативе – он хотел доказать себе и ей свою независимость и способность обойтись без её забот. И поехал путешествовать по Италии один, без неё. Там он вёл «Флорентийский дневник», в котором все его попытки поучаствовать в празднике омрачены отсутствием Лу. Можно сказать, что эта единственная разлука не удалась.

«Но почему в Москве? Я лучше вернусь в Германию».

«Скажи, куда ты поедешь без меня? – жёстко спросила она. Он не узнал её голос, они никогда с ним так не говорила, она всегда была сама ласка и нежность. – Не к Карлу же в Шмаргендорф?»

К Карлу он и впрямь не мог поехать без неё. Но почему без неё? Они ведь могут поехать вместе.

«Нет, вместе мы поехать не можем! – ещё более жёстко сказала она. – Я поеду в Финляндию к брату, я очень устала и надорвалась. Мне нужно отдохнуть и привести себя в порядок».

«Отдохнуть – от чего?» – спросил он, заранее пугаясь её ответа.

И она его не пощадила:

«В частности, от тебя!»

МАРТИНА

Хочется спросить – что с ней случилось? За что она его так?

Есть несколько вариантов, ни один из них ничем не подтверждён.

Самый простой – он ей просто надоел. Опынение прошло, и она его увидела таким, каким он был в реальности – слабым, нервным, беззащитным. Как он убегал со двора мужика, согласившегося зарезать их петушка! Как отвратительно дрожал и цеплялся за неё! Разве настоящие мужчины так поступают? А тут ещё неудачный визит к Толстому – ведь по сути всё произошло так нескладно из-за Райнера. Толстой ему прямо сказал, что поэты никому не нужны. Хотя она и ценила поэзию Райнера, но лучше бы к великому старцу она пошла одна, к ней он наверняка отнесся бы иначе.

А главное – Райнер слишком часто впадает в отчаяние, плачет, стонет, жалуется. Она так устала от его нытья! Она счастлива, что вернулась в Россию, – тут она нашла потерянную частицу себя, которой ей так не хватало. А хнычущий Райнер к этому счастью вовсе не причастен и висит у неё на шее тяжким ярмом. Вот она его с себя и сбросила без всяких церемоний – это вполне соответствовало её широко декларированной свободе от предрассудков. Она написала в дневнике: «Мне сейчас хочется только одного – больше покоя и одиночества, как было четыре года назад».

А может быть, всё не так, может быть, она и впрямь была больна? Ведь здоровье у неё с детства было хлипкое, и все эти смелые эксперименты её подкосили. Но она не хотела признаваться в своей болезни наивному мальчику, чтобы не навести его на мысль, что она для него стара. Она вернулась в туманную Германию, а там всё дальнейшее покрыто туманом. На её пути вдруг оказался врач, доктор Фридрих Пинельс, который вскоре стал её любовником и оставался им долгие годы.

Когда стремление пожить спокойно и мирно, как до встречи с Рильке, привело Лу обратно в её дом в Шмаргендорфе, её ждал сюрприз: за время её отсутствия Карл вступил в связь со своей экономкой, и она родила от него дочь. Потрясённая Лу была поставлена перед выбором – возмутиться или примириться. Её по-

ведение в который раз доказало, что она воистину умна и рассудительна — она приняла маленькую девочку как родную и сделала её родной.

Тем временем брошенный ею бездомный Рильке в конце концов пристроился в артистической колонии Ворпсведе под Бременом — стипендию получил, что ли? — и там стремительно женился на девице скульпторе Кларе Вестхофф. Сделал он это из любви или из мести, неизвестно, но развелся он так же стремительно, как женился. У него тоже родилась дочь, и в поисках какого-нибудь заработка, он попробовал вернуться в Россию.

Сохранилось его письмо редактору газеты «Новое время» Алексею Суворину:

«Моя жена не знает России; но я много рассказывал ей о Вашей стране, и она готова оставить свою родину, которая ей тоже стала чужда, и переселиться вместе со мной в Вашу страну — на мою духовную родину. О если б нам удалось наладить там жизнь! Я думаю, что это возможно, возможно потому, что я люблю Вашу страну, люблю ее людей, ее страдания и ее величие, а любовь — это сила и союзница Божья».

Суворин не ответил на письмо неизвестного ему немецкого литератора.

Не найдя реального заработка, Рильке покинул жену и дочь и опять стал взывать к жестоко покинувшей его возлюбленной. Но она не смягчилась — она готова была переписываться с ним, но не готова встречаться. Их многолетняя переписка составила солидный том. Таким образом их великая любовь из эротической превратилась в истинно духовную.

Мадина Тлостанова

ДАМА БЕЗ СОБАЧКИ

«Ощущение поражения и утраты, постепенно проникавшее в город на протяжении последних полутора веков, оставило отпечаток бедности и обветшания на всем — от черно-белых пейзажей до одежд обитателей».

Орхан Памук

1

Бледный денек обещал сразу и солнце, и робкий дождик. Примостившись на неудобной скамье в считанных шагах от моря, я с наслаждением вдыхала соленые брызги. Остальные лавки были заняты отдыхающими, и пришлось довольствоваться этой. Ее кособокая спинка заставляла сидеть, неестественно выпрямившись, и у меня тут же заныл больной пятый позвонок. В руках небрежно раскрылся маленький томик рассказов Буццати, но сосредоточиться на чтении как-то не получалось. Отвлекали крики чаек, шум волн, смех детей, лай собак и назойливая пляжная музыка из многочисленных уличных кафе.

Кособокая скамья была последней в облагороженной части пляжа. Но уже в десяти шагах виднелись дюны, и кривая сосна цеплялась из последних сил заzybучий песок. Дальше всё было заброшенным и диким. Пара руин старых советских профилакториев, свежесгоревший ресторан «Прибой», редкие местные старушки с корзинками грибов и ягод и молодые мамы с детьми. Коричневое море в отливе уходило далеко назад, неряшливо оставляя по пути водоросли и моллюсков. Лоснящиеся вороны тяжело прыгали в вязком песке и ловко вскрывали клювами ракушки. И было что-то тоскливое в этом сочетании еще не совсем белой

ночи и останков морской жизни. Как будто заезженная пластинка все время соскальзывала в одну и ту же тему — то в мажоре, то в миноре, то *allegro*, то *andante*, то отчаяние, то надежда.

В моем мобильном телефоне есть контакт — «Дом». Но теперь ведь никого дома нет и быть не может, если там нет меня. Звонить себе самой я не могу. Да и не дом это давно. Пора сменить это несоответствующее название на что-то другое, например, «мой старый номер» или вовсе назвать себя какой-нибудь кличкой или своим же литературным псевдонимом. И все же вопреки обычной логике, сырой апрельской ночью телефон зазвонил, и на экране высветилось «Дом». Я оцепенела, но когда с опозданием палец все же скользнул по зеленой трубке, на том конце слышался лишь невнятный шорох и потрескивающее молчание. И я ощутила пустоту и тишину медленно покрывающегося пылью, брошенного уже не дома.

Погрузившись в привычный нескончаемый мысленный поток, я и не заметила, как на краешек скамейки с другой стороны присел светловолосый человек неопределенного возраста — не то сорок пять, не то шестьдесят. Сгорбился, отвернулся от солнца, собрался бесформенным свертком, а потом достал из кармана чуть смятую пачку «Коиба» и закурил. Курил он нервно, слишком часто затягивался, как будто кто-то вот-вот отнимет сигариллу. Держал он ее почему-то в горсти, словно прятал от окружающих. Еще мне показалось, что невольный сосед старательно избегал показывать мне лицо, как будто я его могла узнать. Но откуда здесь взяться знакомым?

Тут к облупленной лавке подбежала собака, вернее, наполовину подъехала. Когда-то бедную таксу видимо переехала машина, и задние ноги ее парализовало. А сердобольный умелец-хозяин изготовил тележку-протез, чтобы она могла снова бегать. Черный пес весело тащил за собой двухколесное косолапое чудо, быстро перебирая короткими передними лапками. Он, верно, учуял домашний сулугуни в моей икатовой сумке, купленный ранним утром на рынке у веселой грузинки. И теперь бедолага заглядывал в глаза, непрестанно виляя хвостом. Да-да, несмотря на парализованные лапки, хвост непостижимым образом продолжал отчаянно вилять.

— Ты прямо какой-то собачий киборг! — сказала я и угостила его сыром. А мужчина прикурил вторую сигариллу от первой и чуть

повернулся в нашу сторону, на тридцать градусов, не больше, но все же достаточно, чтобы наши взгляды встретились. Впрочем, он тут же отвел глаза и втянул голову в плечи. Но я все же успела заметить неестественно широко распахнутый серо-голубой взгляд, как будто он старательно таращился, чтобы все могли оценить, какие большие и красивые у него глаза и пушистые ресницы. Впрочем, впечатление сглаживалось искренностью взгляда – эдакий великовозрастно-мальчуковый gaze с искорками удивленного восторга, гаснущими от робости.

Ну конечно, это был Герострат. Я его сразу узнала. Он попытался неловко погладить таксу-инвалида. Но та ловко увернулась и, проехав колесом по его скосолапленному черному конверсу, удивительно быстро для своего состояния направилась к небольшой банде чаек, замышлявших какое-то явно нехорошее дело у самой кромки моря. Герострат нервно достал следующую сигариллу.

– Los que fuman Cohiba no van morir de cáncer, pero aquellos que no fuman van a morir de envidia.

– Простите?

Мое чуткое ухо сразу же узнало глубокую теплую хрипотцу.

– Это кубинская поговорка о ваших сигарах.

Он, наконец, отважился посмотреть мне прямо в глаза, но получилось как-то виновато и растерянно.

– Я говорю, вы слишком много курите, Дмитрий Дмитрич!

– Простите, – повторил он повторил еще менее уверенно и поспешно погасил недокуренную «коиба». – Мы знакомы?

– Нет, но мне понравился ваш Жозеф Гарсэн в «Нет выхода» и еще Герострат. Я была на премьере прошлой осенью. И как-то запомнилось, что зовут вас как чеховского Гурова. Впрочем, ваша фамилия совсем не подходит к имени.

– Правда? Я никогда не думал об этом.

– Вы здесь на гастролях или на отдыхе?

– Приехал организовывать гастроли, но заодно вот выдалась пара дней. А вы?

– Заканчиваю новую книгу. Пишу, знаете ли.

– А... как вас зовут? Согласитесь, мы в неравном положении. Вы знаете обо мне чуть больше.

Давайте я буду Неаннасергевна.

– Как вы сказали?

– Ну, у Чехова, помните, ее звали Анна Сергеевна. Даму с собачкой. А я – Неаннасергеевна.

Он улыбнулся и тихо сказал:

– Принимаю предложенные обстоятельства. Давайте попробуем. Итак, Неаннасергеевна, вы давно изволили приехать в этот город?

– Дня три.

– А я вот только с самолета...

Он выдержал паузу. Потом продолжил деланным тоном светской беззаботности: «Но вы бывали здесь прежде, не так ли? Я заметил, что вы пришли на набережную каким-то боковым переулком, который надобно знать, чтобы не потеряться в чужом городе». На слове «надобно» Герострат слегка запнулся. Значит, это сознательная стилизация, ого! А я-то думала, он просто вызубривает слова.

– Вы, стало быть, за мной следили? А я думала, что вы случайно сели на мою скамью, потому что все другие были заняты.

– Не меняйте тему, Неаннасергеевна!

– Да, я бывала здесь неоднократно.

Голос мой звучал искусственно, как будто я произносила театральную реплику: «Я люблю сюда приезжать ранней осенью или поздней весной».

– А я, признаться, никогда здесь не был. И ничего не знаю об этом месте, хотя чувствую в нем какие-то странные токи. Не могу этого объяснить.

– Да-да, я именно поэтому сюда все время возвращаюсь. Здесь история потихоньку сочится наружу как лава из кратера полу-потухшего вулкана.

– Как образно! Но мы совершенно отделились от Чехова, вам не кажется?

Улыбки получились вымученными, и мы беспомощно замолчали.

– Тогда, может быть, вы мне просто покажете этот город, Неаннасергеевна?

Он слегка повернулся ко мне и робко улыбнулся, но улыбка быстро погасла, натолкнувшись на мой тяжелый взгляд. Я быстро спохватилась и улыбнулась в ответ, но левый уголок рта, я знаю,

предательски уехал вниз. И улыбка получилась иронической. Что поделать!

– Дмитрий Дмитрич, для главного героя-любownika вашего театра вы слишком нерешительны. Или это тонкая игра?

– Я и герой-любownik? Ну что вы? Я давно оставил роли любownikов. Играю отцов и дедушек.

Льдистые глаза затуманились вместе с помрачневшими волнами. Потом показался проблеск быстрой улыбки. Самодовольной или все же робкой?

Герострат решил сменить тему.

– Неаннасергевна, вы меня засмущали совсем! Ну, так как, покажете мне город?

– Договорились!

В ста метрах от моря, на тихой, медленно разрушающейся главной улочке было одновременно сыро и душно. Впрочем, в районе второго этажа гулял свежий ветерок и грозил в любую минуту перерасти в леденящий шквал. Уж такая здесь погода. Миновав почту, оправославленную кирху, полуразрушенный невнятно-югенстильный универмаг с огромными зияющими проемами бывших панорамных окон и кое-где еще не конца ободранной бронзовой вязью, мы добрались до моего любимого дома. В угловом подъезде теперь был военкомат, а по центру красовался странный магазин с двусмысленной вывеской: «Ломбард Кокетка». То ли в нем было два отдела и хозяева просто сэкономили на точке между названиями, то ли местные кокетки имели обыкновение закладывать свои сокровища в ломбарде. На южной стороне дома сохранились балконы, теперь испещренные зловещими трещинами, сквозь которые прорастала трава. Но чугунные фигурные цепи все так же раскачивались на морском ветру, как и сто лет назад. Над входом примостилась маска с пустыми глазами и открытым ртом. Не Талия, не Мельпомена, скорее предчувствие Мункова «Крика».

– Этот дом был построен по проекту Ольбриха. О нем забыли, он не включен ни в какие путеводители. Но здесь есть местный краевед, Иван Васильевич Фихте. Он обнаружил старые чертежи и письма и доказал, что это Ольбрих.

Как странно звучит мой привычно лекторский голос в таком месте.

– А кто это, Ольбрих?

– Как, вы не знаете Ольбриха?

– Нет, я не по этой части, знаете ли. И потом, от дома мало что осталось. А кто его разрушил?

– Время. Запустение. Равнодушие. Как вам такой ответ?

– Ничего, подойдет.

– А вы думали, у этого дома был свой Герострат?

Дмитрий Дмитрич закурил очередную коиба и поежился.

– Давайте зайдем внутрь. Стало как-то прохладно, вы не находите?

За порогом мы наткнулись на зияющий отсутствующими ступенями лестничный пролет, и Герострат подал мне руку и помог взобраться на второй этаж. Впрочем, руку я почти сразу же выдернула из его мягких пальцев. Терпеть не могу человеческие прикосновения. На втором этаже было пустынно и пыльно. Только на стенах кое-где остались неясные рисунки и пара витражей в окнах. В таких брошенных домах время течет ускоренно, потому ли что это время разрушения и забвения или по какой-то другой причине – неизвестно.

– И почему всё, чего касалась наша замечательная империя, немедленно приходило в упадок! Вы посмотрите, какой дом и во что его превратили! – не выдержала я.

– Я не люблю политики и в ней не разбираюсь, знаете ли. Я все больше в театре. А там не до политики. И потом, что вы имеете против империи? Она ведь была великой, что ни говори! И все нас боялись и уважали.

Мне стало скучно и показалось, что я зря провела с ним несколько часов. Как странно, а ведь поначалу мне почудилось... Нет-нет, именно почудилось. И я снова погрузилась в свои мысли, совершенно не слушая, о чем разглагольствовал Герострат.

Много лет прошло с тех пор, как я перестала приезжать в этот городок. Когда-то он мне очень нравился. Впрочем, я перестала приезжать и во все более провинциальную Москву. Но однажды меня неожиданно пригласили на конференцию в один из новомодных, насквозь американизированных университетов. И отчего-то я согласилась. Прочитав свой пленарный доклад и прослушав две невообразимо скучные секции, я сбежала в на-

рядный октябрьский город, неожиданно одаренный несколькими днями тепла и прозрачного печального света. Взгляд мой скользил по верхушкам щеголеватых кленов и скромных лип, и вдруг наткнулся на афишу старого театра, что был неподалеку. Это был театр моей юности, того относительно счастливого времени, когда казалось, что всё еще может быть хорошо. И мне вдруг захотелось пойти на любой спектакль, что я и проделала в тот единственный свободный московский вечер. Оказалось, что я попала на премьеру, но лучшие дни бывшей студии видимо остались там, в восьмидесятых. И поэтому мне удалось легко купить билет в первый ряд. Правда, я успела забыть, что он в этом театре находился буквально в шаге от сцены. Кресло было обшарпанным и пыльным. И у меня немедленно заболела спина. Когда выключился свет, я уже пожалела, что пришла. Но тут на сцену вышел он, остановился точно посередине и, глядя мне прямо в глаза, с какой-то дьявольской улыбкой сказал: «На людей надо смотреть с высоты. Я выключаю свет и становлюсь у окна; они даже не подозревают, что их можно разглядывать сверху...» И я мгновенно позабыла о неудобном кресле и буфетных запахах. И в течение следующих трех часов была абсолютно счастлива.

Потом был этот странный звонок из «Дома» в середине весны. И что-то заставило меня забронировать номер в гостинице в том самом городке у моря, не в сезон, вернее в самом его начале, когда ночи уже почти белые, но море еще холодное и часто дождит. И вот я здесь. Город за время моего отсутствия съезжился и сгорбился еще больше. И если бы не море, то и приезжать сюда не стоило бы вовсе. Собственно я и собиралась поменять билет и уехать раньше, но свободных мест, увы, не было. И я стала убеждать себя, что как-нибудь перенесу эти оставшиеся три дня. Скоротаю их за чтением и раздумьями. Этим и занималась, когда на краешек скамейки присел Герострат.

— Дмитрий Дмитрич! Мы с вами совсем заболтались. Уже поздно. У меня скайп с Кло через час, так что я пойду в гостиницу. Вы же найдете сами дорогу назад?

— А Кло — это женское имя?

— Ну да, только моё Кло предпочитает средний грамматический род.

Герострат сокрушенно покачал головой и закрыл уши ладонями.

Боже, он еще и гомофоб! — брезгливо подвела я итог и повернулась, чтобы поскорее уйти.

Только бы спуститься без его помощи по этой сломанной лестнице. А я как назло боюсь высоты. Чёрт! Следующее, что я помню, это пыльный пол и ноющий затылок. Упала навзничь. Как странно, голова, оказывается, может кружиться даже лежа. Потом мягкие руки приподняли меня и, присев неловко рядом, Герострат бережно уложил мою голову к себе на колени и принялся гладить по волосам: «Ну что же вы, дорогая, меня так напугали? Побледнели, потеряли сознание! Придется мне проводить вас до гостиницы, не то я не усну».

Расстались мы у входа в мой отель со странным названием «Биллиард». Расстались как-то уж слишком церемонно. И пока я поднималась на своих все еще ватных ногах на крутое крыльцо, фигура его растаяла в почти белой ночи.

Наутро я решила узнать по местному телевидению, какая будет погода, брать ли зонтик. Но вместо обычных новостей на экране появился взволнованный диктор, объявивший, что отныне их район вместе с другими двумя близлежащими территориями торжественно возвращается в лоно Европы, а все жители автоматически получают новое гражданство. В последние годы такое происходило нередко, и потому я почти не удивилась. От моей бывшей родины отщипывались куски то поменьше, то побольше. Кто-то объявлял независимость, кто-то присоединялся к более сильному соседу. И в сущности, никто уже давно не обращал на это внимания. Ведь повседневная жизнь обычных людей при этом почти не менялась. Правда, иногда новые границы проходили, как в старой пьесе Мрожека, прямоком через гостиные. Но до тех пор, пока эта участь не касалась их лично, вряд ли кто-то задумывался о подобной опасности.

На главной улице мне немедленно встретился бронетранспортер, нещадно крошивший и давивший и без того просевший асфальт. На здании горсовета меняли флаг, а названия кафе и магазинчиков спешно переписывали латиницей. Даже ломбард «Кокетка» уже зазывал новой, еще не просохшей вывеской «Pfandleihe Marlene Dietrich» с соответствующей офраченной и оцилиндренной картинкой.

День был ветреный и пасмурный. Посидев на скамейке перед морем с полчаса, я совершенно замерзла и отправилась греться в ближайший ресторанчик, где меню тоже оказалось на неуклюжем немецком явно родом из google-переводчика. Пока я пыталась расшифровать, что же такое Bürgerlicher salat, на плечо мне снова легла мягкая рука.

– Неаннасергевна! Добрый день! Вы слышали новости?

– Вы о возвращении в Европу?

– Именно!

– Мне кажется, этому месту все равно, кому оно принадлежит на бумаге. Оно помнит всех и никого, оно хранит свои истории и иногда они протекают друг в друга, вот как сейчас.

– Как выразительно! Но что прикажете делать мне? Я приехал сюда с российским паспортом. Вдруг меня не выпустят?

Вид у него был растерянный и взъерошенный, как будто он сегодня не причесывался, а взгляд вдруг показался детским.

– Не волнуйтесь! Еще как выпустят. Выпускать — это не впускать! Присоединяйтесь лучше ко мне.

Буржуйский салат, как оказалось, содержал большое количество красной икры и осетрины, которая, не в пример чеховской, оказалась вполне свежей. А вот из соков по-прежнему присутствовал только приторный сливовый нектар, который не спасали картонные коробочки Tetra Pac, поскольку на вкус он был из неистребимой советской трехлитровой банки. А потом мы, не сговариваясь, заказали малину и в унисон отрицательно покачали головой, отвечая на вопрос о взбитых сливках. Я мысленно улыбнулась этому вкусовому пересечению.

Пока мы с Геростратом сидели в харчевне, снова распогодилось, и было решено отправиться гулять по набережной. Вполне предсказуемо, она оказалась полна разряженных отдыхающих, шумных детей, красиво причесанных и подстриженных собачек, да ресторанных певцов и музыкантов, вышедших на дневную смену. На пирсе играл Сурен, с которым мы познакомились еще в мой позапрошлый приезд. Пугающе человеческий голос его дудка тревожил душу. Мы молча смотрели на море, вдыхали соленый терпкий запах, к которому примешивался отчего-то еле слышный аромат старой кожи.

– Скажите, Герострат, вам нравится актёрство? Вас не коробит необходимость притворяться?

– Я ничего другого не знаю, не умею. Мы с женой уже двадцать пять лет служим в нашем театре, и он стал для нас просто родным домом.

– Ваша жена тоже актриса?

– Да! То есть нет. Не совсем. Сейчас она почти не играет. Она делает костюмы для всех нас. Она чудесно шьет. Вот посмотрите — она и мне шьет все костюмы, и не только театральные.

С плохо скрываемым скепсисом я разглядывала его бледно-лососевый пиджак с пышными подложными плечами и слишком широкими лацканами. Не умею врать.

– Вам не нравится? – искренне расстроился Герострат, косолапо переминаясь с ноги на ногу.

– Нет-нет, что вы, – поспешила я его разубедить.

Из подложных лососевых плеч смешно торчала слишком тонкая шея. Он говорил быстро, словно боялся не успеть.

– Я бы и хотел не быть актером. Я очень часто думаю об этом, особенно теперь. Актерство – такая зависимая профессия. Я поэтому и занялся режиссурой. Чтобы уйти от этой вечной зависимости. И всё вроде бы хорошо. И наконец, появился свой дом, сад. И дети, и внуки, у меня уже двое – мальчик и девочка. Жена моя умница. Я могу в ней быть полностью уверен. Она меня никогда не предаст. Она часто мне говорит, что до сих пор не может поверить в свое счастье, а счастье – это то, что мы вместе. И все так чудесно, что..., как там говорил Войницкий, помните? Хочется повеситься.

– Он говорил немного не так: В такой день хорошо повеситься.

– Да бог с ним совсем.

Дмитрий Дмитрич потупился, помолчал немного, а потом спросил: «А что же вас гнетет? Когда я увидел вас на скамейке, у вас был печальный взгляд».

– О нет, вам показалось. У меня все отлично. Я пишу свои книги. Преподаю писательское мастерство в университете. Меня любят студенты. Коллеги не очень, но это не важно. У меня тоже есть своя отдельная от всего этого жизнь. Кло, правда, не умеет шить и готовить, но нам хорошо вместе.

– Это то самое Кло, с которым вы вчера говорили? – мне чудится в его голосе осуждение.

– Дмитрий Дмитрич! Вы что-то имеете против однополых отношений?

– Нет-нет, что вы, – оправдывается Герострат. – Просто мне жаль, что мужчины вас не привлекают. Что-то значит, в нас не так.

Я молчу и думаю, что не так и с женщинами тоже и вообще со всеми. Вчерашним вечером Кло устроило очередной скандал из-за моей незапланированной поездки и стало обвинять в легкомыслии и безответственности. А потом заявило, что у него снова стенокардия и я должна за ним ухаживать.

Герострат возвращает меня к реальности.

– Слышите, что они играют? Помните эту песню Челентано? Мы под неё танцевали в пионерлагере «Орленок» в начале 1980х.

– «Mi sembra la figlia di un capo cosacco...» Как же, как же.

– Я ездил на все лето, на три смены. Мама меня сдавала, чтобы освободиться и поехать к морю.

– Без вас?

– Ну да, я тоже отдыхал, но у нее был свой взрослый отдых в Крыму или в Пицунде. И я ей был там не нужен.

– А меня пытались неоднократно отправить в лагерь, но я плакала, скучала и просила забрать, и дней через десять неизменно оказывалась дома.

– И на танцы вы, конечно же, не ходили.

– Да нет, ходила. И я помню, что меня пригласил мальчик на медленный танец именно под эту песню. У него были потные ладони, и он все время пытался ко мне прижаться. Так что, в конце концов, я его оттолкнула и убежала.

– А я впервые поцеловал девочку после этой песни. Я не знал, как это делать правильно, но оказалось, что знала она.

– Меня никто не решался поцеловать. Но некоторые тайно жевали и одного я застучала.

– Я его понимаю! А как именно вы его застучали?

– Он подсматривал за мной из-за занавески, когда я сидела на кровати и пела. И я услышала его прерывистое дыхание и ..., в общем, он был с позором изгнан из девчачьей палаты.

– Кошмар! – Герострат залился своим уютным бархатным смехом, а я впервые за много месяцев почувствовала, как что-то большое, сырое и плотное высвободилось из моего тела, прорвалось наружу через все поры и испарилось, исчезло, оставив по себе пустоту и легкость.

Только какой-то назойливый звук мешал сосредоточиться на этом странном новом ощущении. Не сразу я поняла, что это был голос из громкоговорителя. Высокий блондин терпеливо разъяснял, что в сущности ничего не изменится, что никому не следует бояться, что все отдыхающие смогут выбраться домой, что дело-производство перейдет на немецкий язык, что местным жителям придется его выучить и сдать экзамены, если они хотят сохранить работу и подтвердить свои гражданские права, что будут специальные курсы, что будут отреставрированы дома и улицы, что бывшая кирха снова ею станет, а почту переведут в другое новое здание.

– Милок, а из барака-то теперь переселяют? Я в нем с пятьдесят шестого года живу, – встряла сухонькая старушка.

– По личным вопросам позже. Напишите заявление и подайте новому бургомистру, господину Цюпфнеру.

– Это тот самый, что источает запах квашеной капусты даже по телефону? – не удержалась я.

– Расходимся, расходимся, не скапливаемся. Митинг закончен! – пристыдил меня громкоговоритель.

– Я тоже люблю «Глазами клоуна», – сказал Герострат, робко заглянув мне в глаза и задержав взгляд буквально на несколько лишних секунд.

– Знаете, я рад, что меня отсюда выпустят без проблем, хотя теперь и уезжать не хочется. С вами так хорошо.

– Ну, раз так, давайте уйдем подальше от этой толпы.

И мы ушли туда, где пляж переходил в заповедную зону дюн и долгих закатов. Теперь здесь почти никого не было.

– Скажите, Неаннасергевна, а какие книги вы читаете?

– Разные, в основном, гипертекстовые романы и повести, иногда новеллистические описания, собранные вместе на живую нитку одним сквозным героем или историей.

– Как интересно, а вы читаете на компьютере? Или ручкой?

– На компьютере. Теперь уже только так. А раньше у меня была югославская пишущая машинка.

– Такая маленькая, оранжевая?

– Да!

– И у моей мамы была такая. Она работала машинисткой в редакции. А дома подрабатывала. Но это было уже после того, как

разрешили не регистрировать печатные машинки. И у нас было море книг. Поэтому читать я начал рано и запоем. Когда я увидел вас вчера, вы читали Буццати. Это был мой любимый автор лет в восемнадцать. В середине восьмидесятых, когда было еще совершенно не ясно, что через несколько лет всё рухнет.

– Мне стало ясно где-то в восемьдесят восьмом. Даже не знаю, почему. Но тогда все же это было скорее ощущение ожидания перемен, надежды на лучшее. Это-то и страшно, мне кажется, что в ожидании лучшего прошли лучшие годы.

– Да, это так банально и так по-чеховски. Но что же поделать, если эта банальность – наша жизнь.

– Мы все ждали, когда она начнется по-настоящему, когда все изменится, и небо будет ...нет, не в алмазах, но хотя бы в честных и ясных звездах, сулящих теплый и тихий завтрашний день. Не успели оглянуться, а все уже катится к концу.

– Неаннасергевна, а давайте купим арбуз? – вдруг сказал Дмитрий Дмитрич.

– А, вы решили вернуться к тексту «Дамы с собачкой»? Собачки нет, так хоть арбуз можно организовать? Или вы торопите события? Арбуз ведь появился после...ну вы меня поняли, дорогой Герострат. – Я засмеялась, а Дмитрий Дмитрич сделал стойку, как рыжий сеттер Лохнес, что жил у моего давнего московского соседа по лестничной клетке. И я почему-то почувствовала, что он бросился всем существом ко мне, но при этом остался стоять на месте. Небесный взгляд затуманился и стал растерянным и виноватым.

– Кажется, вы меня раскусили.

– А как мы ваш арбуз будем есть? И главное где?

– А мы купим нож.

– Вы знаете, я люблю арбуз с чем-то соленым.

– Я тоже. Давайте еще прихватим брынзы. Я видел на рынке.

– А мы пойдем к вам или ко мне? – кажется, я опять его немного дразню.

– А мы пойдем в парк.

– Неожиданно!

– Ну так, главное даму удивить! Даже если она и без собачки.

Через полчаса я уже протягивала сахарный кусочек кудрявой Глаше, весело виляющей пушистым хвостом у шаткой парковой

скамейки. Она осторожно брала угощение одними губами и жмурилась от удовольствия.

– Такой пудель подойдет к вашим волосам и нежной коже.

Герострат погладил Глашу и случайно коснулся моей руки, которую я тут же отдернула. Но почему-то у меня опять закружилась голова, как прошлой ночью.

Хозяйка Глаши разложила на соседней скамейке разрозненные тома из двухсоттомника всемирной литературы — «Песни южных славян», Иван Вазов «Под игом», Теодор Драйзер «Американская трагедия», «Советский рассказ». Рядом с книгами лежали облупленные финифтовые серьги и бежевые подследники, какие нашивали советские тетки, чтобы не натирать кровавых мозолей от дерматиновых босоножек фабрики «Скороход». Никто у нее ничего не покупал.

– У нас дома был весь двухсоттомник. И я прочел половину, не меньше. Но в начале 90х, помню, мне было лет двадцать пять, вырезал бритвочкой отверстие в томе «Шахнаме» и спрятал там от мамы газовый пистолет.

– А я и не прятала. У меня было разрешение, и я хранила этот ИЖ-76 тоже в книжном шкафу. И совершенно забыла о нем. Много лет спустя, когда продавала квартиру вместе с мебелью и частью книг, новые хозяева случайно нашли его и пытались мне вернуть. Привет из девяностых.

Мы перекидывались ощущениями, чувственными воспоминаниями — а они ведь самые стойкие, как старомодные духи «Только ты» с въедливым резким запахом, что никак не выветривается из недр старого шифоньера.

– Ваша подача, Дима!

– Вам тоже показалось, что мы как будто играем в теннис полысевшими мячиками? Но, кажется, теперь уж все они потерялись в траве.

– Это уж точно. Но вы не задумывались, почему нам так нравится вспоминать? Мы грустим о своей юности или все же о той, другой стране, в которой жили?

– Всего понемногу. Возможно, мы просто хотим вернуть то состояние ожидания счастья. Оно ведь было. Нет, не в смысле материального благополучия и даже не в смысле профессиональной востребованности. И то и другое у нас с вами ведь есть.

– Пожалуй. Но сегодня мы уже ничего не ждем. Я, во всяком случае, не жду и уже давно.

– И я.

– Это всего лишь кризис среднего возраста, Дима. Правда, с отчетливым постсоветским привкусом, как тот жуткий сливовый сок в свежее немецком ресторане, где мы с вами обедали, или как вот эти финифтевые серьги, в которые намертво впечатана цена: 8 руб. 30 коп.

Герострат молчал, и взгляд его уплывал куда-то за горизонт. А я погрузилась в вязкую жару давнего московского июня. Под моими ладонями оказалась шероховатая поверхность самодельного балконного настила вровень с перилами, на самом последнем этаже пятиэтажки на Вольной Улице. Можно раскинуть руки навстречу закатному солнцу и почти ощутить полет. Завтра экзамен по истмату, к которому можно не готовиться, потому что сошла с рельсов огромная, неповоротливая, проржавевшая империя. Коммунизм перестал быть всеобщей религией, и преподаватели идеологических дисциплин ударились в реальную политику. Им было совершенно не до студентов.

“Hands up, baby hands up, give me your heart...” Очередной диско-привет из восьмидесятых вернул нас в заброшенный парк. Из всех развлечений здесь осталась только одна пустая танцплощадка. Герострат откликнулся на незатейливую мелодию как старая полковая лошадь, услышавшая призыв рожка. Он вскочил, схватил меня за руку и увлек за собой. Танцевал он неожиданно хорошо, двигался легко и уверенно вёл, крепко прижимая меня к себе. Но это верно вступила его актерская сущность. Да и танцы я терпеть не могу.

Когда условно белая ночь на пару часов сменилась предсветными сумерками, мы все же решили, что нужно немного поспать. Дмитрий Дмитрич медлил у входа в гостиницу. Потом наклонился и бережно взял в ладони мое лицо, поцеловал в одну щеку, потом в другую, потянулся ко рту. У него были теплые, мягкие, податливые губы, сладко-соленые как арбуз с брынзой и горькие как коиба. И мне поначалу захотелось закрыть глаза и отдалиться этому теплу и ласке. Но механика поцелуя почему-то отвлекала, забивала ощущение близости, мешала ощутить биение сердца рядом или даже не сердца, а чего-то менее материаль-

ного. Что это было? Всполохи души? Странные вибрации недоказанных наукой тонких тел? Но слюннно-шершавые физические подробности неумолимо отвлекали от регистрации этого ощущения. Мне казалось, что я чувствительный прибор с дрожащей стрелкой. И показания мои так легко исказить этими неприятными внешними воздействиями.

Чем настойчивее становился поцелуй, тем более чужим и далеким мне казался Герострат. Я попыталась его тоже обнять и вернуть унисон, в котором мы прожили этот день. Но ничего не выходило. В ушах звенела назойливая септима, и отчего-то каммингсовское *2 little whos (he and she) under are this wonderful tree*, как будто случайно перемешались слова в типографском наборе... А Дмитрий Дмитрич тем временем легко приподнял меня над землей и быстро унес в номер.

В бледно-розовой коробке с красной шелковой изнанкой два брусочка яблочной пастилы слиплись, не оторвать. Больно, только с мясом. С тонкой кожицей едва заветренной зефировой пузырьковой плоти. Отвратительная сладкая липкость, склеенный персиковый пушок, миллиарды жгутиковых, погибших в этом розовом натюрморте.

– Впусти меня, ну пожалуйста, — беззвучно артикулировала розово-красная кожистая складка с поперечными морщинками и шевелящимися рыжими волосками. Взгляд скользнул вверх, и я увидела над собой какое-то странное, немного пухлое существо, сопящее и покрытое бисеринками пота. У него были полные губы бантиком и вздувающиеся мясистые ноздри. Оно неуклюже двигалось и тяжело дышало. Потом почти зашептало своим сорванным сиплым театральным голосом:

– Впусти меня!

– Нет.

– Почему?

– Мне неприятно делать это внутри моего тела, понимаешь?

– Но мы так устроены, – засомневался уже гораздо более знакомый и близкий Дмитрий Дмитрич. И я заметила тонкую шею и подбородок с жалкими редкими седыми иголочками отросшей щетины.

– Это и ужасно. Почему мы так устроены? Кто так решил? Кто обрек нас на это? Впрочем, и снаружи не лучше, это я точно могу сказать.

Герострат замер, устремил на меня свой потемневший в сумерках мальчуковый взгляд, потом мягко перевернулся на спину и лег рядом, старательно не касаясь меня.

– Теперь снова вибрирует, вот, я прямо чувствую. У меня такое бывает на сцене, во время кульминации спектакля, когда все получается и кажется, что можно запросто взлететь. Вот тогда появляется такая внутренняя вибрация. И теперь так же, когда я рядом с вами, с тобой. Но как только я тебя трогаю, она уходит.

Как на переводной картинке начинают проступать его прежние черты – лучистые морщинки в уголках глаз, пушистые ресницы, незащитные глаза с удивленно расширенными зрачками, тонкие мягкие руки с чувствительными пальцами, теперь робко сложенные на груди.

– И что же это вибрирует, Дмитрий Дмитрич?

– Я не знаю. Но я это чувствовал весь день сегодня. Я поэтому подумал, что...

Но я прикладываю указательный палец к губам, и он послушно умолкает. Опускает взгляд. Мы оба прислушиваемся каждый к себе.

– Ты сегодня сказала, что мы ностальгируем не по той стране, а по себе молодым. А я вот думаю, что больше всего мне не хватает веры в будущее. Без нее и жизни нет, и смысла жить тоже.

– Ну, знаешь, смысла и нет. В принципе. Мы его себе выдумываем, создаем, чтоб не сойти с ума. И веру придумываем тоже за этим. Разве нет?

– А во что можно верить сегодня? И завтра? Я когда не замotan в театре и с семейными делами, у меня все же трое детей и двое внуков, и дом, и сад, и машина, и то и сё, ну ты понимаешь, то такая тоска накатывает. Хоть в петлю лезь. Я это уже говорил. Прости.

– А я освободилась от всего лишнего. Собственность и привязанности человека губят, он тогда не видит главного. Это банально, но верно. А сейчас я свободна от всего и главное, от страха. От страха смерти.

– Так не бывает. Смерти бояться все.

– Ну, инстинкт самосохранения есть у всех, с этим трудно бороться. Но понимаешь, меня никто не ждет. Обо мне никто не заботится. В сущности, я никому не нужна. Я ничего не жду. И если

освободиться от стереотипов, то это прекрасное состояние. Я даже хочу умереть, только лучше вдруг и не страдать, не готовиться. Без боли. Раз и все.

– Я так не могу. У меня дети, внуки, теа...

А у меня нет даже собаки. И это мой выбор.

Мы проговорили почти до самого утра, как будто и не останавливались на это ошибочное соитие. И постепенно возвращалось то первое робкое ощущение, тот вибрирующий унисон.

– Мы еще увидимся, Неанна Сергевна?

– А зачем?

– Не знаю, я просто спросил.

– Я не хочу варить тебе манную кашу.

– Мне есть кому.

– Вот именно. И мне тоже. Хотя я с детства ее терпеть не могу. Даже в детском садике вываливала в окно и однажды ошпарила какого-то плешивого дяденьку.

– Хулиганка!

Герострат обнял меня, но уже как-то по-другому, так, что мне не захотелось отстраниться, и вскоре мы уснули.

Странно, но и утром я не попыталась его поскорее выставить, как я это обычно делаю в таких случаях. Он не слишком умен, не эрудирован, говорить нам, в сущности, не о чем. Он как-то слабее меня. Отчего же мне не хочется его прогнать? Я сидела и смотрела на спящего Дмитрия Дмитрича, а он едва слышно посапывал и слегка улыбался во сне. Потом мне его все же пришлось разбудить, потому что он мог пропустить свой самолет в Москву.

– Тебе пора, да и мне надо собираться.

Пока я заказывала по телефону континентальный завтрак в номер, Дима тихо проскользнул по коридорчику к выходу и был таков.

А поздним вечером и я была уже в Стокгольме.

2

Прошел год. И вроде бы ничего не изменилось. Рутинка все так же засасывала в свою вязкую, но, в общем-то, уютную воронку. Из телевизора перекрикивали друг друга свихнувшиеся пропагандисты. Наталья лихорадочно обустраивала наш недавно купленный домик в Вербилках и совершенно предоставила меня самому

себе. А я в таких случаях всегда начинаю хандрить, чудить и чахнуть. Каждый день шли репетиции, периодически съемки в сериалах про ментов и провинциальных золушек, а вечером — попытки ставить спектакли для публики, которая ходила к нам все хуже. Театру нашему давно не предлагали гастролей в Европе. А тут вдруг такая удача. Университетский городок, театральная компания, выросшая когда-то из самостоятельного студенческого театра и режиссер, окончивший в стародавние времена ГИТИС. Я и поверить не мог, что целых две недели проведу в Швеции, играя Чехова и Кафку.

У входа на вокзал сидел приветливый нищий, по виду молдаванин или румын. Я сгреб в горсть только что выданные в обменном пункте монеты неизвестного достоинства и стал искать глазами его бумажный стаканчик. Но нищий замотал головой, повторяя: «суиш!» и указывая торчащим из коричневой митенки пальцем на какие-то цифры на замусоленной бумажке, приколотой у него над головой.

— Ну что вы смотрите? У нас в стране нет наличных денег. Вы должны подаяние перевести ему на счет, — объяснила мне суровая Пия — дама средних лет весьма неприятной наружности. Боссе, тот самый режиссер с московским прошлым, прислал ее, чтобы встретить меня и посадить в поезд. Она разговаривала на безжизненном русском из классических романов и советских учебников для иностранных студентов.

Хотя поезд был и скоростной, на стыках его заметно потряхивало, и тогда я нехотя возвращался из уже привычного полузабытья в пасмурную реальность. Сидевшая рядом русоволосая девушка с облупленным маникюром что-то выпевала своему невидимому собеседнику в айфон, но у нее был такой противный каркающий голос, что хотелось заткнуть уши. Потом она долго гоготала как извозчик (боже, из какой это пьесы?), а мне вдруг отчетливо вспомнился мелодичный грудной смех Неаннисергевны. И я, наконец, осознал, что еду в ее город.

Вообще-то я ее почти не вспоминал, вернее, вспоминал, но не так, как других женщин. Обычно у меня были яркие, даже буйные фантазии о женщинах, которые меня влекли. Хотя это редко заканчивалось какими-то действиями. Мне отчего-то вполне хватало фантазий. А здесь все было не так. Никак не получалось

представить себе, что именно я хотел бы с ней сделать. Я просто чувствовал, что она была всегда рядом, хотя и далеко. И я все чаще ловил себя на том, что мысленно разговаривал с нею, любовался ее чертами, жестами, улыбкой. Я помнил маленькую голубую венку у нее на шее, и еле заметную оспинку от scarlatины слева, возле губ. Но ничего больше не получалось, да я и не пытался. А еще я стал думать ее словами. Однажды, например, мне пришло в голову, что люди и в самом деле выражают любовь крайне нелепым способом. И почему они не могут соединиться как-то еще?

Я скользил взглядом по бурным полям, придавленным серым небом. Железная дорога всегда наводила на меня уныние своей неизбывной бесприютностью. Стояла не то поздняя осень, не то ранняя зима. Впрочем, теперь, после перерождения Гольфстрима, в Северной Европе всегда было сырое и холодное межсезонье. Только однажды мой взгляд скользнул куда-то между путей и на закопченной щебенке обнаружились бедные лиловые цветы, трепетавшие на ветру. Колючие, но упорные, они цеплялись за эту негостеприимную почву.

Поселившись в единственной приличной гостинице напротив краснокирпичного лютеранского собора, я вышел погулять. На углу нарядной улочки мне показалось, что я здесь уже бывал. Впрочем, запомнить иностранные названия мне никогда не удавалось, тем более такие непроизносимые. Улица была совершенно пуста и безлюдна. Начиная темнеть, а возможно просто так и не рассвело. Дойдя до середины, я увидел толстенный старый дуб с побуревшими листьями и вывеску магазина «Парики для вас» рядом с кафе «У Фольке Фильбитера», и сразу вспомнил ее скруглившиеся губы, когда она говорила, что живет на Гончарной Улице прямо у лютеранского собора и через дорогу от замечательного ресторанчика «У Фильбитера». Но даже на этом крошечном перекрестке было никак не меньше пяти домов, и я беспомощно остановился. Как узнать, в котором из них живет дама без собачки. Спросить было решительно не у кого. Поэтому я лишь обреченно потоптался, махнул рукой и побрел назад к театру. Следующие две недели я был настолько занят репетициями и ежедневными спектаклями, что так и не удосужился вернуться на Крукмакаргатан.

Мрачное здание «Драмы» напоминало разом и фабрику, и заштатную библиотеку. Там было до того тесно, что зрители упирались коленками в спины впереди сидящих. Совсем как у нас в Москве. После благосклонно встреченного «Дяди Вани», мы с Астровым и Серебряковым пили в гримерке граппу.

– Мне кажется, что на следующем спектакле не стоит так педантизировать ваше старческое слабоумие, мой дорогой! Все же Серебряков — не маразматик. А вам доктор, надо играть, а не трясти клистиром. Мы же играем Чехова, а не «Слугу двух господ».

– А что здесь с женщинами, друзья мои? — спросил неунывающий Серебряков в костюме Панталоне. — В первом ряду чистые крокодилы сидели, доложу я вам. И все не младше пятидесяти!

– Да-да, и мне не захотелось ни с кем... — поддержал его желчный Астров, хрестоматийно наряженный *Dottore*. — Какое-то время постлюбви. Ни с кем и ничего не хочется! Остается только надраться этого самогону. Вы, кстати, уверены, что он не паленый? Да и сыр этот у них такой вонючий, прости господи.

Мне стало противно, и я молча вышел и отправился бродить по ночным улицам. Неподалеку от театра обнаружилось старое здание университета. И я постарался запомнить, как к нему идти.

3

А в это время всего в двух кварталах от театра Мод, а именно так звали Неаннасергевну на самом деле, вбежала в квартиру над «Париками для вас» — раскрасневшаяся и счастливая. В руках у нее было два билета на прощального «Дядю Ваню».

– Кло! Я дома! Завтра мы идем в театр!

Из спальни выглянула недовольная коротко стриженная голова, потом, нехотя, все остальное.

– ОК, пойду с тобой, что делать...

– Ты зря так, это хороший театр.

– Я не люблю театр и не люблю Чехова, я тебе сто раз говорила.

Мод долго делала вид, что все у них хорошо. Познакомились они случайно, когда терапевт Марко Дружич отправил ее в бассейн лечить радикулит. Нет ничего лучше плавания! И там она увидела Кло — высокое худое, с длинными седыми волосами, как

выяснилось, крашеными по тогдашней моде. На черном купальнике выделялся большой красный свисток. Они были одного возраста, оба чайльд-фри и сторонники свободных отношений без обязательств. Между ними, казалось, пробежала искра, но все не закончилось одноразовым сексом, как это обычно случалось с Мод.

Вскоре они уже жили вместе, гуляли по выходным в парке, ездили отдыхать в Таиланд и даже подумывали завести общую собаку — таксу или бигля. А потом что-то разладилось. Причем Мод даже не могла понять, когда и почему это началось. Возможно, после того, как вышла ее очередная научная книжка и коллеги устроили презентацию на факультете, а Кло сидело весь вечер недовольное, а потом и вовсе ушло, не попрощавшись.

А может, все пошло прахом, когда под рождество Кло отказалось идти с подругой на корпоративный кафедральный ужин в итальянский ресторан, потому что там будут одни профессора, и оно будет чувствовать себя полным ничтожеством. Мод тщетно уверяла его, что все не так. Что профессора ничуть не умнее тренеров по плаванию. Кло надулось и закрылось в своей комнате.

Когда Мод пришла домой после полуночи, правда не одна, а в сопровождении своего заведующего, который настоял на том, чтобы довезти ее до дома, Кло наблюдало за их пятиминутным чинным разговором в замочную скважину. Вскоре Рон ретировался, и тогда Кло распахнуло дверь и швырнуло в Мод со всего размаху альбомом Мари-Луиз Экман. Твердый переплет угодил в висок, и Мод потеряла сознание, правда ненадолго. Кло привело ее в чувство, поцеловав в губы. В Неаннесергевне, однако, ничего даже не дрогнуло. Она только подумала устало, что ждет повода, чтобы все это закончить. Молча встала, подобрала надорванную книжку и бережно поставила на полку. А повод еще долго не находился.

Возможно, мне так удобнее, создается иллюзия, что я не одинока, — убеждала она себя по утрам под душем, где любила громко разговаривать сама с собой. По возвращении из России ее ждала настоящая истерика с угрозами, что Кло уйдет к другой, что она наглотеется таблеток или утопится.

— Как ты можешь утопиться, ты же тренер по плаванию!

— Как раз я и могу, я знаю точно, что для этого нужно сделать.

Но все закончилось только тем, что оно побрилось наголо и теперь волосы успели отрасти только до сыпнотифозного состояния. В такие моменты Мод обычно уходила бродить по городу, иногда не возвращаясь по много часов. Она выбирала самые отдаленные и опасные районы, глухие тропинки, бежавшие вдоль железной дороги, полузаброшенные парки и промзоны. А когда возвращалась, Кло уже спало в своей комнате. Спальни у них теперь были отдельные.

На следующий день Мод должна была читать лекцию о приемах постмодернистского повествования. Студенты окружили ее в фойе старого университетского здания и засыпали вопросами, так что она не заметила Герострата, замершего в нерешительности в темной нише, из которой недавно увезли на реставрацию статую старого морехода. Он только вслушивался в ее смех, но так и не подошел, решив подождать конца лекции.

Она была все та же, но и другая. Дмитрий Дмитрич снова почувствовал непонятную тягу, которую теперь боялся спугнуть.

Он слонялся по коридорам, пил пиво в буфете, смотрел футбольный матч, выкурил три коиба, но когда зазвенел звонок и он двинулся в сторону Мод, в аудиторию прямо перед его носом ворвалась какая-то особа. Высокая, сухощавая, широкоплечая, ехидная. На груди висел огромный красный свисток. Такой был у его знакомого тренера Серёги в бассейне «Москва» в далеких восьмидесятих. А незнакомка, тем временем, подошла прямоком к Неаннесергевне, обняла ее за плечи и властно увела прочь, буквально прервав на полуслове.

Какая неприятная дама, и не поймешь, сколько ей лет, волосы седые, походка в раскачку, как у матроса, – подумал Дмитрий Дмитрич. Не успел он оглянуться, как женщины сели в машину и укатили. Его неприятно поразило, что «плавчиха», как он мысленно окрестил подругу Неаннесергевны, вела ее к машине почти насильно, ухватив крепко ладонью за шею, словно та была арестанткой.

На спектакле Герострат как обычно искал глаза в первом ряду, желательно в центре, глаза, с которыми можно было бы установить контакт. Ему это всегда помогало играть, потому что он искал эмоциональной связи с самым чувствительным зрителем, от которого шли особые флюиды. На этот раз его взгляд профессио-

нально пропустил парочку стеклянных очей местных любителей театра, скользнул по вождеющему взгляду старого эмигранта-чеховеда, зацепился, как за гвоздь, за холодный зеленый взор Кло и... утонул в ореховых глазах Неаннусергевны.

В тот вечер Войницкий играл только для нее. В антракте он долго и напряженно вглядывался в свое отражение в зеркале гримерки, и все время отвечал невпопад плоско балагурившему Астрову. Ему ужасно хотелось все бросить и выбежать в фойе, где публика угощалась креветочными бутербродами и пивом, найти Неаннусергевну и обнять ее, и долго стоять, не шевелясь.

Настроение у Мод было препаршивое, потому что Кло устроило очередной скандал на пустом месте и демонстративно ушло. Впервые Неаннасергевна подумала, что не хотела бы его застать дома, когда вернется после спектакля. Она даже подумывала, не снять ли ей номер в гостинице.

Не обнаружив пловчиху рядом с Мод в третьем действии, Герострат возликовал и едва доиграл спектакль. Даже пропустил свои коронные двадцать фунтов постного масла, ограничившись гречкой. И не дождавшись окончания поклонов, кинулся в фойе через какой-то пыльный черный ход, схватил Неаннусергевну за руку и увлек за собой в гримерку. Он смешно косолапил и мешковатый костюм дяди Вани только подчеркивал его неуклюжесть.

– Куда вы меня тащите, Дмитрий Дмитрич! – отбивалась со смехом она.

А тот дрожал и слегка заикался.

– Я и сам не знаю, моя дорогая. Но я так рад вас видеть!

– Только не обнимайте меня, вы же помните, что мы решили тогда. Это не наш путь.

Дмитрий Дмитрич усадил ее на высокий кожаный стул, а сам примостился у ее ног. Он по-черепашьи вытягивал тонкую шею, робко поднимал руку, пытаясь дотронуться до Неаннусергевны. А та отстранялась, но при этом гладила его по кудрявым волосам.

– Вы опять за своё?

– Да, но не знаю как. Я как будто вижу вас боковым зрением, чувствую вашу близость, но как только прикасаюсь, вы ускользаете.

– Боковым зрением? Да, это точно. А я чувствую близость, когда вы смотрите на меня, думая, что я этого не замечаю. Только не приближайтесь! Мы же решили, мы всё с вами решили, Дима.

Она улыбнулась и опустила глаза. Неанна Сергеевна была такой давно, а может быть всегда. Она чувствовала тягучее тепло, вязкое желание, накрывавшее душной волной, но не своё, никогда не своё, а только отклик, ответ на чужой порыв. Потом ей было всегда трудно решить, только ли она отзывалась или все же проявляла интерес и сама. И как к этому относиться. «Это ведь не моя инициатива, — убеждала она себя, — А выбор, насколько он рационален? Ведь изначальный порыв животный. Это чистый голос плоти, а решение принять или отклонить уже рационально... Или нет? Значит ли это, что тело всегда отзывается и только разум решает, как поступить. А может мы лишь привычно переводим тягу к другому на язык плоти, но ошибаемся, потому что близость работает совсем на другом уровне».

Ей не были интересны отношения, настоящие отношения в реальности, но только то, что не случилось, что могло произойти, что можно было придумать, вообразить, но не нужно было ни в коем случае воплощать. Перекрестье взглядов, скажем, на стекле поезда в метро — перекрестье отражений. Рука, случайно и мимолетно коснувшаяся в толпе. И больше ничего. Чтобы не спугнуть, не разрушить иллюзию близости. Ей нравились люди самых разных полов, но чаще всего она лишь любовалась их пластикой, красотой их движений и жестов, мелодией их смеха — не с тем, чтобы обладать ими, а только лишь созерцать. Грубая физика отменяла и разрушала эмоциональную связь.

— Я видел тебя сегодня в университете, хотел подойти.

— Что же не подошел?

— Ты была не одна.

— Прости, Кло не понимает театр.

— Я только сейчас понял, чего мне не хватало весь этот год. Вернее, кого. — Широко распахнутые глаза смотрели с детским восхищением.

— Мне надо идти, Дима, уже очень поздно. А такси здесь не поймать.

— Но театр совсем близко от твоей улицы. Я потом провожу тебя. Не уходи так скоро.

Но она только покачала головой, даже не пытаясь придумать причины, по которой не могла остаться. Герострат обреченно вздохнул, потом ткнулся лбом куда-то ей в плечо, закрыл глаза и

замер на мгновение. Но уже через секунду он встал и открыл дверь гримерки.

– Все, иди! Иди лучше сразу.

– Дима, а помнишь, как мы угощали арбузом пуделя Глашу и танцевали в старом парке?

Она сказала это, уже стоя в дверях. А потом резко повернулась на каблуках и быстро шагнула в темноту.

Гончарная Улица была слева от театра, но Неанаасергевна пошла направо, в сторону ангаров и железнодорожных складов. Это был ее обычный трущобный маршрут, когда не хотелось возвращаться домой. Собственно, она так и не вернулась, проведя остаток ночи в гостинице «Дирижабль».

Рано утром скоростной поезд мчал Дмитрия Дмитрича назад в аэропорт. Ему нужно было успеть на двенадцатичасовой самолет в Москву. Сидя в зале ожидания перед самой посадкой, он смотрел на фальшивый икеевский электрокамин с нарочито веселыми искорками и вспоминал ее мерцающий грудной смех и нарочито спокойный будничный тон:

– У меня все по-старому. Студенты, работа, книги, Кло. Немного депрессии, чуточку безнадежности, страх перед самоубийством, который никак не преодолеть. Приходится доживать свой век потихоньку.

– У меня тоже все по-старому. Театр, сериалы, внучка Ирочка пошла в школу, а Кузьма еще в садике. Я ими занимаюсь, потому что Наташа занята садом.

– Ты тоже ничего не ждешь?

– Нет. Я живу по инерции. Я только теперь начал понимать смысл выражения «индекс дожития». Я не живу, доживаю.

– А я еще жду, вернее, я чувствую, что скоро всё кончится. И именно этого и жду.

– Скорее бы уж.

– Paging mister Hakúr Daév! Passanger Hakúr Daév, proceed immediately to gate number 44.

Дмитрий Дмитрич вскочил и помчался к закрывающейся двери выхода на посадку.

Когда он, наконец, добрался до домика в Вербилках, уже стемнело. Наталья возилась в теплице и появилась не сразу, тяжело дыша и с трудом разгибая слегка оплывшую спину. Но его ждали

отменные пироги с капустой и домашний самогон, новый зеленый двубортный костюм и пьеса молодого драматурга Богдана Каракуртова. Дмитрий Дмитрич налил себе стакан чая, взял пьесу, поднялся на второй этаж в свой кабинет и до утра уже не вышел.

4

– Здравствуйте, Дмитрий Дмитрич!

– Неаннасергевна! Вы в Москве!

– Да, так получилось. Приезжай. Я в гостинице «Бега», знаешь такую?

Я вышагивала по комнате, чтобы успокоиться, но у меня плохо получалось. Мысли роились плодовыми мушками над забытой розеткой прошлогоднего варенья. Последняя неделя прошла как в угаре. Я не помнила, что делала, куда звонила, о каких встречах договаривалась. Моя только-только ставшая размеренной жизнь в крошечном городке Орта вдруг снова сошла с рельсов и стала неумолимо всасываться в гигантскую московскую воронку. А началось все со звонка Джемы в самом конце марта моего пятидесяти второго года.

– Мадо, дорогая, похороны в пятницу. Может, ты вырвешься? Как давно меня никто не называл этим юношеским прозвищем.

– Да, пожалуй, я пропустила слишком много похорон.

Я и думать не могла, что мой спонтанный приезд в Москву будет по такому печальному поводу. Вряд ли бы я вообще решилась посетить теперь уж совсем чужую для меня страну, тем более после всего, что случилось в последние годы. Но старинная приятельница Джема нашла меня в фейсбуке и сообщила о смерти общего друга. То был друг сумасшедшей перестроечной юности и веры в то, что все еще может быть иначе. В сущности, это был последний человек, связывавший меня с прежней жизнью. Не виделись мы лет десять, не меньше.

Выйдя из Шереметьево, я вдохнула еще студеный, но уже отчетливо весенний и такой знакомый московский воздух. Снег почти растаял, и прямо на стоянке такси красовалась нарядная верба с лопнувшими почками. Я никогда не любила весну, особенно раннюю, как теперь. Межсезонье, совсем как в моей жизни, вроде бы все спокойно, но уже завтра может наступить конец и, в общем, даже хочется, чтобы это произошло скорее. Только желательно без боли, страданий и прочего мелодраматизма.

Сумрачный таксист не проронил ни слова, пока мы быстро пересекали с севера на северо-запад неожиданно пустые кварталы. Похоже, московские пробки исчезли навсегда. Но безмашинные улицы отчего-то не внушали радости и покоя умытой просторной столицы 1970-х, когда можно было запросто поймать волгу на Октябрьской площади и уже через полчаса регистрироваться на рейс во Внуково. Теперь эта пустота была тревожной и в ней ощущалась смутная угроза.

Окна многочисленных торговых центров, мимо которых проносились такси, были темны, а некоторые даже задраены железными ставнями. Зато город снова оживился маленькими ларечками, потрепанными прилавками и бабушками в вязаных беретках у станций метро. Их блёклые фигурки оттеняли бледные букеты тепличной московской весны. Вот мелькнули еще голые деревья петровского парка, и вскоре показалась закопченная руина с пустыми окнами без стекол и полу-обвалившейся надписью: «Ярь».

– Что случилось с гостиницей?

– То же что со всеми – разорилась, потом горела, хозяин все бросил и уехал за границу.

А ведь и в самом деле я не могла найти номер в отеле, но решила, что это потому, что поездка была спонтанной и все номера были давно разобраны.

– Нет теперь в Москве гостиниц. Раз, два и обчелся. Да и людей все меньше остается. Целые микрорайоны стоят пустые. Живи не хочу. Вот видите, на Беговой все сталинки разорены, теперь там скроты. А прежде ведь кто жила!

– Вы хотели сказать, сквоты.

– Ну да, а я как сказал? Молодежь чудит.

– А как же моя гостиница? Она-то на месте, я надеюсь?

– «Бега» – другой коленкор. Господа иностранцы любят скачки – у нас теперь все больше бессловесные развлечения в моде – танцы, бега, бои без правил. Так что «Бега» ваши на месте.

– Добро пожаловать, сударыня! What can we do for you? – кинулся ко мне портье.

Так вот значит, как теперь здесь изъясняются, на смеси английского со старорежимным.

Из окна открывался успокаивающий и знакомый вид на ипподром. Синяя клетчатая обивка дивана напомнила мою детскую полвека назад. Не хватало только рыжего медведя с откушенным мной и заботливо пришитым мамой карим глазом. Я вышла на балкон. Внизу бесшумно и грациозно проносились качалки, запряженные тонконогими лошадьми. Неяркое предзакатное солнце освещало город. Было тихо и вроде бы спокойно, совсем как прежде. И все же это было спокойствие обреченности.

На следующее утро, влив в себя насильно большую чашку еле теплого кофе — видимо, это была неистребимая черта московских гостиниц при любых режимах, я надела на голову шелковый черный платок и села в такси:

– Морозовское кладбище, пожалуйста.

– Домчу! Только вот нам ехать через колючку. Если очередь будет небольшая, то быстро довезу.

– Какую колючку? Что за очередь?

– Ну, это мы так называем новый микрорайон для хозяев. Они снесли там все возле старого аэродрома и построили себе дома. Подальше от города. И все равно боятся. Там все обнесено колючей проволокой и даже чтобы мимо проехать нужно разрешение. Авось быстро получим.

– Надо же, как в Южной Африке.

– Чего это в Африке? У нас тут Европа!

– Ну да, ну да, ничего не изменилось. У вас Европа!

Я теперь часто путалась, с этим «мы» и «вы». Года два назад я получила, наконец, европейский паспорт и первое, что сделала — написала заявление об уходе, купила домик в маленьком городке на острове Файал и открыла в нем книжный магазин. Да-да, такой старомодный книжный магазин с настоящими бумажными книгами и уютным кафе, в котором посетителей обслуживала я сама. Неизвестно, почему они ко мне ходили — то ли из-за того, что я разрешала им читать книги прямо в магазине, то ли из-за кофе, сваренного в старинной медной турке, то ли из-за фруктового пирога, который пекла каждое утро. Я даже научилась мастерски разводить огонь в камине, потому что, несмотря на субтропики, в домике без центрального отопления бывало довольно зябко.

Механически лязгнули створки печи, и гроб плавно опустился вниз и быстро скрылся в красном жерле.

– Да, разбросала нас жизнь, – сказала Джема, – Алекс умер от инфаркта в прошлом году. Я не хотела тебе говорить. А Ната и Борька попали в аварию еще лет пять назад, так что их тоже нет. А про остальных ты знаешь. Все уехали.

– А мама? Как же его мама? Я ее хорошо помню.

– Она тоже умерла года полтора назад. И детей Чучо не нажил, как многие из нас. Почитай мы все. Потерянные люди. Умираем поодиночке. Вон Алекса нашли только через неделю.

– Знаешь, человек всегда умирает один, как и рождается.

Разговор был прерван похоронным агентом. Нужно было немедленно заказать урну. Мы выбрали синюю, с красивой жар-птицей на боку.

При оглашении завещания выяснилось, что единственным оставшимся друзьям поручалось развеять прах Чучо над Фленово, что под Смоленском. Теперь это была практически граница с соседним государством.

Мне была завещана коллекция грампластинок, тех самых неуклюжих черных дисков, для которых теперь уж не осталось проигрывателей.

– Придется тебе купить патефон, моя дорогая! – пошутила Джема, пока мы стояли в очереди за урной.

– Зато тебе достались театральные афиши, с ними проще, гораздо проще.

Мы рассмеялись, смутив скорбную очередь в регистратуре крематория. А я подумала, что Чучо был легким человеком-праздником, и наверняка сейчас его душа радовалась этому веселью.

– Так странно, мне грустно, но и хорошо. Как будто отогрелась впервые за много лет.

– Ну и отлично! Давай решать, когда поедем в Смоленск. Это ты свободная дама, а у меня работа. Теперь, знаешь ли, все стали изучать английский, так что я занята день и ночь.

– Ну, английский всегда изучали, разве нет?

– О, не так! Теперь без него не получить работу, никакую вообще, понимаешь?

– С трудом!

– Ну, тебе и не надо, к счастью, понимать. В общем, я могу завтра. Поедем рано утром, часов в шесть.

Если первую часть завещания мы выполнили довольно бодро и успешно, спрятавшись за большой березой и развеяв прах Чучо в совершенно неполюженном месте, пока нас никто не видел, то над уничтожением улики пришлось потрудиться. Ведь на синей урне красовались имя и фамилия, а также даты жизни и смерти. Я нашла большой камень с зазубренными краями и тщательно сбила гравировку, чтобы никто не смог прочесть надпись под жар-птицей. А Джема положила камень внутрь урны и швырнула в безымянное озеро, где она благополучно утонула в холодной весенней воде.

Когда передо мной бесшумно раскрылись стеклянные механические двери гостиницы «Бега», было уже очень поздно. Даже побострастный портье тихо спал на посту и был похож на совершенно обычного человека. На лацкане его пиджака приветом из нерасшифровываемого прошлого поблескивал олимпийский мишка. Тихо проскользнув мимо, я поднялась в свой номер. Спать решительно не хотелось. Достав из минибара бутылочку Джонни Уокера, я вышла на холодеющий балкон и, укрывшись пледом, уселась в шезлонг. Было до того тихо и темно, что казалось, будто города вокруг не существует. Отчетливо слышалось робкое ржанье лошадей в ипподромовских стойлах. Я набрала номер Герострата.

Через полчаса послышались знакомые мягкие шаги на лестнице и тихий стук в дверь. Метнулась в прихожую, на полпути услышала, как громко стучит кровь в висках. Наверное, давление подскочило. Все-таки возраст. Замерла на мгновение, потом глупо вдохнула и шагнула к двери как в пропасть.

Митя показался мне похудевшим и постаревшим. Поперечные складки на щеках стали резче, глубже. И синяки под глазами еще потемнели. В руках у него был оранжево-желтый тюльпановый букет.

Он прильнул ко мне на мгновение, но тут же отшатнулся.

– Я знаю, помню, ты сейчас скажешь, что это не наш путь.

А я почему-то сказала: «Проходи, садись. Что будешь пить?»

– Водка у тебя есть?

– Кажется, была тут где-то в недрах минибара.

Я протянула ему микроскопическую бутылочку «Абсолюта» и уселась на диван напротив его кресла, чтобы видеть митины глаза. Света мы не включали. Только высокий ипподромовский фонарь светил прямо в окно, да месяц тревожно заглядывал в душу.

– Ты знаешь, это просто чудо, что ты меня нашла! Я сегодня должен был играть, но опаздывал на спектакль и попросил меня заменить.

– Ты опаздывал?!

– Ну да, это все из-за мистера Тамблера.

– Кого-кого?

– Я у него работаю...

– Как? А театр?

– Ну, это долгая история.

– А я никуда не тороплюсь. Рассказывай!

– Мистер Стефан Тамблер – славист. Он сидел себе в каком-то шотландском колледже и писал книжки по русской литературе — Чехов, Достоевский, Набоков. Не плохие, в общем-то, книжки, хотя звезд с неба он никогда не хватал.

– Постой, его и впрямь так зовут? Стефаном Тамблером?

– Ну да, а что?

– Степа Неваляшка. Хорошее имя.

– Вот, что значит знать языки. А я так и не удосужился. Вот теперь и приходится садовничать у Неваляшки в свободное от театра время.

Митина фирменная хрипотца и выразительные интонации завораживали. Он рассказывал как со сцены. И мое воображение тут же рисовало этого Ваньку-Встаньку с таракаными усами и безразличным отношением к местным жителям.

– А вообще, я его знаю очень давно. Раньше он любил ходить в наш театр на все премьеры, часто бывал в Москве. Он по-русски говорит не хуже нас. Ну а когда все это случилось, он приехал уже в другом качестве. Теперь Неваляшка – наместник по культурной политике. Все обзывает нас нацией рабов. А прежде плакал на «Дяде Ване».

– Наместник? Может быть, атташе по культуре?

– Да нет, дорогая моя. Атташе остались в прошлом. Он именно наместник в новой колониальной администрации. Официально за-

меститель прокуратора. У нас всё как в древнем Риме! Ну, или почти все. Поселился он в Лефортово, в бывшем доходном доме. А я у него стригу кусты и обрезаю деревья, еще брею газоны периодически.

– А как же «Дядя Ваня»? Как же «Герострат»?

– О, наш театр сильно изменился. Тебе не понравится. В репертуаре этого месяца «Любовь и голуби», «Синее море моё-ё-ё-ё», «Сельские вечера» и «Приключения сантехника», а еще интерактивное лазерное нано-представление «Блатная песня вчера и сегодня». Иначе публика вообще не будет ходить, да и кому ходить, все уехали, кто мог. Но мы не закрываемся. Боремся. А я иногда от бессилья вставляю в тексты куски из других ролей. Фига в кармане! Для нашей страны всегда актуально.

– Странно, мне казалось, что раньше ты был патриотом и не любил политики.

– Раньше! До последнего старался, а потом, знаешь, сломался в один момент. Устал. Переехал снова в Москву, чтобы быть поближе к работе. Благо, теперь здесь можно вселиться практически куда угодно и почти бесплатно. Тем более я теперь один.

Митя запнулся и, спохватившись, поспешно перевел разговор на меня:

– Ты лучше расскажи о себе, мы же не виделись столько лет!

– А что я? Я живу в крошечном домике у самого океана. В городке нашем почти не осталось жителей, все уехали на материк — кто в поисках работы, кто, надеясь спастись от большой воды. Устали ждать, когда же она нас накроет. Правда, каждые две недели приходят два парохода с туристами — один экологический, второй — торговый.

– Как это?

Герострат заблестел глазами как прежде. Потом встал и подошел поближе, но, не решившись сесть рядом на диван, устроился на ковре у моих ног, посмотрел виновато и с опаской отсел дальше, как большая, но скромная лохматая собака, замершая в застенчивом ожидании ласки.

– Понимаешь, одним интересно наблюдать за жизнью острова, погружающегося с ужасающей скоростью в океан. Пять сантиметров в месяц. А другие пропадают в наших бесконечных лавках дьюти фри. У нас, видишь ли, весь остров является зоной дьюти

фри. Есть еще новые переселенцы, как я. Нас таких теперь много — перекасти-поле, дауншифтеры — добровольные и поневоле.

Забывшись, я протянула руку к поредевшим светлым кудрям, но замерла на полпути. А Дима осторожно накрыл мою руку своей и легонько потянул, пока моя сухая ладонь не коснулась его головы. Он закрыл глаза и замер. Потом нехотя вымолвил, через силу поддерживая разговор:

– Как это?

– Понимаешь, мы все переехали туда не строить новую жизнь, а доживать эту, причем зная, что конец наступит скоро и мгновенно. Меня это именно и привлекло.

– То есть?!

– Остров уйдет под воду очень быстро, так нам объяснили ученые. Мы не успеем ничего почувствовать или изменить.

– Неаннасергевна! Оставайся-ка ты здесь, со мной! У нас катастрофа уже случилась и мы даже не заметили, как это произошло. И, в сущности, приспособились. Даже мало что изменилось. Правда, наша катастрофа немного иного рода.

Он бережно взял меня за руку и, забывшись, поцеловал ладонь. Потом испуганно отпрянул.

– Прости!

– Ну что ты, мне так повезло, что я нашла свой остров. Он решает все проблемы сразу. Не надо вешаться, пить таблетки, прыгать с моста. У Ваттимо было слабое мышление, а у нас слабое самоубийство, непротивление внезапной смерти.

– Это для меня слишком сложно. И я не могу этого слышать, когда ты говоришь о смерти. Грех это. Хотя я тоже, наверное, не отказался бы от такого простого решения. Вернее, от отсутствия необходимости его принимать. Мы здесь тоже ждем, но не так целенаправленно, как ты. А я так даже умудряюсь радоваться жизни. Знаешь, я снова полюбил природу. Мне нравится следить за сменой времен года, нюхать цветы, слушать журчащую воду в ручье. Раньше я на это вообще не обращал внимания. Но сейчас у меня появилась уйма свободного времени.

Мы говорили, и говорили. Когда закончились водка и виски, мы принялись за джин, а там и за красное и белое вино в пластмассовых бутылочках. И к утру в минибаре остались только два сиrotливых «Сникерса».

Герострат долго молчал, опустив глаза. Потом, наконец, решился и, положив мне голову на колени, глухо вымолвил:

– Наташа ушла. Рак. Сгорела за два месяца. Дети уехали в Европу. А дом я продал. А теперь вот и с театром полный швах.

– Митя! Мне так жаль.

– Ничего. Я справляюсь.

– Скажи, а ты жалеешь о чем-нибудь? Ты бы хотел что-то отыграть назад и пустить в другом направлении?

– Не знаю. Пожалуй, нет. Я не думал об этом. Все как-то происходило без моего участия.

– Да, я тоже себя этим успокаиваю, что не могла ничего изменить. И все же, я бы так хотела остаться в одном из миров, которые жизнь мне показала, поманила, но не дала войти. Был один такой мир. Он часто являлся мне во сне. Старый дом в незнакомом уютном городке. Пустые улицы, солнечный свет, умиротворение. Там была еще прекрасная, широкая, полноводная река с крутыми берегами. А дом был деревянный, двухэтажный, просторный. С большой мансардой. Во сне я входила в него, взбежала по лестнице на второй этаж и неожиданно видела себя, сидящей за столом у французского окна. Понимаешь, я видела, как сижу за столом и пишу что-то старомодной ручкой в бордовой тетради. И я знала откуда-то, что буду так сидеть и писать очень долго. А потом открою окно и впущу в комнату аромат цветущей сирени и пение птиц. И никто меня не будет торопить и чего-то требовать, и не нужно будет бояться и ждать конца. И завтра будет таким же ровным и радостным. Таким же неизменным. И мне становилось так спокойно и хорошо, но сон прерывался всякий раз, когда я подходила к двойнику и касалась ее рукой. И все же мне было там хорошо. А потом я просыпалась, и мне всегда бывало грустно от того, что попасть в этот дом невозможно и мне никогда не слиться с женщиной, что пишет свою бесконечную историю шариковой ручкой в бордовой тетради, и не прожить мне ту, свою, настоящую жизнь.

– Ну, ты и завернула! Мне бы такое и в голову не пришло. Ну и потом, раньше мне просто было некогда остановиться и подумать. Я был счастлив в профессии и ничего больше просто не замечал. И ночью мне снились роли и гастроли, прости за рифму. А теперь, теперь я просто не знаю, как жить. Хорошо еще, что есть

неваляшкин сад. Он меня отвлекает от неотступной мысли, что я не нужен ни себе, ни другим.

– Митя, теперь мы все взаперти, ни для кого нет выхода, закрыты все возможности. Да что, перед нами, перед миром, который мы создали.

– Может, всё же не так? – осторожно спросил Герострат.

– Да нет, именно так. Не важно, богат ты или беден, живешь ли в постепенно дичающей Москве, как ты, или на кромке океана, быстро поглощающего землю, как я. Будущего нет. Можно только ждать конца. Но Митя, и это не спасает. Я так устала ждать конца, который всё не приходит. Это невыносимо.

И тут где-то в районе солнечного сплетения во мне неожиданно открылся шлюз и выпустил душной и мутной волной напряжение, усталость и безысходность последних лет. Я судорожно выдохнула, и мне стало легче, хотя и больнее одновременно. Извиваясь беззащитной ящерицей–мутантом, я ощущала, как старая кожа окончательно сошла, но новой под ней почему-то не оказалось. Сначала какая-то сила трясла меня беззвучно и бесслезно. Потом слезы полились рекой, как будто наворачивали упущенное за много лет. В темноте они ожгли обращенное ко мне тревожное митино лицо, и тогда уж он вскочил и крепко обнял меня.

– Ну что ты, что ты! Не плачь! Все еще будет хорошо. И остров твой уйдет под воду, и Москва окончательно разурбанизируется, и настанет долгожданный конец. Когда не ждешь, тогда он и наступает. Ну, не плачь, уже немного осталось.

Он долго укачивал меня, как маленького ребенка и гладил по волосам, как тогда, в старом доме на берегу Балтийского моря. И постепенно я затихла и уснула. А Герострат ушел, и утром о нем напоминали только пустые бутылочки из минибара и завядшие тюльпаны, которые мы забыли поставить в воду.

5

Вот уж год, как театр наш закрыли, и я уехал в свой родной город на Урале. Впрочем, в нем почти не осталось жителей, и городом-то его можно назвать только условно. Пришлось долго и мучительно собирать документы на выезд и въезд, потому что теперь это Независимая Уральская Республика. Поселился я в заброшенном деревянном доме на окраине, подружился с бывшим пи-

терским журналистом Сашей Поляковым и местным мансийским шаманом дядей Юхуром. Так и живу рыбалкой и охотой. Летом и осенью собираю грибы и ягоды. Много ли мне нужно. Телефона у меня нет. Раз в неделю захожу на почту и проверяю электронные письма на допотопном казенном компьютере. А неделю назад в ящике мессенджера оказалось сообщение от незнакомого абонента. С аватарки улыбалась кудрявая собака.

– Привет! Ты все еще куришь коиба?

– Неужели, это ты, Неанна Сергеевна?

– Я. Удивлен?

– Да, то есть, нет. Не курю. Теперь их не достать. Курю табак собственного производства. А как ты?

– Все жду, пока мой домик уйдет под воду. Осталось недолго. Метров пять, не больше. Да и бежать все равно некуда и незачем.

– Я из театра ушел совсем. Бросил все и уехал домой. Хотя какой это дом, когда нет близких. Ты все торгуешь книгами?

– Нет. На острове не осталось ни читателей, ни покупателей, и пироги есть некому. Зато я совершенно свободна. Я ухаживаю за садом и меняю фрукты на рыбу у местных рыбаков. И еще, знаешь, я только что закончила писать новую повесть, которая никогда не будет опубликована. Называется «Стеснительный Герострат».

– :)

– А собака у меня есть – не шпиц и не такса. Рыжий уиппет Нюра, это в просторечии, а по паспорту Annette de Lac Serge или, проще говоря, Анна Сергеевна.

Алина Загорская

ДЯДЯ ЭЙЗЕР И ДЯДЯ ПЕЙСАХ

С дядей Эйзером я познакомилась тут, в Израиле. Хотя "познакомилась" – это не совсем точное слово, ведь он умер много лет назад. И тем не менее...

В первые дни репатриации все было просто замечательно – историческая родина оказалась похожей на царство божье. Кругом росли пальмовые леса, под пальмами струились реки в мраморных берегах, летали попугаи, завезенные сюда еще царем Соломоном, апельсиновые сады умопомрачительно пахли, назывались "пардесами", и я не сомневалась, что это от слова "парадиз" – рай. А в довершение сходства тут гуляли почти все, отбывшие в свое время в лучший мир – знакомые, полужнакомые, родственники знакомых. И я почти не удивилась, когда чиновница в "мисраде", прочтя мою анкету, спросила: нет ли у меня родных в Южной Африке? У ее свекрови, приехавшей из тех мест, такая же фамилия.

В Южной Африке у меня не было никого – как, впрочем, и в других частях света. У меня был только старенький папа, когда-то перебравшийся из Украины в Сибирь и с тех пор ни о какой другой эмиграции и слушать не желавший. Ему-то я и позвонила, чтобы поделиться израильскими впечатлениями, а заодно и забавным совпадением. Но это было не совпадение.

Вообще в моей семье от меня все скрывали – и про советскую власть, и про Сталина с лагерями, и даже то, что еврейкам все же лучше выходить замуж за евреев. Поэтому я ничего не знала о прадеде Янкеле, видном сионисте, который посылал еврейских студентов в Эрец Исраэль, и даже отправил туда, по слухам, самого президента Вейцмана. Ну сами посудите, стоило ли об этом рассказывать глупой девчонке? А потом бабушка с дедушкой

умерли, не дожив до перестройки, и рассказывать стало некому. Да, в общем, и незачем – жизнь пошла очень насыщенная. Но... Время разбрасывать камни и время их собирать.

У прадедушки Янкеля был брат по имени Эйзер. Он жил в Ромнах, имел шляпный магазин и пять дочерей: Эйдя, Этя, Дора, Сара и маленькая Эстерка. Все, как одна, красавицы и умницы – по непроверенной информации. Но вот что я знаю точно, со слов самого Эйзера, передававшихся из поколения в поколение: в маленьком городке не нашлось приличных женихов для его девочек. А выдавать детей за первых встречных гоев вошло в моду значительно позже. И дядя Эйзер со своим многочисленным семейством грузится на пароход и отплывает в город Капштадт, что на самом юге Африки – за лучшей долей и сужеными для дочек.

Больше о нем ничего не известно – все связи оборвались в семнадцатом. Дошло до нас только известие о дядиной смерти. Это случилось в разгар репрессий. Моего деда, названного Теодором в честь Герцля, вызвали в соответствующий орган и сообщили, что он является наследником весьма приличного по советским меркам состояния. То были деньги умершего Эйзера. И все наши очень удивились, огорчились и обрадовались одновременно и стали обсуждать, как распорядиться богатством. Но дедушка Теодор, или, как его называли дома Федя, отличался трезвым умом и предусмотрительностью. "Мы не возьмем этих денег, – сказал он домочадцам. – Более того, мы скажем, что никакого дяди за границей у нас нет, и никогда не было. Если хотим остаться в живых".

Когда я рассказывала эту историю в ульпане, учительница Зива простодушно спросила: "А кому же достались ваши деньги?" Но на то она и сабра – у соучеников-олим такого вопроса не возникло.

Дедушка Федя оказался прав: никто из нашей семьи не погиб в сталинских застенках – только на фронте и от голода. Но от этого уже никак нельзя было застраховаться.

Узнав все это, я снова отправилась к милой чиновнице и сообщила ей, что мы таки да, родственницы. И что я очень этому рада, поскольку у меня никого здесь нет – ну, кроме дочки Маши и кошки Кузи. Чиновница позвонила старушке свекрови в Безр-Шеву, и оказалось, что та родом с Украины, а у отца было не-

сколько дочерей и магазин – вот только шляпный или какой другой, она уже забыла. Но хорошо помнит, что звали его Пейсах. Пейсах-Мойшеле Загорский. А совсем не Эйзер.

Ну что вам еще сказать? Жизнь в Израиле оказалась не сахар. Я теперь даже удивляюсь, что такую лысую пустыню называли когда-то землей, текущей молоком и медом и разыскивали целых сорок лет. Ей-богу, не стоило так уж стараться. И попугаев не надо было везти – гнусная птица, особенно на свободе. Кричит как сумасшедшая и гадит прямо на голову. Не говоря уж о местных кошках, которые того и гляди начнут на людей кидаться – как буквально палестинские террористы.

Знакомые знакомых говорят, что это у меня такой период. Они уверяют, что лет через пять я снова полюблю Израиль и перестану замечать мусорные кучи и разницу между русским и ивритом. Очень может быть, думаю я, если только не умру раньше.

А еще в последнее время мне совсем разонравились пальмы. Сажают их тут куда попало. Только забудешься, расслабишься немного, а тут тебе р-раз! – и пальма. Ужас. Эмиграция. Другой конец земли.

СОРОК БОЧЕК МЕРЗАВЦЕВ

Почему я решила написать про Ленку? Сама не знаю. Но не потому что думаю о ней день и ночь и уж конечно не для самовыражения. Если мне захочется выразить себя, то я пойду и налеплю вареников с картошкой, а убивать время лучше всего перед телевизором – так, по крайней мере, я думаю сегодня. Чувство долга – вот что наверное взяло меня за шиворот и подтянуло к компьютеру. Потому что быть знакомой с Ленкой и не написать о ней – это попросту подлость, а я женщина порядочная, подлости делаю редко и без всякого удовольствия.

Но я не о себе, я о Ленке. Чтобы ее представить, смешайте мысленно леди Макбет, короля Лира и королеву бензоколонки, а получившуюся смесь поселите на улице Строителей. Ну как, представили? Если нет, могу добавить, что о мужчинах она говорит много и с энтузиазмом, а результат этого энтузиазма довольно скромный: парное катание в одиночку – так я называю этот вид любви.

Впрочем, наблюдать его пришлось недолго – всего один семестр. Ко второму Ленка с однокашников переключилась на посторонних мужчин – их я не видела никогда, но много слышала. А еще у Ленки был законный муж, предмет ее гордости поначалу и фантастическая скотина, как выяснилось чуть позже. Правда, когда они с Ленкой расстались, к его моральному облику прибавилось еще несколько черт – честный, щедрый, суперсексуальный. Но термин не пропал зря – фантастическими скотами оказывались один за другим все ее последующие любовники, которых она называла коротко и энергично – е...ри.

Эти самые е...ри отравляли ее существование кто как умел – начиная с тех, кто не звонил после первой ночи, и кончая теми, кто звонил ночь напролет, чтобы обозвать ее нехорошим словом. Кроме того, они выбивали ей окна, двери и зубы, а вдобавок еще и бросали. Так я на ленкином опыте убеждалась, что устройство личной жизни – это спорт смелых и подходящее место для продвига, а потому старалась держаться от этого места подальше. Но по телефону мы вместе кипели праведным гневом и на мелочи типа работы и хозяйства времени не тратили. Мы разрабатывали тактику и стратегию борьбы за счастье. Например, после любви, по ленкиному оригинальному рецепту, следовало тут же бежать на кухню – курить и читать газету. Зачем? Чтобы продемонстрировать очередному мерзавцу свою полную от него независимость – неужели не понятно?

А потом Ленка достигла творческой зрелости – ее страдания сгруппировались вокруг одного-единственного типа с диковатой фамилией Спунцель. Этот Спунцель был всем гадам гад. Он жрал специально для него приготовленные отбивные и студни (по телефону Ленка описывала мне процесс их приготовления: надо варить свиные ноги двенадцать часов, потом добавить к ним куриные и луковую шелуху для цвета), после чего попрекал отсутствием девственности и выгонял на улицу в мороз. Обычно это случалось ночью, и Ленка каждый раз звонила мне и сообщала, что стоит одной ногой на подоконнике – вот только договорит и камнем вниз. Словом, это была большая любовь.

Тем не менее, того, что случилось дальше, лично я никак не ожидала. Спунцель сделал Ленке предложение. Самое настоящее – руки и сердца. Он ел сухую колбасу, а когда прожевал, спро-

сил: пойдешь за меня замуж? Обещаю тебя больше не бить! Ленка рассказывала об этом плача от счастья, и, выразив нечто среднее между восхищением и возмущением (а что бы интересно предпочли вы?), я решила: если и неправда, то хорошо придумано, у нас в редакции не каждый так сможет.

И Ленка вышла замуж. Но не за Спунцеля, а за молодого человека, с которым познакомилась в ЗАГСе, подавая заявление. Вся процедура заняла три дня, после чего моя подруга с головой ушла в долгожданное личное счастье. Хотите – верьте, хотите – нет, но этот молодой человек оказался хорошим человеком. Я его, правда, тоже не видела, но Ленка мне подробно описала. Он спокойный, веселый и предприимчивый. Не бедный. Любит готовить, а Ленка – нет, еще одна новость. И он совсем не урод.

А обманутый Спунцель понял, наконец, какое сокровище потерял. Он плачет, грозит, умоляет вернуться, звонит по телефону и в дверь – и поднимает ленкины акции на недостижимую высоту. А вы говорите, чудес не бывает. Смотря с кем – вот что я вам на это отвечу.

После этого Ленка долго не звонила. Что, в общем-то, логично – радости на всех не напасешься, в отличие от горя. Но через полгода вновь раздался ночной звонок, и Ленка орала, словно в добрые, старые, незамужние времена:

– Эта сволочь такая скотина – ну просто фантастическая! Выбери, говорю ему – или между нами все кончено!!!

И я ей как всегда посочувствовала: "Все они мерзавцы, когда дело доходит до нас".

Повисла пауза.

– Ты что, с ума сошла?! – спросила Ленка, не снижая градуса.
– Я же не о нем, а о ней..

Оказывается, у ее нового мужа есть мать.

Григорий Подольский

ПРОЩАЙ

(два рассказа)

1. Оля

– Ми-и-ша, домой! Ехать пора! – мама вышла на крыльцо подъезда и, прикрыв ладонью глаза от солнца, пытается увидеть, где это я там кондыбаюсь.

Меня зовут Мишка. Мне уже семь лет. Сегодня мы переезжаем. На время, конечно, но все равно – здорово!

Пока взрослые загружают вещи, я, усевшись на место водителя в кабине старого ЗИЛа, вращаю вправо– влево огромное эбонитовое рулевое колесо. Для достоверности громко «в-ж-ж-жикаю», с усердием давя ногой на какую-то тугую педаль внизу. Чтобы достать до неё, пришлось съехать попой с сиденья. В очередной раз, лихо крутанув баранку, с силой вжимаю до отказа злосчастную педаль! Неожиданно двигатель просыпается, грузовик дёргается с места, но мотор тут же чахнет и машина вновь застывает, как вкопанная.

Уфффф...

Скрипит дверца кабины. Молодой шофёр, поправляя торчащий из-под козырька кепки рыжий вихор, спокойно говорит мне:

– Вылазь-ка, малец.

Повернувшись к подбежавшей маме, успокаивает:

– Ничего страшного, это он случайно на стартёр нажал.

Усевшись на деревянную лавочку у подъезда, я наблюдаю, как взрослые выносят из квартиры наш скраб.

Заводская пятиэтажка, где я живу вот уже года четыре, выглядит ещё совсем новой. Но что-то там всё же построили непра-

вильно. В стенах первых этажей появились трещины, да такие, что мы с моим другом Толяном, который сосед через стену, легко обмениваемся всякими мелочами. В общем, как объяснил папа, заводоуправление решило временно отселить жильцов первого этажа, а дом отремонтировать.

Нам выделили две комнаты в малосемейном общежитии «на Пороховых».

* * *

«Пороховые» – так по старинке называют горожане район, где во времена Гражданской войны располагались военные пороховые склады. Сейчас от складов остался только пустой, вросший "по уши" в землю полуразрушенный барак.

Угрюмый коридор нашего временного жилья впечатляет. Что-то, а такое понятие как уют тут напрочь не живёт. Скрипучие, щелеватые доски деревянных полов, местами даже припоминающие свой былой коричневый цвет, мятое оцинкованное корыто на сине-облупленной стене, старый-престарый «женский» велосипед без цепи и педали, неподъёмный, "времен очаковских и покоренья Крыма" сундучище в углу, густо заросший пыльной паутиной потолок, условный свет мутной «лампочки Ильича»...

И это после нашей маленькой, уютной квартирки – «однушки», расцвеченной красивыми обоями и игручими солнечными зайчиками, отражающимися от лобовых стёкол проезжающих мимо дома машин.

Впрочем, этот общежитийский общий коридор, такой длинный и широченный, хорош тем, что по нему вполне можно скатнуться на моём велосипеде. И соседи оказались хорошие, не то что злющая бабка Параша из 61-й квартиры!

Нас заселили в две угловые комнаты. Одна из них, совсем махонькая, пока что битком забита чемоданами и узлами. Другая – большая, там мы живём. В комнате напротив обитает милиционер-татарин с женой, которая работает продавщицей в соседней «Бакалее». Папа как-то сразу подружился с татарами, заговорив на их языке.

Комнату, примыкающую к общей кухне, занимают мой новый друг Сашка, тоже первоклассник. Он живёт с мамой. А вот с соседями из последней комнаты я пока не познакомился. Как поведаль

мне старожил Сашка, там живёт семья военного лётчика. Сам летчик тут очень редко бывает, а вот жена и дочка (её Сашка называл «вредина»), даже когда и дома, то в коридор и на кухню выходят редко.

* * *

Кажется, мы только-только переехали, а уже и неделя пролетела.

Нет, правда, хорошо всё-таки жить в коммуналке. Весело. Тётя Фая, разбитная продавщица из «Бакалеи», каждый день приносит с работы всякие вкусности и угощает нас конфетами и сливовым джемом. Дядя Равиль, её муж, старшина милиции, по вечерам натирает до блеска сапоги и чистит у себя в комнате самый настоящий пистолет. Один раз он даже разрешил мне поддержать кобуру.

Мама Сашки, кругленькая такая хохотушка, смеётся так заливисто и громко, что смех её слышен даже в самой дальней комнате. А если мы с Сашкой, заигравшись, начинаем чересчур шумную потасовку, она «слегонца» да шлёпнет нас обоих по попе вафельным полотенцем, а потом запирает Сашку ненадолго в их комнате.

Мне тоже не больно-то сладко. Ежедневно, каждый день, с 6 до 8 вечера приходится терпеть родительский гнёт. Моя мама ужас как серьёзно относится к моим школьным успехам. Я думаю, потому, что сама работает инженером в отделе технического контроля. Она на заводе всех проверяет.

Читаю-то я свободно, сразу как-то пошло лет с трёх, а вот пишу с ошибками, да и по арифметике пока только «четвёрка с минусом». Поэтому к приходу с работы мамы я должен показать ей уже сделанные уроки. Каждая решённая задачка, каждое упражнение тщательно перепроверяются, а если есть ошибки или "грязь" в тетрадке – переписываются. Потом – нудный получасовой диктант, потом – урок чистописания, и под конец – три-четыре дополнительных задачки по арифметике. Только когда я наконец выполняю всё без ошибок и помарок, наступает она – свобода!

Сегодня по-осеннему дождливо, промозгло, поэтому на улицу нас с Сашкой не пустили. На днях мой папа вместо старой тусклой коридорной лампочки вкрутил огромную, яркую. Мы с другом затеяли в коридоре футбольный матч. Благо мяч у меня новый, на-

стоящий, кожаный, с белыми и жёлтыми вставками, со шнуровкой! Его папа подарил мне на день рождения – купил во время командировки в Москву.

Мы шумно боремся за мяч, азартно пинаем то его, то ноги друг друга. И не беда, если иной раз загремит висящее на огромном гвозде гулкое корыто или заверещат спицы древнего велосипеда. Никто из взрослых на это внимания не обращает. Во всяком случае, пока ...

Удар! О, не-е-т! Мяч закатывается точно в щель приоткрытой двери в комнату летчика.

Сашка моментально смывается, якобы в туалет. Понятно, мяч мой, и выручать его придётся мне самому.

Просовываю голову в приоткрытую дверь:

– Здрасьте ...

Плотные шторы на окне задернуты. Комната погружена во мрак. Конус света от настольной лампы освещает лишь письменный стол в углу. Худошавая женщина в наброшенной на плечи жёлтой шали что-то сосредоточенно пишет. Мяч, как на зло, укатился к самым её ногам.

Ещё раз, громче:

– Здрасьте!

Женщина отрывает взгляд от листа бумаги, смотрит на меня недопонимающим взглядом:

– Что тебе, мальчик? Ты кто?

Я не на шутку удивлен. Как это она не заметила, что к ней в комнату закатился мой мяч?!

– Я ваш новый сосед. Можно, я заберу мяч?

Она по-прежнему не понимает:

– Какой мяч?

– Мы играли в футбол и он залетел к вам в комнату.

Поёжившись, хозяйка комнаты отдернула штору, посмотрела на плачущее вечерним дождём окно – нет, не разбито.

– Странно, а где же вы играли?

Ну, что за непонятливая тётя!

– Да тут, в коридоре. С Сашкой. А у вас дверь открыта. И он к вам закатился.

– Кто, Сашка? – уже улыбается соседка. И тут же обращается к кому-то в угол комнаты:

– Оленька, вставай. К нам гость, наш новый сосед. Я ещё не знаю, как его зовут. Я включаю верхний свет.

– Да, мама, – раздался из угла тихий девчачий голос.

Комната осветилась, и тут я увидел девочку-соседку, которую Сашка называл занудой. Ростом чуть повыше меня, круглолицая, стройная, она смотрела на меня с лёгкой улыбкой. Признаюсь, я никогда раньше не видел таких красивых девчонок. Её волосы цвета спелой пшеницы как будто светились золотом изнутри. А эти огромные серые глаза ...

Я вперился в неё, не в силах вымолвить ни слова. Видимо, вид у меня был столь дурацкий, что Оля рассмеялась.

Подойдя к письменному столу, она подняла мяч:

– Держи, Миша.

Странно, но она уже знала, как меня зовут.

Вообще-то я парень бойкий, не стеснительный, болтливый, даже лишку. Но тут ещё больше растерялся. Автоматически взял протянутый мне мяч.

Положение спасла мама Оли.

– А меня зовут Елена Сергеевна. Давайте-ка выпьем чаю, – обратилась она к дочери.

Я снова взглянул на женщину и сморозил:

– А я подумал, что вы поэтесса. Анна Ахматова.

– С чего бы это? – удивилась мама Оли. И еще с большим удивлением, – А ты читал Анну Ахматову?

Не ответив, я опрометью выбежал из комнаты соседей, и, буквально ворвавшись к нам, схватил со стола книжку, которую накануне вечером читала моя мама.

– Вот, – я протянул Елене Сергеевне книжку.

– Да, это томик Анны Ахматовой. И знаменитый портрет работы Альтмана.

Посмотрела на меня с удивлением:

– Ты уже читаешь стихи?

– Нет, это мама. Она любит стихи. А я умею читать. Вон, смотри, на обложке написано «Анна Ахматова. Стихи». И ваш портрет.

Мама Оли рассмеялась:

– Что ты, Миша, это не мой портрет. А схожесть – ну разве что жёлтая шаль.

И снова предложила:

– Давайте уже пить чай.

Я сидел напротив Оли, мы пили обжигающий индийский чай ("со слоном"), между прочим, с необычайно вкусным кизилковым вареньем. Я, выворачивая шею, рассматривал фотографии военного лётчика на стенах. Их было немало. Уже точно не помню, о чём мы тогда говорили. Что-то про лётчиков, кажется.

Так началась наша дружба с Олей. И никакой она была не занудой, а совсем даже напротив – удивительной девочкой. Всегда аккуратная, спокойная, вежливая, она недолюбливала наши с Сашкой шумиху, беготню и футбол, никогда не принимала участие в таких играх. Зато она научила нас танцевать «Яблочко». Да-да, как в кино, с выходом, с хлопками по коленкам и голениям.

К Сашке она почему-то относилась с прохладцей, а со мной общалась тепло, хотя и чуть подчёркивая своё безусловное старшинство.

– Миша, ну не будь ты как медведь. Вот смотри, – и ловко, в такт мелодии, стучала себя ладошками по коленкам. Как выяснилось, Оля с четырех лет занимается танцами. А ещё она играла на пианино и даже на балалайке, под которую в коридоре нашей коммуналки мы давали взрослым концерты – «домашники».

Как-то раз, когда мы вечером «воевали» с мамой, шумно разбирая очередную арифметическую задачу, Оля постучала в дверь.

– Добрый вечер.

Моя мама, только что распекавшая свое нерадивое чадо, улыбнулась:

– Здравствуй, Оленька. Миша пока занят. Он уроки делает.

– Вот по этому поводу я и зашла. Давайте я буду с Мишей заниматься.

Это было неожиданно. Но мама-то как раз быстренько уловила идею. Она же, как и остальные соседи, видела, что я обожаю эту девочку, и скрыть своё детское обожание при всём желании не могу. А значит ...

С тех пор я приходил к Оле почти каждый вечер. За исключением дней, когда они с мамой на выходные уезжали к отцу на полигон «Кап-Яр». Моя подруга очень любила своего папу, всегда говорила о нём с восхищением, ждала этих поездок. Но жили они почему-то далеко друг от друга.

Уже через месяц систематических занятий с соседкой успеваемость моя зримо пошла в гору. Оля была, как тогда говорили, «круглой отличницей», но не это было главное. Я сам из кожи вон лез, чтобы не ударить перед ней в грязь лицом. Иной раз даже отказывался от вечерних прогулок. Тогда Сашка злился, называл меня предателем.

Между прочим, Оля учила меня не только арифметике и правописанию. Она обращала внимание на мою одежду, требовала быть аккуратным. Сама-то – аккуратистка ещё та. Платье всегда – ни лишней складочки, пшеничные волосы – волосок к волоску, школьный воротничок – кипельно бел. Особое уважение (и даже зависть) вызывал у меня, октябрёнка-первоклассника, её безупречно выглаженный пионерский галстук. Однажды, посмотрев на пузырящиеся колени моих школьных брюк, Оля предложила мне научиться их гладить.

– Мужчина должен уметь следить за собой, – серьёзно говорила она, отжимая марлю в миску с водой и раскладывая на столе мои школьные штаны.

Выпал снег, и мы вместе гуляли вечерами, забрасывая друг друга снежками. Я катил её санки, а потом мы скатывались на них с горы за пороховыми складами.

Сейчас это кажется странным, но кроме меня друзей у Оли будто и не было. Во всяком случае, за всё время нашего знакомства никто ни из её класса, ни из танцевальной секции не приходил в гости. Вместе с тем, все взрослые соседи Олю любили и звали не иначе как Оленька.

* * *

Наступил март. Родители всё чаще обсуждали, когда же закончится капитальный ремонт нашего дома. Выходило – к лету. Значит, ещё месяц-два и мы вернёмся жить в нашу маленькую квартирку с солнечными зайчиками.

Но меня это совершенно не радовало. Я не хотел уезжать от Оли, а когда думал об этом, мне казалось – без неё я умру.

Всё случилось гораздо быстрее и трагичнее. Однажды, вернувшись домой из школы, я услышал за дверью приглушённые рыдания Елены Сергеевны. Мама не дала мне даже приблизиться к комнате соседей. Взяв за руку, увела на кухню, усадила ужинать.

Шёпотом сообщила, что Олин папа разбился во время испытаний нового самолёта.

Я сидел в своей комнате тихо как мышка, делая вид, что читаю. В дверь постучали. Елена Сергеевна. Она держала дочь за руку. У обеих глаза заплаканы. Мама вышла к ним и через минуту завела в комнату мою подружку.

– Оленька останется у нас ночевать. Елене Сергеевне нужно уехать.

Оля долго плакала, свернувшись калачиком на моём диване. Я ревел тоже. А потом утешал её, а она почему-то меня, а потом мы оба заснули рядом, укрытые одним верблюжьим одеялом. Ощущение ещё влажной от слёз теплой Олиной щеки у меня на руке запомнилось на всю жизнь.

Потом вернулась Елена Сергеевна. Оля ушла домой, и какое-то время мы с ней практически не общались. Занятия, само собой, прекратились. Виделись изредка, мельком, при встрече оба прятали глаза.

В конце мая, встретив меня в коридоре, Оля сказала:

– Миша, ночью мы с мамой уезжаем. Насовсем. К бабушке, в Калугу. Я буду по тебе очень скучать, ведь ты мой единственный, самый-самый лучший друг.

И поцеловала меня в щёку.

Потом Оля ушла.

Ночь я не спал. Забившись в угол на диване, долго искал в географическом атласе, где находится Калуга. Да вот же она, всего-то в десятке сантиметров от нашего города.

Услышав, как к дому подъехала машина, прилип к окну, отодвинул штору. Два солдата вынесли из подъезда вещи, Елена Сергеевна с Олей сели в машину и военный УАЗик укатил.

Я сидел на подоконнике, смотрел на пустую, освещённую жёлтым фонарём ночную улицу. Стекло чуть затуманилось от моего дыхания, и я пальцем написал на нём: "Прощай, Оля".

2. Алла

Автобус гроыхнул на ухабе и остановился. Водитель объявил: «Бушмановка. Конечная». Вот оно, место моей новой работы по распределению – Областной Дом престарелых и инвалидов.

Прощай, гостеприимное общежитие в Анненках, что на другом краю Калуги, прощай, беззаботная жизнь интерна.

Место мне хорошо знакомо, ведь я больше полугода проходил интернатуру в психиатрической больнице, что чуть дальше в гору, через дорогу.

Старый корпус «последней пристани» калужских стариков принадлежал до революции богатому купцу-меценату Бушманову, который выстроил и нашу больницу. Остатки былой роскоши: потолочная лепнина, узорный, но годами не ухоженный паркет, старинные филёнчатые двери, кованые затворы окон, огромное мутное зеркало и напольные часы "Павел Буре" с навеки застывшим временем – всё это до сих пор украшает второй этаж некогда помпезного, а ныне пропахшего запахом человеческой старости и архитектурного упадка корпуса.

Склонившиеся к облупленным окнам заскорузлые деревья парка тоже изнемогают от старческих болезней, трещат под грузом сухих, грозящих вот-вот обвалиться на головы прохожих веток. Изнутри же окон со своих коек смотрят на парк немощные старики, по большей части одинокие или абсолютно заброшенные, ненужные своим родственникам люди.

Есть тут и новый корпус, выстроенный годам в семидесятих, "брежневских", по стандартному, как и всё в Минсобесе, проекту. Типовое здание силиконового кирпича, где проживают ещё крепенькие «обеспечиваемые». Здесь в целом чище, уютнее, не так ощущается стойкий запах старости и испражнений. Просторная, хоть и темноватая, столовая, большая амбулатория. Комнаты разные по площади, но с холодильниками, чёрно-белыми телевизорами и ковриками на полах и стенах. Хоть какой-то уют. Здесь бурлит своя, специфическая, изобилующая амурными историями, ревностью, многочисленными перипетиями и сплетнями жизнь. Дирекция и «персонал», как водится в собесах, подворовывают, кто в меру, а кто и поболее.

Вот, именно тут мне и предстоит отрабатывать три года по распределению. Впрочем, пока я даже доволен, потому что остался в областном городе, а не сослан куда-нибудь в Медынь. Потому что рядом с моей больницей. Потому что живу один, и не в комнате в общежитии, а в отдельной «одиннадцатиметровке», в двухэтажном старом флигеле, который ещё при Бушмановых служил жильём для прислуги. Хотя, и ныне кто мы, как не прислуга?

Из окна открывается (если можно так сказать) живописная картина во двор, центр которой по диагонали перечёркивает длинная бельевая верёвка, на которой сушат застиранное бельё старушки «из контингента». Как ни выглянешь из окна, обязательно наткнёшься на согбенный силуэт, проверяющий сохранность лифчиков, линялых халатов или рейтуз с начёсом.

В центре раскинулась старая груша-дичок. Это единственное дерево на весь двор. На него, напившись до чёртиков, тарзаном взбирается шестидесятилетний сосед-туберкулёзник, единственный в доме поедатель мелких и кислых плодов той груши. Когда же он не на дереве и не в вытрезвителе, то сидит и кашляет на общей кухне. Смоля "беломорину" за "беломориной", он сдабривает нецензурной бранью плетение из ворованной телефонной проволоки симпатичных хозяйственных корзин на продажу.

Другой сосед, дверь в дверь, молодой техник телеателье Володя, нянчит под громохание хард-рока трёхмесячного сына. В перерывах между композициями "Deer purple" или Uriah Heep" слышен его многоэтажный мат, которым тот укачивает «почему-то» не желающее засыпать дитя.

Недавно я оказался свидетелем его задушевной кухонной беседы с любителем груш. Володя посоветовал туберкулёзнику: «Моменто морэ¹». Позже, поинтересовавшись у молодого папаши, что именно тот имел ввиду, обращаясь к мастеру плетения корзин, услышал воистину ошеломляющий ответ: «Ну как же ты не знаешь, это по латыни – «лови момент»!

Работа в доме престарелых спокойная, не сказать скучноватая. Больные по большей части больны старостью, но лечатся годами. Скучен рутинный приём в амбулатории, скучны покомнатные обходы, стереотипные истории болезни, знакомые лекарства. Если б не работа в больнице и друзья интерны... Да, ещё две молоденькие, только после медучилища медсестры, как и я, отрабатывают здесь по распределению. Они трудятся в старом «бушмановском» корпусе, но общению это не вредит.

Я, скажем так, врач в этой "силиконовой долине". Медсестра, имя которой Домна, служит здесь, наверное, со времён знаменитого калужанина Циолковского. Ага! Ей где-то за сорок, а может и

¹ Mementō morī (лат.) – помни о смерти.

эдак под пятьдесят. Колобково-смешливая, абсолютно безобидная тётка. Самый высший профессиональный пилотаж Домны – поставить банки (опробовано на себе!). В остальном её знания – каменный век.

Есть и вторая медсестра, Лена, высокая, как каланча, но красивая по-своему девушка. Несколько портят эту красоту безвкусно подобранные очки в роговой оправе и... уже намечающийся «животик».

Стоп, без намёков! К этому «животику» я отношения не имею. Лена «залетела» ещё до моего распределения! Живёт с родителями, аборт делать не планирует, хочет растить ребёнка сама.

Большую часть дня медсёстры просиживают в процедурной, раскладывая лекарства и переминая косточки всей Калуге. Благо, не мегаполис. Сегодняшний день – не исключение. Дверь в процедурную открыта настежь. Вхожу. Домна отдыхает на кушетке, Лена – сидит на стуле, сложив ладони на животе. А в углу, около письменного стола стоит ... молодая круглолицая девушка с огромными серыми глазами, причёской "каре", волосы цвета спелой пшеницы.

Оля. Моя Оля – из детства!

Я в полной растерянности:

– Оля? Оля, как ты меня нашла?

Девушка смутилась, щёки запунцовели, ответила тихо:

– Я Алла.

Домна громко загоготала:

– Михал Викторыч, ты, похоже, вчера с друзьями в ресторане перепил? Да-да, я-то дежурила ночью, видела, как ты через дырку в заборе к дому пробирался. Га-га-га... А это наша Алка, медсестра. Она в декрете была. Га-га-га... Вот родила, на работу на той неделе выходит. Га-га-га...

Я опомнился:

– Извините, Вы мне напомнили одну мою давнюю знакомую.

* * *

Алла вот уж месяц как работает в моем новом корпусе. Я смотрю на неё и вижу мою Олю из детства. Только уже не девочку, а красивую молодую девушку. Фигура, движения, глаза, волосы – всё Олино. Даже одевается также – исключительно аккуратно, со вкусом.

Я немного сторонюсь Аллы, обращаюсь к ней на "вы". Полагаю, если она замужем и у неё ребёнок, то все мои сантименты и романы на стороне ей ни к чему.

И потом, я, блин, конкретно комплексую! Так же, как комплексовал в детстве перед Олей.

* * *

Вот уже вечер, на улицах темень. Алле давным-давно пора домой. Странно, что же она опять не уходит? И меня будто что-то держит в кабинете, хотя уже почти опаздываю на очередное свидание.

В кабинете полутемно, я люблю работать без верхнего света, при настольной лампе.

Стук в дверь:

– Михаил Викторович, к вам можно?

Делаю вид, что занят, типа углубился в историю болезни.

– Да, входите, пожалуйста.

В освещённом просвете двери рисуется точёная фигурка Аллы. Она обходит мой стол, встаёт рядом, чуть позади моего кресла, спрашивает что-то. Ощущается легкий запах её духов.

– Что? Я не расслышал...

Не поняла дозировку лекарства? Почерк у меня вообще-то разборчивый, всё вроде понятно написано. Ну, что ж, поясняю, сколько, чего и когда.

– Спасибо, – Алла поворачивается и не спеша идёт к выходу.

– Подождите.

Она останавливается, смотрит на меня через плечо. Встаю, подхожу к ней сзади, почти что вплотную.

– Алла, почему вы задерживаетесь на работе?

Она поворачивается, чуть касается тёплой рукой моей щеки...

Я, неожиданно (и для себя тоже), обнимаю её и крепко целую в губы.

Какое-то время мы стоим молча, обнявшись. Господи, как же здорово!

Потом Алла, легонько толкнув меня в грудь, уходит.

* * *

Чудесный зимний вечер. Мы с Аллой неспешно гуляем, вернее я ее провожаю домой. Мимо, борясь с занесённой дорогой, фыр-

чат автомобили, троллейбусы. Снег летает в жёлтом свете фонарей, бликует в фарах машин, крупные хлопья ложатся на землю, преумножая и без того не малые сугробы. Тяжёлый, влажный снег липнет к ботинкам. Соль по улицам в Калуге ещё не разбрасывают, в отличие от Москвы, так что за белые разводы на обуви можно не беспокоиться.

– Ты не замёрзла?

– Нет, мне тепло. Тебе, вижу, тоже.

– Меня дублёнка греет, – хвастаюсь ей новоприобретением.

Вот что значит женщина, сразу схватывает страсть к новым шмоткам.

– Давай-ка я тебе читаю стихи. Из Ахматовой.

Читаю Алле на память:

Зажжённых рано фонарей
Шары висячие скрежещут,
Всё праздничнее, всё светлей
Снежинки, пролетая, блещут.

И, ускоряя ровный бег,
Как бы в предчувствии погони,
Сквозь мягко падающий снег
Под синей сеткой мчатся кони.

– Дальше забыл! Ну, всё равно, как-то так.

Алла смеётся. Щёки разругались, глаза, кажется, ещё ярче, чем обычно. Показывает рукой в пуховой варежке:

– Сворачиваем сюда, в переулок.

– Куда мы идём? Ведь твой дом на Пушкина, а это в другую сторону.

– Здесь недалеко. Мне дочку из яслей надо забрать.

Дочку так дочку. И вправду недалеко. Улица имени великого русского писателя – Достоевского не менее заснежена, чем, скажем, Пушкина.

Алла выкатывает из капитки яслей санки с алюминиевой спинкой. На них важно восседает маленькое существо, закутанное в кроличью шубу, шарф и одеяло. Видны только щеки и маленький розовый носик. Санки останавливаются прямо передо мной.

Сверкающие в свете уличных фонарей снежинки нежно опадают вокруг нас.

– Как зовут это чудо?

– Оля, – отвечает Алла.

Оля. Оля. Оленька...

* * *

Морозы пошли на убыль. Вот и начало апреля. Скоро весенняя капель.

А "силиконовая долина" бурлит сплетнями. Одни говорят, что медсестра Алла разводится с мужем и уходит к молодому врачу. Другие зудят, что они уже давно живут вместе. Третьи – что дом престарелых превратился в «гнездо разврата» молодёжи.

Меня перевели работать в "бушмановский" корпус, подальше от юных чаровниц-медсестер! Со мною вместе сослали и Домну, посчитав её вне опасности.

Новая директриса «заведения», бывшая заведующая отделом домов престарелых и инвалидов Облсобеса, регулярно вызывает меня «на ковёр», выпытывает, действительно ли между мною и Аллой что-то есть. "Дыма ведь без огня не бывает!" Предупредила, что родители мужа Аллы – какие-то влиятельные «шишки» в обкоме партии. Я разозлился, «послал» директрису открытым текстом. Та в "аппарате" не новичок, то бишь, не лаптем щи хлебает, срочно собрала «актив», в который, кстати, вошла и Алла.

Не дом престарелых, а суд инквизиции какой-то! Меня песочили битый час «за хамство, проявленное по отношению к начальству», угрожали "сломать шпагу" над моей головой за нарушение "профессиональной этики" и "сжечь на костре" мой врачебный диплом. При мне же голосовали (единогласно, разумеется) за вынесение «с занесением» за «нарушение субординации».

Я смотрел, как Алла нерешительно поднимала руку «за», а директриса тем временем вперивалась в неё колючим взглядом.

Мне плевать и на их "актив", и на выговор, о чём я прямо там сказал директрисе.

– Ты не наш, ты чужой! – воскликнула она. Что имелось в виду, я до сих пор не понимаю. Но моё «дело» ушло «наверх» – на рассмотрение Коллегии Областного отдела соцобеспечения.

Как по мановению волшебной палочки посыпались «письменные жалобы» от обеспечиваемых. От тех, кстати, кто ещё месяцем раньше писали мне одни благодарности.

* * *

И снова вечер, снова кабинет, только другой, стоматологический – в "бушмановском" корпусе. Здесь тихо, никто не надоедает. И бабушки перед замочной скважиной не горбятся. Её тут просто нет, замочной скважины.

Стук в дверь. Входит Алла. Всё как в тот, первый раз. Я запираю за ней массивную дверь на засов.

– Директриса всё сообщила родителям мужа. Ни он, ни его родители со мной не разговаривают. Меня даже не подпускают к ребенку. Заставляют уволиться.

Обнимает меня, на глазах слёзы.

Главное, что всё это сплетни. После того поцелуя между нами вообще не было никакой близости, если не считать вечерних провожаний, разговоров и стихов. Могло бы быть, наверное, но не было.

Громкий стук в дверь.

Делать нечего, открываю. В коридоре – весь «актив». Блудёт неусыпно.

Алла опрометью бросается вон. «Актив» возмущённо гундосит в коридоре. Я медленно надвигаюсь на расступающуюся передо мной живую стену "актива", выхожу в полутёмный, тяжело смердящий коридор. На ходу бросаю в сторону "руки в боки" директрисы:

– Ваша взяла, я увольняюсь.

Послесловие

Вот и всё. Скрипучий платяной шкаф, доставшийся мне от бывших жильцов, щелкает покачивающимися на планке плечиками. Из вещей у меня – лишь средних размеров чемодан и спортивная сумка. Провожать меня некому, с друзьями попрощался накануне, а здешние "коллеги", медсестры, мои бывшие пациенты – носу не покажут. "Актив" не дремлет.

Сам себе говорю:

– Ну что ж, присядем на дорожку.

Венский казенный стул прощально скрипит. Всё, поехали.

Запираю комнату на тех ещё времён замок. Спускаюсь с чемоданом по лестничному пролёту к выходу. Единственный ключ с причудливой бородкой летит куда подальше – в тающий под грушей-дичком сугроб: "Так не доставайся же ты никому!"

Осторожно шагая по расчищенной, скользкой от оттепели снеговой тропинке, краевым зрением замечаю, как шелохнулась и отошла в сторону белая шторка в процедурном кабинете "силиновой долины".

Алла

Приложив обе ладони к весеннему мокрому окну, она провожает взглядом уходящего прочь меня. Стекающие от ее ладоней по запотевшему стеклу капли напоминают слёзы.

Прощай...

Вышла книга Сони Тучинской
"Вечный пропуск".

Чтобы ее приобрести, нужно просто
пойти на Amazon.com

и ввести там в поисковое окно: Sonia Tuchinsky.

Или - прямо к книге по этому линку:

<http://www.amazon.com/dp/1495373673/>

В книге 340 страниц разнообразнейших по стилю,
жанру и географии текстов на кириллице.

От прозы и публицистики до переводов.

Цена без стоимости пересылки \$ 13,49.

Михаил Гольд

ПОСЛЕДНИЙ ГАЛС

*Нашим родителям, прошедшим трудными
дорогами там и пережившим абсорбцию здесь*

Какая в Израиле осень? Два месяца жарко, восемь — очень жарко, остальное — дожди. Осенний день начался обычно. Со скандала между дочерью и зятем. Ругаются регулярно, будто по графику. Утром и вечером. Когда без работы, прихватывают день. Без работы бывают часто. Сегодня — с утра пораньше.

7.00. Подъём. Соответственно возрасту зарядка, холодный душ.

8.00. Завтрак. Еда традиционна. Либо яичница с колбасой, ветчиной, можно — пастромой, или масло, сыр, хлеб. Чай обязателен. К кофе, как и к кашруту, Давид Львович Герцог так и не привык за всю длинную, богатую событиями жизнь. К израильскому чаю душа тоже не лежит, хотя он сейчас такой во всём мире. Что за напиток, когда сидишь дурак-дураком и полощешь в кипятке бумажный пакетик? Давид Львович покупает настоящий чай в коробках. На «Блошином рынке» в Яффо приобрёл медный заварной чайник и колдует, как привык с незапамятных времён. Однажды зять иронично поинтересовался алхимией тестя. Мол, время зря теряете, дорогой товарищ, — цивилизация, прогресс и иже с ними давно ушли вперёд. Герцог налил ему четверть чашки. Тот смело хватанул порцию.

— Как вы это пьёте?! Ужас! Чифиры! Эзовский напиток!

— Чай «Адвокат», рецепт ещё парусного флота. Сюда бы ещё рому хорошо...

Зять тут же произнёс речь: длинную, непонятную, не нужную. По поводу еды, наслаждения, пользы и ещё чего-то. Давид Льво-

вич не слушал. Такая речь и подобные ей — выражение сути «самца дочери», как про себя называет Герцог зятя, его патология. Страдает поносом мысли и недержанием слов. Зятю всё равно, о чём извергаться, и слушают ли его. Главное — говорить, слышать свой голос, излагать собственное мнение, возражая хотя бы диктору в телевизоре. Образования у зятя нет. Достойной специальности — тоже. У Давида Львовича давно сложилось мнение, что дочкин муж всю жизнь разыгрывает известный только ему самому спектакль. Кого-то изображает при полном отсутствии способностей к лицедейству. Старый капитан давно к этому привык, не обращает внимания. Нет, не любит Герцог своего зятя.

Сегодня, судя по позе — самец лежит носом к спинке дивана в салоне, — поле боя осталось за дочерью. Однако родная кровь продолжает бурлить и пениться, несмотря на чистую победу.

— Папа, мы опять без денег. Ума не приложу, как платить машину.

— Очередной форс-мажор? Майя, деньги надо уметь и любить зарабатывать.

— Делать!

— Если хочешь, и делать тоже. Ни ты, ни твой супруг этого сделать не в состоянии. К трудоголикам вы не относитесь.

Супруг электрически дёрнулся на диване. С момента приезда в Израиль зять обнаружил себя крупным предпринимателем. Просто акулой бизнеса, китом коммерции, можно сказать. Занимался страховым бизнесом, торговлей недвижимостью. Каждый раз, когда лопалось очередное «потрясающее начинание», муж дочери что-то упускал, был где-то рядом, куда-то не успевал. И во всём виноват арабский менталитет, хотя работал он в русскоязычной среде. Проекты стоили семейного автомобиля, отобранного за долги по «сумасшедшим прибылям». Когда зять начал продавать отдых то ли на Сандвичевых, то ли на Свинячьих островах, — он точно не знал, на каких, — его побил новый репатриант, который оказался мастером спорта по боксу. Бил сильно, больно, профессионально. Теперь, слушая вздохи с дивана, Давид Львович понял, что чета Петровых стоит на краю бездны очередного миллиардного начинания.

— Папа, нужны деньги.

— Нет.

– У тебя же есть!

– Да.

– Папа, нам закроют банковское обслуживание, выселят из квартиры, будет нечего есть. Я буду вынуждена заняться проституцией!

Давид Львович отодвинул стакан, достал сигареты. В день решает себе не более четырёх. За этим строго следит. Подумал, что дочь прозевал в своё время. С его профессией – такое не мудрено. Выросло, что выросло. Вдохнул.

– Попробуй. Вообще-то к сорока годам поздно приобретатьковую квалификацию. Правда, в любом возрасте и в любом деле можно добиться высот, относясь к нему с душой. Пугать меня не надо. Ты своего Николая страшай. Он с тобой спит. Возможно, пойдёт работать где-нибудь. Из квартиры никто не выселит. Я тоже брал машканту. Регулярно делаю платежи. Часть её принадлежит мне. Напомни, сколько ты у меня занимала? Всех, кому должна, прощаешь?

– Папа, ради внука!

– Как раз ради него и не дам. Всё, что имею – ему. Парню надо с чем-то вступать в жизнь. Долгие разговоры о том, как хорошо быть генералом, а ещё лучше миллионером, согласись, очень слабая поддержка молодому человеку, стоящему в начале долгой и неизвестной дороги.

– Ты же видишь, что он собой представляет!

– Нет. Ты так торопилась, чтобы я не разглядел твоего избранника, даже не дождалась моего возвращения из рейса. Папа невесты был поставлен в известность радиogramмой на судно.

9.17. Герцог на автобусной остановке. Едет в Бат-Ям. Там, на набережной проводит три часа наедине с морем, опираясь на бетонный парапет, словно на планшир фальшборта крыла мостика. Не может без него. Вся жизнь прошла в море. Это не любовь. За годы оно стало частицей его самого. Моряки шутят, что в Англии – владычице морей, – человек, проплававший три года, считается психически ненормальным и не может свидетельствовать ни в каком суде, кроме морского. А если отдано пятьдесят полновесных лет?

Если Давид Львович, несмотря на самочувствие, погоду и прочие неприятности, не пообщается с морем, не определит силу

ветра и волнение, не оценит мастерство капитанов рыбацких катерков, снующих у яффского порта, то чувствует себя неуютно и тревожно. Пропадал сон. Ночами вскакивал, подходил к окну, стоял, курил...

Сегодня общение прервали. К Герцогу подошёл человек лет на десять моложе.

– Здравствуйте! Давно я вас не видел, – с необъяснимой радостью приветствовал он старого моряка.

– Взаимно, – улыбнулся Давид Львович. – Я вас вообще никогда не видел.

Господина в бейсболке с нагловатой надписью, утверждающей, что её владелец — сексуальный гигант, мало волнует, знаком Герцог с ним или как. Главное: на данный момент Давид Львович ему очень симпатичен. Как известно, и с телеграфным столбом есть о чём поговорить, если он тебя уважает.

– Ну, как вам это? – спросил общительный гражданин.

– А вам? – вопросом ответил Герцог.

– Вы бывали в Харькове?

В столь славном городе Герцог не бывал, чем обрадовал своего визави.

– Какая у меня была квартира! Тут, таки да, нету. Их было всего две на тот Харьков и с областью. У меня и у первого секретаря обкома. Завидовали все! Все завидовали! И я продал её за большие деньги, такие деньги!..

– Настоящие? – не выдержал Герцог.

– Шо значит настоящие? За их я тут купил квартиру... две. Платил наличными. Ай, это была квартира! Сказка, красавица. Две комнаты, балкон, газ иногда, горячая вода, могли дать и холодную. По праздникам. Восьмой этаж. Лифт не работал.

– Дворец, – согласился старый моряк.

– А шо бы вы себе думали? Шоб я так жил, как да! Знаете, почему я её получил? В том Харькове я был больше чем врач. Я – миды фельшер! Ветеринарный. Вы знаете, шо такое Салтовка? Только я всем лечил триппер, геморрой, экзему. Я ставил клистиры самому товарищу Марченко!

– Кто такой товарищ Марченко? – Давид Львович надеялся, что сие и есть первый секретарь обкома, чем встреча и закончится.

– Очень большой человек.

Далее старый моряк узнал, что фельдшер пожил тут с дочерью, потом с сыном. Дети, по обыкновению, оказались сволочами. Сейчас на схируте в Бат-Яме с одним «алтер какером». Тоже «азохинвей», кстати. На днях, а то и раньше фельдшер собирается оставить Израиль ради Москвы.

– Вы бывали в Москве?

– Приходилось.

– Ну и как?

– Что?

– Москва.

– Стоит.

– Вот! Там у меня сын. Большой человек. На НТВ... Вы знаете НТВ?

– Слышал.

– Он у них главный по нефти.

Давид Львович хотел поинтересоваться, каким концом телекомпания добывает нефть, но воздержался.

– Я сыну оставил квартиру в Москве... И машину.

– Стиральную?

Вопрос не был услышан или его просто игнорировали.

– Вы были в Феодосии?

– Был.

Также Герцог был во всех местах скопления народа в курортный сезон в Азово-Черноморском бассейне. Наконец нашёлся ещё один город, который он не посещал — Кисловодск.

– Там у меня брат большой человек — начальник милиции.

Очевидно, во всех перечисленных городах большой брат «больше чем врача» тоже руководил милициями, но в Кисловодске особенно.

11.40. Возвращение домой.

Зять по-прежнему лежит на диване в позе, выражающей презрение ко всем. Дверь в спальню плотно закрыта. Давид Львович сделал вывод – утреннее выяснение отношений имело продолжение, и ещё не вечер. Вдохнул, принялся разогревать себе обед.

Он мог спокойно купить себе маленькую квартирку где-нибудь на Севере или Юге у моря. Хотелось помочь ребёнку. Помог...

Хлопнула дверь, появилась дочь.

- Папа, ты был в Канаде?
- Был.
- Ну и как там?
- Что тебя интересует? Работа портовых служб? Чёткая. Навигационная обстановка сложная.
- Меня интересует жизнь.
- Про жизнь не ко мне. Я что-то мог понять за трое суток стоянки? Конечно, жили они тогда на... надцать уровней выше, чем в Союзе. И жили по-разному. Как здесь, и во всём мире.
- Помнишь наших приятелей Шустеров? В Кирьят-Шарете купили квартиру.
- Чисто визуально. Представлен не был.
- Уехали в Канаду. Очень хорошо устроились.
- И?
- Ну, не знаю... Может, нам туда перебраться?
- Переехать в Канаду на содержание Шустеров? Будем их ставить в известность или осчастливим экспромтом?
- При чём тут Шустеры?! – резко оборвала дочь. – Они там не одни.
- Тоже верно. Нельзя рассчитывать на каких-то Шустеров. Ехать ко всем канадцам. Так надёжней.
- Ты заметил, что с тобой последнее время нельзя разговаривать?
- Кто же это за собой замечает? Как раз наоборот. Помнится: сам Шустер – программист из неплохих. Работал по двенадцать, пятнадцать часов в сутки. После ещё мотался по приватным клиентам. Его жена тоже ишачила. Кажется, стоматолог? Что вы предложите той Канаде ради собственного благополучия?
- Не одни же программисты там нужны.
- Рабочие специальности, естественно, тоже требуются. Потянем?
- Майя фыркнула, резко повернулась. Дверь в спальню опять хлопнула. Она негодовала на Горбачёва, приведшего к распаду такого хорошего Союза, где можно было сонно играть детям утенки в детских садах. На Сохнут, не объяснивший, что в Израиле музыканты её уровня и профиля успешно поливают кактусы в пустыне Негев. На себя, вышедшую замуж за невесту что. На Канаду, любящую трудолюбивых программистов, и на отца, не желающего ни понять, ни помочь.

Вымыв посуду, Давид Львович ушёл к себе в комнату, плотно прикрыл дверь. К старости стал уважать адмиральский час. С годами он становится длиннее. Прилёг на диван. По выработанному десятилетиями рефлексу, бросил цепкий взгляд в угол стены, где на переборке каюты висит репитер гирокомпаса. На стене висят фотографии.

Когда купили квартиру, и дедушке отвели комнату, Давид Львович занялся устройством уюта в ней. С мебелью было никаких проблем не случилось. Решил прикупить картин. Хотелось тихих, спокойных пейзажей, бытовых зарисовок, и что-нибудь из сельской жизни. В изобразительном искусстве старый моряк разбирается на уровне «нравится — не нравится». Однако по ценам в галереях определился быстро. Подлинники очень дорогие. Типографские, даже хорошего качества копии украсить «каюту» не могли. Пришлось публиковать свой архив. Герцог достал из чемодана фотографии, купил рамок — получилось ничего себе. Суда, на которых плавал. От парусно-моторной шхуны до современного контейнеровоза. Люди, с которыми сталкивала жизнь; места, где пришлось побывать. Среди них повесил часы, вставленные в шлюпочный штурвал. Старую, лихо замятую мичманку с белым чехлом. Конечно, бинокль. На полочке устроилась стойка курительных трубок. Купил верёвки, навязал узлов. Тоже вывесил на стене. Всё напоминает маленький частный музей. Внук водит сюда друзей на экскурсии.

Взгляд упёрся в пожелтевший снимок. Под стволом толстой пальмы снялись человек пятнадцать. Вот и он сам в первом ряду присел на корточки. Совсем пацан. Сколько тогда было? Семнадцать? Девятнадцать? Последний рейс на «Депутате». Сухуми. Тогда город назывался Сухум...

Забрала отца. Прямо с работы. Среди тех, кто за ним пришёл с ордером, были и его пациенты. Мама не работала. Старшая сестра училась в музыкальном техникуме по классу композиции. Давид остался единственным мужчиной в семье, кормильцем. Закончил семилетку, отправился в Одессу, поступать в морской техникум, хотя собирался стать врачом. Мама, никогда прежде не работавшая, теперь служит в каком-то учреждении. Семья живёт трудно. Давид мог учиться и работать. Если устроиться на судно, там кормят бесплатно, поэтому практически весь оклад остаётся целым, что очень важно для семьи Герцогов.

Романтикой моря никогда не бредил. Даже не знал, на какое отделение подавать заявление. Посоветовали на штурмана, хотя очень нравилось слово «багермейстер». Приняли на заочное. Давид со студбилетом как свидетельством профессиональной принадлежности отправился в контору Азово-Черноморского пароходства. Строгая девица-делопроизводитель, по-видимому, комсомолка, потому что коротко острижена, с окурком папиросы в углу ярко накрашенного рта, хриплым голосом и рубленным пролетарским языком сказала, что вакансий нет и не предвидится даже для членов профсоюза. Помог какой-то ответственный товарищ в украинской вышиванке, подпоясанный кавказским наборным ремешком, с серьёзным портфелем о двух замках под мышкой.

– Та поможить вы хлопчику, Вава. Ну шо вы за народ?! Наш хлопчик. Из рабочих и крестьян. Не пропадать же!

Давид стоял в ожидании. Нужна работа. Он уже решил выучить сестру, накопить денег и поступать в мединститут.

Сестра композитором не станет. Будет играть на скрипке по всяким оркестрикам в провинции, включая ресторанные. Очень неудачно выйдет замуж, родит кучу детей. Мама умрёт в ташкентской эвакуации.

Через три часа Давид поднимется на борт первого в своей жизни судна, не подозревая, что на берег не сойдёт в ближайшие пятьдесят лет. За два года побывает матросом, штурманским учеником. В тридцать седьмом его, как передовика производства, комсомольца и студента профильного учебного заведения, перевели третьим помощником. Выдвиженец взял фанерный чемоданишко и перешёл из кубрика в офицерскую каюту к остальным командирам палубной команды.

Люди и судно были замечательные. Деревянная трёхмачтовая парусно-моторная шхуна «Депутат», бывший «Филарет» шведской постройки, имела финское вооружение и керосиновый движок. Движок предсмертно стучал при работе, сотрясая судно, вонял, но гребной вал вращал едва-едва. Бегала шхуна в каботаже по портам Азовского и Чёрного морей. Перевозила херсонские кавуны, крымские дыни, сухумский табак, керченскую рыбу. Командовал судном «моряк по зову партии» Убийконь Никифор Богданович. Личность легендарная, если не сказать большего;

биографии – самой подходящей. Родом из комбедовской гущи ароматной. Успел повоевать у Щорса, послужить в ЧК, заведовать отделом в агитпропе. Всюду, куда совала его партия, гнул её линию в дугу. Лучше всего гнулось на фронте и в ЧК. Рубай контру в капусту — и вся недолга. С таким настроением отправился получать образование на курсы красных капитанов. Их организовали из-за сильной нехватки командного состава даже на тот тоннаж, что имелся в наличии, и из-за засилья в этом составе спецов чуждого пролетариям элемента. Курс морской премудрости, что осваивается годами, уместили в две учебные недели. Естественно, пропустив все предметы, нужные к изучению, через мелкое сито классово-борьбы и пролетарского самосознания. Такой двухнедельный капитан заведовал «Депутатом».

Справедливости ради надо заметить, что Никифор Богданович в морские дела не совался. Ограничился наблюдением за морально-политическим состоянием судна и экипажа. Каждое утро Убийконь поднимался в штурманскую рубку. Минут пять бараном смотрел на большой голубовато-синеватый лист бумаги на штурманском столе, ни хренаськи не понимая. Лист называется картой. Расчерчен сеткой с карандашной линией, вокруг которой пляшут поставленные точки. Потом спрашивал у вахтенного штурмана:

– Кудой плывём?

Далее следовал следующий сакраментальный вопрос.

– Когда доплывём?

Штурмана к таким вопросам привыкли, внимания на директора шхуны не обращали. Когда начинал надоедать своими вопросами, просто брали в руки секстан. Этого прибора Никифор Богданович боялся панически. На марксистских курсах красных капитанов между политзанятиями и партсобраниями курсантам показывали эту штуку. Строго-настрога запретили лапать эту медную загогулину, потому что в приложение к секстану надо знать мореходную астрономию и свободно читать карту звёздного неба. Однако с тех же курсов Никифор Богданович твёрдо знает — не приведи Господи остаться без этой медной штуковины! Пиши пропало.

Практически командовал судном старпом Эдуард Викторович Парчелли. Старый моряк из бывших. Плавал капитаном в «Доброфлоте». Командовал большими судами. Ходил на знамени-

той линии Одесса – Владивосток. Всегда в прекрасно сидящих кителях. Грудь их от пуговичной петли до нагрудного кармана пере-чёркивает массивная золотая цепь швейцарских часов «Лонжин».

– Дворяжка, николаевские осколки, – усмехаясь, говорил Парчелли, намекая на себя и своё бывшее положение.

Таких, как Парчелли, называют морсепцами. Вторым штурманом и вторым морсепцом был Павел Александрович Петров-Голицин. Прошрое его туманно. Как говаривал о себе сам второй помощник, «происходить имеет из гардемаринов» петербургского морского корпуса. На берег Павел Александрович сходил редко, так как ни семьи, ни близких у него не было. Давид подозревал всем комсомольским своим нутром, что где-то за границей у Петрова-Голицина есть семья, а может быть, и дети. Возвращался второй штурман на борт всегда при коньяке в определённых количествах. После чего запирался в каюте до полного уничтожения купленного. Сколько бы он ни выпил, сколько бы времени ни оставалось до снятия в рейс, на аврал выходил трезвый и хмурый. Иногда Парчелли замечал ему:

– Полноте, батенька, Павел Александрович, этим положения не выправить. Себя только губите.

– Увы, товарищ старший штурман, вы правы. Не желаете шустовского дербылзнуть за компанию с сиротой казанской? Вам, Давид Львович, не предлагаю. Не имею права портить комсомольца и надежду флота. Да и какой это шустовский? Сплошной «Спирттрест».

Когда Давида двинули на повышение, его вызвал Убийконь.

– Ты, товарищ Герцог, классовой бдительности не теряй. Момент чичас чижолый. Вопрос стоять с ребром. Или воны нашу пролетарскую власть, или мы их. Чуть шо – соопчи. Специалисты – воны и есть специваллисты. Скрытые враги.

Время, прошедшее рядом с морсепцами, Герцог считает величайшей жизненной и морской школой. Его никто из них специально не учил. Относились, как к равному, коллеге, с уважением. Просто жили и служили вместе. Потом молодые штурмана удивлялись между собой – откуда у их капитана такая высоченная культура судовождения и врождённый аристократизм.

В конце тридцать девятого года, во время смены вахт, Эдуард Викторович не сразу ушёл с мостика. Как-то между прочим спро-

сил у Герцога:

– Великодушно извините, Давид Львович, что вы собираетесь делать в дальнейшем?

– Плавать, – пожал плечами Давид. Он не понял сути вопроса.

– Совершенно верно. Где? Полагаете остаться на нашей посудине, обрастать ракушками? Со временем милейший Павел Александрович примет вас в своё кумпанство. Будете вместе уничтожать продукцию «Спирттреста».

– Вы же плаваете.

– Мы с Павлом Александровичем – морспецы. Люди, живущие Христа ради. Сегодня есть, а завтра... Вы – другой набор. Комсомолец, специалист, техникум заканчиваете. У вас ценз плавания в офицерской, простите, командирской должности. Вы, голубчик, не стесняйтесь. Придём в Одессу, идите-ка в кадры. Добивайтесь перехода на хорошее, большое судно.

Герцог последовал совету старпома. Неожиданно легко перевёлся на «Профинтерн». Пароход, работающий на средиземноморской линии. Значит, экипаж его идеологически надёжен. В угаре удачи Давид появился в Арбузной гавани только вечером. Дверь каюты заперта изнутри. Герцог понял, что Парчелли хлопчет где-то по судну, а Петров-Голицин списался на берег или уничтожает остатки «Спирттреста», и оказался прав. На условный стук открыл второй штурман. Хотя на столе стоит пустая бутылка, Павел Александрович по обыкновению хмур и трезв.

– Что это вы поздненько, товарищ штурман?

Такого приёма Давид не ожидал, да и Петров-Голицин никогда не позволял себе ничего подобного. Что-то неуловимо изменилось в каюте.

– Где Эдуард Викторович?

Второй помощник полез в рундук, достал оттуда золотой «Лонжин» с цепочкой. Бросил на стол.

– Вам.

– Где Эдуард Викторович?

Предчувствие чего-то нехорошего заохлодило душу.

– Забрали.

Герцог значение этого слова, сказанного таким тоном, уже отлично знает. Опустился на заправленную койку, чего ранее никогда не делал.

– Кто?

Вопрос был праздный, как сказал бы Петров-Голицин, поэтому Павел Александрович длинно посмотрел на Давида.

– НКВД.

Беспартийный морспец Парчелли Эдуард Викторович, пятидесяти двух лет от роду, имеющий происходить из дворян Таврической губернии, вдовец, бездетный, старший штурман парусно-моторной шхуны «Депутат», беспартийный. Оказался правым ревизионистом левоцентристского уклона, троцкистом, агентом мусаватистов, резидентом бразильской разведки, контрреволюционером, готовящим покушение на товарища Сталина.

– Почему он часы не оставил вам?

– Смысл? Я следующий на очереди. Кому я их передам?

– Вы уверены?

– Святая наивность. В конце концов настругают штурманов. Количество когда-нибудь перейдёт в качество, и чуждый классовый элемент спишут за ненадобность. Со всех видов довольствия. Кабы мичман, командир башни крейсера «Корнилов», не подхватил дизентерию, не попал обосранный, простите великодушно, в морской лазарет, то ушёл бы с семьёй на транспорте «Великий князь Константин» в Истамбул и далее на Бизерду. И не имел бы счастья быть вашим соплавателем.

– У вас коньяку нет? Дайте выпить, – попросил Давид.

Петров-Голицин ошибался довольно сильно. Его назначили старпомом. На две освободившиеся вакансии прислали свеженьких курсовиков. Теперь обучение на курсах растянулось на три недели. Однако учили на них по-прежнему и прежнему. Кто-то должен был командовать судном.

У товарища Убийконя имелось две, но пламенные страсти. Читка газет «Правда», «Известия», «Моряк» и маузер. Пистолет висел в большой деревянной кобуре на гвозде, вбитом в переборку каюты. После завтрака и визита на мостик с узнаванием «кудой плывём», капитан спускался в каюту читать газеты. Когда газета прочитывалась, она расстилалась на столе, и наступал черёд маузера. Он разбирался, смазывался, собирался, проверялся. После чего прорабатывалась следующая газета, и снова разбирался и собирался пистолет. Таким образом, маузер чистился по пять-семь раз на дню. Эта операция проливалась баль-

зам на суровую морскую душу большевика Убийконя. В этом творческом действии достиг гениальной виртуозности. Мог собирать, разбирать и смазывать с открытыми глазами, вслепую, стоя, лёжа на рее, сидя в гальюне в сильный шторм при спущенных галифе.

В экипаже шхуны сложилась сложная обстановка. Никифор Богданович воспользовался тем, что классовое происхождение в командирской части экипажа «Депутата» сложилась в пользу гегемона, и решил поприжать единственную контру на борту — старпома. Он понимал, что без морсепца далеко не уплывёшь, или уплывёшь так далеко, где нет географии. Поэтому всё делал хитро. Саботировал данной ему властью практически все распоряжения старшего штурмана. Тем более, курсовики пришли грамотные. Они знают страшно умное слово «бакштов» и за обедом в кают-компании не лезут пальцами в борщ, дабы достать кусочек мяса. Совсем наоборот. Схлёбывают юшку. Из пустой тарелки пальцами берут кусочек мяса, кладут его на ложку и с неё отправляют в рот.

Павел Александрович чувствовал, в какую сторону развиваются события, но службу продолжал нести чётко. Море есть море, но готов в любое время к любому финалу. Без крайней нужды с заведующим шхуной не общался. Так, зайдя к Убийконю по какому-то вопросу, вертел в пальцах маленький чёрный болтик, подобранный на палубе. Беседы не получилось. Уходя, Петров-Голицин в сердцах положил болтик на уже промасленную газету. Никифор Богданович этого не заметил. Во время разговора с контрой вслепую собирал пистолет, глядя в иллюминатор на крепкий рассол волны за бортом. Старпом хлопнул дверью, капитан щёлкнул затвором, спустил «собачку». Всё было, как всегда, идеально. Тут-то заметил на газете маленький чёрный болтик. С четверть часа переводил взгляд с пистолета на болтик и назад. Потом попробовал пристроить болтик к разным частям маузера. Никуда не подходит, а из дула вываливается.

Никифор Богданович медленно разобрал оружие. В том же темпе собрал. Болтик остался не при деле. Мир директора «Депутата» рушился. Убийконь встал, закрыл дверь каюты на ключ. К ужину не вышел, к чаю не появился. Это вызвало некий интерес у кают-компании. Когда же поутру после гальюна Никифор Богданович не появился на мостике с традиционным «Кудой плывём?»,

у части экипажа началось лёгкое волнение, перешедшее к обеду в тяжёлый хипес. Старпом приказал взломать дверь капитанской каюты. Взорам желающих предстал товарищ Убийконь — буре-вестник морской революции. С перекошенным лицом и горящим взором, весь в поту, лихорадочно разбирал и собирал маузер. Ни на какие внешние раздражители урождённый комбедовец не реагировал. А на газете лежал маленький чёрный болтик.

В Керчи вызвали карету скорой помощи. Когда санитары вывели заведующего парусно-моторной шхуной «Депутат» на земную твердь, он горько рыдал. Телеграфно сообщили в пароходство о пробоине в экипаже. Можно было снести по радио. Радиостанция на борту есть. Работает с завидным постоянством. То не передаёт из-за расстояний, то не принимает по той же причине. Вечером телеграф настучал ответ. Капитаном парусно-моторной шхуны «Депутат» назначается Петров-Голицин П. А. Из Одессы высылается поездом новый старпом. Получайте.

В январе 1942 года транспорт Черноморского флота «Депутат» под командованием старшего лейтенанта Петрова-Голицина взял груз артиллерийских снарядов и противопехотных мин. Снялся из Темрюка на Феодосию. Шли ночью, прижимаясь в тень берега. С рассветом были в Феодосийском заливе. До причала оставалось четыре кабельтова, когда начался авиационный налёт на город. Петров-Голицин решил переждать налёт мористее, лёг на новый галс, но на шхуну свалился неведь откуда взявшийся «мессершмитт». Немец работал грамотно. Заходит со стороны солнца по оси корпуса. Шхуна на переменных галсах пыталась уклоняться от крупнокалиберных пуль и снарядов. Слишком не равны силы у молодого авиационного двигателя и старой, пробитой парусины с керосиновым мотором. На четвёртом заходе снаряд угодил в палубный груз. Над морем взметнулся столб пламени и воды, сопровождаемый гулом сильного взрыва...

17.00. Ужин. Зять влетел в пинат-охель с всклокоченными волосёнками вокруг аккуратной лысинки на макушке, расширенными зрачками глаз, смотрящими в одну точку. Дочкиного самца обуре-вает очередная гениальная идея.

— Давид Львович, я могу с вами поговорить, как мужчина с женщиной?

— Излагай, только быстро.

– Почему?

– После ужина я ухожу.

Коля резко повернулся на пятках, насколько позволяли домашние тапочки, и кинулся в спальню. Из-за закрытой двери донёсся двухголосный народный гнев. Лейтмотив обычный и постоянный. Про жадного старика, его деньги и жизнь в Израиле. Герцогу безразличны мысли зятя о себе. Гораздо важнее, что думает он о зяте. К сожалению, думать нечего. Помыл посуду, отправился в бильярдный клуб. Раньше заходил в русские книжные магазины. Теперь там делать нечего. Два часа играл. Остался в плюсе.

20.00. Чай. Потом смотрел телевизор. У него маленький «Шарп» Зять поскрёбся и вошёл, когда Герцог следил за развитием событий в лёгком детективе по немецкой программе. Язык он знает так себе, но достаточно, чтобы понять суть происходящего.

– Хотите абрикосов, Давид Львович?

– Спасибо, нет.

– Раньше вы относились к ним доброжелательно.

– Я и сейчас желаю им всяческого процветания и счастья в личной жизни.

Николай выпалил:

– Я приглашаю вас в шутафут!

– Согласен, когда пойдём? Это далеко?

Зять вышел из себя, что совсем не трудно.

– Я, я!.. Я устал от вас! С вами невозможно разговаривать! – страстно закричал он и начал поедать абрикосы, принесённые в дар, к которым относился доброжелательно.

– Надо ли? – поинтересовался старик.

Пришёл из армии внук. Герцог не может понять, как можно защищать родину, когда солдат почти каждый день ночует дома, притаскивая с собой оружие.

Парень быстро поел под аккомпанемент недовольства своей матери, пришёл в комнату к Давиду Львовичу, удобно устроился на диване. Сызмала тянется к деду, чувствуя в нём крепкое мужское начало.

– Дед, давай общаться, а то мне скоро на свиданку бежать.

– Давай, – грустно улыбнулся старик, – потому что я тоже бегу, только в обратную сторону. Времени для общения остаётся всё меньше и меньше.

Внук рассказывал, дед откровенно реагировал, возможно, не-впопад. Думал, что ради таких минут стоит коптить небо, сидя про-ржавевшей декой на песчаной банке в стороне от фарватера жизни. Герцог встал, вынул из шкафа портфель-дипломат. Оттуда достал золотые часы с цепочкой.

– На, твои.

– Дед, зачем?! – удивился солдат. – У меня в пелефоне и на руке, в компьютере... Всюду часы.

Давид Львович, не торопясь, завёл часы. Приложил к уху.

– Идут. Швейцарские. Фирма «Лонжин». Я не часы отдаю тебе. Тут золота в корпусе и крышках — на авианосец хватит. Это твой НЗ. Ни в коем случае не продавай их. Из каждого безвыходного положения есть выход. Хуже, лучше, но есть. Можешь реализовать их только за секунду до падения занавеса. Они спасут тебе жизнь... Или тем, кого любишь.

Парень очень внимательно посмотрел на часы. Аккуратно сунул в карман.

– Ладно, дед, побежал. Хавера ждёт. Бай!

– Бай! А ты в мою породу пошёл, слава Богу!

– Куда мы денемся!

– Беги!

22.30. Герцог лёг спать. За окном шумели автомобили, на автостоянке сработала противоугонная сигнализация, соседи ругались на иврите. Он подумал, что ничего в этот день не приключилось. Обычный день обычного израильского гражданина без знания иврита, живущего на пособие по старости от «Битуах Леуми».

15.10.2000 в 23.57 по израильскому времени сердце Герцога Давида Львовича остановилось. Умер во сне. Не причинил никому неудобств, связанных с уходом за смертельно больным человеком. Всё прошло тихо, спокойно, незаметно. Как сказал бы сам старый моряк, – самостоятельно.

Сергей Четвертков

КВАРТИРКА

В окно вагона казалось, что скорый поезд пробирается из Москвы в Одессу бесконечными пустынными полями.

Гриша открыл глаза оттого, что мощный прожектор встречного поезда прошелся росчерком по лицу. Гудок. Встречный поезд удвоил общий перестук колес. Гриша перевернулся на спину, откашлялся, прищурился на экран телефона. Пять утра. Через три часа – Одесса. На экране уже появилось название местной сети, роуминг. Черт с ним со сном, Одесса скоро, там отоспимся с комфортом.

Гриша рывком поднял штору. За окном – темно. Пять утра. Ноябрь. Даже полустанки не светятся. Спят они там, на полустанках, точно спят. От мысли о том, что все вокруг сейчас мирно спят, стало уютно и тепло. Гриша прижался лбом к стеклу. Ничего не видно, но все угадывается. Как в театре теней или на рисунке после пролитой на него воды. А настроение – вверх. Потому что угадывается: нет снега в этой тьме. В той, московской, подсвеченной безжалостными огнями снег был, а в этой – нет. Как не порадоваться?

Завибрировал телефон. Кто это в пять утра?

– Алё! Алё, вы тут? Алё! Меня слышно? – Женский голос звучал требовательно.

– Да, я тут. Это Таня? – Гриша ответил негромко, чтобы не будить пассажиров в соседнем купе.

– Это Таня. Вы квартиру бронировали? На Польской? На две недели?

– Я.

– Во сколько вы приезжаете?

– В восемь утра, как договаривались.

– Не успеваем!

– Как так? Мы же договаривались, я три раза повторил: буду в восемь утра...Вы согласились.

– Не успеваем.

– Что не успеваете?

– Ковер перестелить.

– Какой ковер? Зачем? Я смотрел фотографии, меня все устраивает.

– Да там...Такое...Не знаю...В общем, надо ковер перестелить.

– Не надо, я просто хочу заселиться и выспаться.

– Не получится без ковра...Там хозяина убили. Случайно убили, вы не подумайте, что из-за квартиры. Он ювелир был, думали, ценности в доме. В общем, ковер надо перестелить. Мы не успеваем.

– Кого убили? Как убили? Что вы такое говорите?

– Да, к нему пришли спросить, где ценности. А он чего-то полез...Ну, его толкнули, он упал. В общем, неудачно поговорили.

– Так... – Сон слетел, будто не было. – Я не пойду в эту квартиру. Замените мне...

– Чем я вам заменю? У меня брони везде.

– Что значит брони? Я бронировал на сегодня! Я! А вы меня...

– Гриша хотел сказать «подводите», но на язык само выпало «кидаете».

– Так, молодой человек! Успокойтесь! Что вы мне с утра ха-мите?

– Я? Это вы мне должны квартиру, мы договаривались! – Он уже не думал о пассажирах в соседнем купе. – Вы за три часа звоните мне, говорите, что в квартире кого-то убили!

– Ну да, убили. Что я поделаю? Это жизнь. Подождите, мы пересте...

– Так дайте мне другую квартиру! У вас есть понятие о сервисе?

– Знаете что...Вы успокойтесь сначала, а потом мне перезвоните! Других квартир у меня сейчас нет. С завтрашнего дня освобождается одна на Собо...

Гриша нажал кнопку сброс. Давление подскочило. Еще секунда и он насоветовал бы маклерше Тане пикантных маршрутов на ближайшие сорок лет путешествий.

Несколько секунд Гриша молча ругался под стук колес. Не от того, что потерял что-то безвозвратно, большой беды в том, что отпала заранее забронированная квартира, не было. Но Гриша был из тех, кто привык контролировать ход своей повседневности и очень расстраивался, когда реальность выбивалась из планов и календарей. Он всегда заранее договаривался со всеми обо всем. Он никогда не подводил окружающих и ненавидел, когда подводят его. Если кто-то так поступал – из-за своего характера или от обстоятельств – Гриша немедленно прекращал общение с этим человеком.

Вспомнив о принципах, он попытался удалить в телефоне номер «Одесса. Маклер Татьяна». Как назло, телефон завис, сеть пропала, зато за окном замелькали редкие огни полустанка. Чего им не спится в эту рань?

Гриша помешал в граненом стакане давно остывший чай. Ничего страшного, конечно, не произошло. Если не обращать внимание на чувство брезгливого отвращения, которое вызвал этот разговор, то проблем нет. Снять квартиру в Одессе в конце ноября так же просто, как летом познакомиться с красивой девушкой в Аркадии. В конце ноября! Почти зимой. Во все времена снять квартиру в Одессе в ноябре было великим одолжением квартирным хозяевам. А барыги так просто несли тебя на руках в жилище, от которого им перепали скромные комиссионные.

Гриша снова зашел в меню телефона, поискал среди номеров одесские контакты. В Одессе каждый второй занимается сдачей жилья приезжим. Градообразующий бизнес. Главное, не попасть на таких моромоев, как эта Татьяна. Откуда они вообще берутся? Голос резкий, грубый, тон такой, будто подает милостыню, да еще – через силу, нехотя, делая великое одолжение. Сок, вокзал, село. При всей любви к городу, по количеству жалоб на квадратный метр Одесса стремится в абсолютные рекордсмены.

Вот, номер маклера, вот – еще один, а этот – «Одесса. Андрей Вениамин. Риш.» – хозяин квартиры на Ришельевской, Гриша жил там два года назад. Не посредник, действительный хозяин вполне благополучного жилья.

Не то, что эта Татьяна. Явно барыжит, накручивает проценты, да и ладно бы, пусть бы накручивала, но – нарушать договорен-

ности? А главное – омерзительный тон. Вроде, я вас подвела, а вы еще поблагодарите меня за это, еще будьте мне за это должны, все остальное с вашей стороны считаю неприкрытой грубостью. Гриша бросил телефон на подушку и отпил холодного чая.

* * *

Андрея Вениаминовича набирал уже из Макдональдса рядом с вокзалом. Горячий кофе и ласковый одесский воздух, быстро вернули расположение духа.

– Андрей Вениаминович, не разбудил? Это Гриша, помните, пару лет назад снимал у вас квартирку. Не помните? Я еще большую плазму просил. Еще ругался, что уборку плохо делали... За качество боролся. Не помните? Да, неважно. Как у вас сейчас с вариантами? За сколько сдаете? Сколько?! – Гриша поперхнулся кофе. – Вы на улице давно были? Конец ноября на дворе, не август, осмелюсь напомнить.

– Вот именно – не август. Все посдавали квартиры надолго, до лета. А шо вы хотите? Понаехали иностранцы и снимают сразу на полгода. Шо им мелочиться?

– Какие иностранцы? Что вы голову морочите? Зима на носу, холодно, несезон в Одессе. А в стране – кризис, депрессия, туман...

– Вот иностранцы и едут, шоб в кризис получить все задешево в нашем тумане...

– Где задешево? Это задешево, по-вашему? Вы мне восемьсот гривен в сутки за однушку ломите?

– Для иностранцев это – задешево. А если вам шо-то не нравится, то идите поищите в другом месте, где подешевле.

– Как вы разговариваете с клиентом?

– Вы не клиент, я вас вспомнил, вы тот самый поц, который обозвал уборщицу Раечку косорукой. Вы – жлоб и не надо спорить. Восемьсот гривен в сутки для него дорого! Вы мне вообще неинтересны.

– Ах ты, долбо...

Но Андрей Вениаминович оказался проворнее. В трубке раздалась частые гудки.

Кофе остыл, Макдональдс наполнился людьми, существование с каждой минутой теряло комфортность.

Гриша открыл сайт с объявлениями о сдаче квартир посуточно. Раздражение отполировало утреннюю усталость. Но волнения по-прежнему не было. Проблема с квартирой в Одессе? Да еще в конце ноября? Немыслимо. Во все времена в этом городе, где сдача квартир внаем туристам кормила половину его жителей, считалось великой удачей для хозяина найти нормального клиента в конце ноября. Ну, кто ездит в Одессу в конце ноября? Командировочные по делам, отпетые романтики, секс-туристы из Турции, да вот такой странный тип, как Гриша. Собиратель человеческих характеров, охотник за раритетными персонажами и странными историями.

Уже пятый год Гриша приезжал в Одессу, чтобы встречаться со стариками, которым есть что вспомнить. Бывший контрабандист с висячими бровями, парализованный милиционер, который начинал еще в «жуковскую ликвидацию», трубач, проплававший на круизных лайнерах пятьдесят лет, торговка с Привоза с шестидесятилетним стажем. С ними встречался Гриша, расспрашивал, записывал на диктофон осевшие голоса, сквозь старческий кашель, сквозь осадок времени из легких выкладывавшие ему крупицу за крупицей – чужие жизни. Зачем он это делал? Своим собеседникам он на этот вопрос отвечал, что – писатель, что ищет сюжеты, что собирает материал для книги. От наводящих вопросов отбивался нехитрыми выдумками: дескать, детектив с любовной линией хасидки, сбежавшей из семьи, и алжирского пирата. Конечно, такая парочка могла встретиться только в Одессе.

Старики общались с ним охотно, к большинству из них давно никто не прислушивался, не ворошил линялое тряпье их молодости. А поговорить им хотелось. И вспомнить, и приврать, и задним числом свести с кем-то счеты, восстановить справедливость или – просто переписать набело то, что не удалось прожить.

Гриша всегда угощал рассказчиков сытным обедом, наливал столько рюмок, сколько рассказчик желал выпить, на все вопросы об оплате счета согласно кивал, улыбаясь. Говорил, что это – часть отпущенного издательством бюджета на сбор фактуры.

Никакого издательства, конечно, не было. Свои интервью Гриша брал для того, чтобы прикоснуться через разговор ко вре-

мени, когда индивидуализм и героизм были обыденностью, а порядочность – нормой. Ну, и чтобы хоть как-то для себя оправдать зачем он приезжает в этот странный город, в котором ему почему-то так легко и комфортно. Стеснялся признаться себе, что приезжает сюда подышать немного, порадоваться жизни.

Денег у Гриши было немного, собирался в одесские командировки он всегда «на свои» и всегда – поздней осенью, зимой или ранней весной. Когда в городе не было бесцельных туристов, толкотни на улицах, суетного говора. Когда по улицам гулял ветер, разнося запахи. Когда квартиры падали в цене и будто сами напрашивались: ну, сделай одолжение, сумасшедший, приезжий! Приперся в ноябре? Сними нас хоть на выходные!

В этот приезд Гриша договорился о встречах с бывшим военным прокурором Крыма и с генералом МВД в отставке, лично «бравшем» маньяка Чикатило. Осталось только поселиться.

– Ну, вот и я, встречай, Одесса! – Гриша засучил рукава и вскинул телефон наизготовку. – Какие будут предложения?

Для начала осмотрел варианты в любимом центральном квартале: Бунина – Ланжероновская – вице-адмирала Жукова – Пушкинская. Удивился. Предложений было немного, а красивых – наперечет. Первый звонок и сразу – отрезвляющий душ.

– Ну, што ви хочете? – скрипучий голос пожилой женщины выражал удивление того типа, что для некоторых – посильнее презрения. – Ну, я же не автомат вам повторять, ну, все сдано до лета. Ну, имейте терпение!

– Как так? У вас объявление свежее...

– Ну, не путайте буквы с рыбой. Это впрок. А вдруг кто-то такой же нетерпеливый, как ви, позвонит и захочет забронировать на лето.

– Вы думаете, что говорите? – Оставаться вежливым не было сил. – Какое лето? Еще только конец ноября!

– Я всегда думаю, мне в отличие от вас есть чем. А ви звоните, когда решите с датами на лето.

Гриша выругался под гудки из трубки. Набрал следующий номер. Тот разместился под фотографиями импозантной студии с изразцовым камином в углу, новой мебелью и небольшим балкончиком по фасаду – автографом итальянца, принимавшего заказы еще от министров Александра Второго.

– Сколько вас будет жить? – Мужчина на том конце был деловит и оттого, казался неприветливым. Но его деловитость, которая раньше бы оттолкнула, сейчас обнадежила.

– Один. Чистоплотный мужчина, люблю тишину и покой.

– На сколько вам?

Гриша позволил секундную паузу и – выдал коронный хук:

– Недели на две. Потом, возможно, продлю... – Раньше на этих словах Гриша прямо в трубке чувствовал, как замирало сердце домовладельца. И как затем ускорялось до галопа и весь он на том конце трубки вытягивался, а в голосе сочился мед, и он был готов – Гриша чувствовал это – готов раскрыть сердце, душу, тайные мысли для такого заманчивого клиента. Но, в этот раз, в голосе домовладельца ничего не изменилось.

– Это вряд ли.

– В смысле?

– В смысле – вряд ли получится.

– Почему? – Обескураженно выдохнул Гриша.

– У меня квартира освобождается послезавтра на три дня, потом бронь на четыре, потом – еще два дня свободна, потом – на неделю занята.

– Так освободите, перенесите брони. Вы меня услышали? Я на две недели беру, а потом продлю. Возможно, месяц проживу. Месяц посуточно!

– Не имеет значения. – Легкий вздох, первая эмоция за весь разговор. – У меня брони через букинг-ком, я не могу отказаться, назначат штрафы, мне невыгодно.

– Простите, это – Одесса? Я не ошибся городом?

– Да, все меняется.

Еще пять звонков хозяевам квартир в центральном квадрате не привели к желаемому результату. Гриша, как мантру, выдавал затверженный текст:

– Квартирки у вас? Мне нужна небольшая, но очень красивая квартирка в центре. На одного. Со свежим ремонтом, лучше – дизайнерским. С хорошей, интересной мебелью, с балкончиком. Чтобы вдохновляла. Небольшую можно. Но, чтобы – игрушечка. Порадоваться жизни. Подышать.

Предложили Маразлиевскую. Но внутри темно, обои черные, освещения – чуть. Темный парк Шевченко, свежий воздух конечно, но – гопники. И – темно.

Вот появилась Ришельевская, но – угол с Большой Арнаутской, от центра далеко, от вокзала близко, вокзальный район, ни ресторанов приличных, ни кафе рядом... Дом – черная сталинка и – вокзал, вокзалом пахнет, некошерно.

Усталость морила, сказывался недосып в дороге, вагонная болтанка, железнодорожная вода. Гриша сдался. С двумя сумками, он добрел до средней руки отеля на Пантелеймоновской и снял номер за шестьсот гривен. Средний номер в среднем отеле.

Принял душ и сразу же залез под одеяло. Сон пришел мгновенно, но постоянно прерывался. В отеле шла непримиримая борьба против любых секретов постояльцев друг от друга, борьба с приватностью. Гриша слышал шаги по коридору, легкую перебранку горничных, смех девушек, которых веселые постояльцы вели в номера, стоны тех же девушек – отовсюду. Любой звук, раздававшийся в отеле, казалось исходил из собственной прихожей. Шестьсот гривен. И белье несвежее.

* * *

Кое-как выспавшись, Гриша первым делом раскрыл ноутбук и принялся относительно свежим взглядом просматривать варианты квартир. Что ж, если чудесные варианты в центральном квадрате, с балконами и каминами разбиты бронями с букинг-ком и эйр-би-энд-би, возможно, стоит на время понизить планку. Пожить неделю в квартирке попроще, а там, не торопясь, подобрать идеальную, запрячь маклера, пусть заработает свои проценты, главное – найти свою квартирку. Отступить, чтобы выиграть битву.

Гриша листал страницы сайта, удаляясь от центра, снижая запросы. Вот, промелькнуло знакомое фото. Под призывной надписью: «отмененный вариант для романтического уикенда» – фото спальни, в которой Гриша пару лет назад неплохо отдыхал после общения с разговорчивыми собеседниками. И номер телефона – тот же. Ангелина. Вроде, общались приязненно, расставались, довольные друг другом.

– Ангелина, как поживаете? Это Гриша, помните, жил у вас пару лет назад? Писатель...

– А-а-а, помню вас, рада слышать.
– Я в Одессе, как ваша квартира?
– Квартирка стоит, ждет вас. – Ангелина улыбалась в трубку, как же приятно было, после всех прохладных разговоров, наконец-то почувствовать забытую уже одесскую теплоту.
– Я на неделю для начала...
– Прекрасно. Семьсот гривен в сутки будет.
– Сколько? – Гриша не смог скрыть возмущения.
– Это только для вас. Вообще, за восемьсот пятьдесят сдаю.
– Побойтесь бога! Откуда такое? Я же за триста у вас снимал...
– Ну-у-у, когда это было...
– Полгода назад!
– У нас тарифы с первого декабря повысят. Газ, свет, вода...
– Я в отеле сейчас за шестьсот живу...
– Им легче. Они за все номера оптом платят. А мы теперь все – заложники у правительства. Теперь вам, туристам, придется на карман нашим коррупционерам работать. А к лету, говорят, тарифы еще поднимут. Тогда только туристы и будут снимать...
Все это Ангелина говорила, не переставая улыбаться в трубку. От этого лицо ее представлялось Грише блюдцем с размазанным по нему вареньем. Но аппетита картина не вызывала.

Следующие три дня он искал квартиру в режиме непрерывной, напряженной работы. Проснувшись, выходил из шумного отеля, садился в кафе, открывал ноутбук и звонил, звонил, звонил. До вечера. Запланированную встречу с генералом МВД в отставке перенес, сославшись на нездоровье. Внешне приличных и подходящих географически вариантов появлялось не больше пяти на день. И – начинались переговоры. Изнурительные, вытягивающие жилы и мозговое вещество переговоры, одного раунда которых хватило бы, чтобы выбить у мэрии подряд на перестройку всего центра города.

– Я по поводу двушки на Пушкинской-угол-Троицкой. Какой там у вас этаж?
– Этаж второй, балкон во двор, но...
– Что?
– На балкон нельзя выходить...
– Почему?

– А вы не в курсе? Там многоэтажку, новострой лепят впритык. Наш дом уже трещиной пошел! У нас на доме баннер во весь фасад: «Гефест разрушает наш дом!»

– Гефест?

– Ну или Каддор, черт их разберет, третий год специально доводят в центре дома до разрушения, а на их месте свои высоты лепят.

Тем же вечером Гриша специально прогулялся на Пушкинскую-угол-Троицкой. За оголившимися платанами виднелся рекламный бигборд строительной компании. «Радуйтесь жизни в новой квартире! Каддор – бизнес с божьей помощью».

На следующий день он пил кофе и снова звонил.

– Алло! У вас на Греческой все в порядке?

– А что там может быть не в порядке?

– Балкон целый?

– А почему ему не быть целым?

– Я хочу снять на две недели, договоримся?

– А почему же двум приличным людям не договориться?

– Тогда, я приду посмотреть. Когда можно?

– А когда вы хотите?

– Да, я уже здесь... Можно сегодня?

– А почему нельзя? Приходите. Там найти легко, от угла увидите, дыра рядом с парадной, это – к нам.

– Дыра?

– А что вы хотели увидеть? Водокачку?

– Почему дыра?

– А что бывает, когда делают взрыв?

– У вас был взрыв?

– Вы что, не читаете новости? Даже за прошлый год?

В прошлом и в позапрошлом годах в Одессе гремели взрывы. Обычно это случалось рядом с жилыми домами, в которых первые этажи занимали государственные учреждения. Однажды целенаправленно взорвали вход в ресторан «У Ангеловых». Слава Богу, никто не пострадал. Говорили, что взрывают для какой-то раскачки каких-то революционных или контрреволюционных масс. Что это означало, Гриша так и не понял. То ли сторонники принудительной украинизации хотели убедить горожан, что сепарати-

сты опасны и действенны, то ли – наоборот. После того, как взорвали фугас у здания СБУ, «пиаровские взрывы», как их прозвали одесситы, на время прекратились.

* * *

– Здравствуйте! Вы квартиру сдаете?

– Конечно! А вы кто?

– В смысле? Человек...

– У вас говор российский. Вы из России?

– Ну...а это важно?

– Да нет, вы не подумайте, я нормально к россиянам отношусь, просто интересно, зачем вы приехали в Одессу в несезон? Ноябрь...

– Да, просто приехал, жизни порадоваться.

– Порадоваться?

– А чем еще заниматься в Одессе? Здесь же все жизнерадостные, с юмором. Вот и я приехал, сдайте мне квартирку, пожить, жизни порадоваться...

– Станный вы, честное слово, подозрительный...Кто ж в ноябре в Одессе жизни радуется?

– Оптимисты. У вас есть для меня вариант? Только, пожалуйста, очень уютный. На одного, пусть будет небольшая квартирка, но – теплая, приятная. Игрушечка. Я – писатель, мне вдохновение нужно...Ну, и – жизни порадоваться.

– Конечно-конечно! Мы писателей любим. Знаете, у нас жил писатель, такой приятный человек, такой милый был, почти не выходил из дома, еду заказывал домой, каждую неделю коробки из-под пиццы выносили стопками, а еще девки к нему ездили каждую ночь, по двое, и по трое иногда, но – тихо было, соседи не жаловались, а мы подумали, ему, наверное, для вдохновения девки, а то как-то слишком тихо у него с ними, ну мы все понимаем, мы люди современные, а потом – он же в Одессу приехал, как же тут без...

– Извините, что перебиваю, но мне бы квартирку, красивую, с ремонтом...

– Конечно-конечно, приезжайте хоть сейчас смотреть. Будем очень рады писателю. Мы писателей любим, а вы про что писатель? Не про политику же, наверное, нет? А то у нас вся лестница

в парадной зеленкой залита, правый сектор, ну – как правый? Правый-левый, кто их сейчас разберет... Мальчишки, шпана, облили зеленкой соседа будущего вашего, про него тут все говорят – сепаратист, он в фисбуке у себя пишет, чтобы русский язык сделали государственным и фильмы на русском показывали, зачем ему – непонятно, все про это и так знают, все на русском говорят и фильмы на русском в интернете смотрят, а он зачем-то выступает об этом громко, так его зеленкой облили, когда по лестнице спускался, жалко лестницу, белый мрамор был итальянский, а теперь вся – в зеленке, но вы не переживайте, это – мальчишки, хулиганье, им кто-то по двести гривен дал, они и облили, а так – у нас все спокойно, вообще двор тихий у нас и писателей мы любим, милости просим, так когда вы...

– Спасибо, я в следующий раз, наверное.

На пятый день жизни в среднем отеле, непримиримо противостоящем любой приватности, Гриша перестал пить кофе по утрам. Вместо утренней чашки, глядя на слякотный ноябрьский город, он думал: чего я здесь делаю? Дался мне этот бывший военный прокурор Крыма? И бывший генерал МВД подождет, ему 75 всего! Надо валить отсюда, из темных переулков, заваленных раскрошившимся ракушняком, от ветренных площадей с вырытыми кем-то и забытыми до весны трамвайными рельсами. Прочь отсюда, в залитый праздничными огнями Киев или еще дальше – в Москву, где – хруст снега, денег и беспощадные огни, стирающие грань между днем и ночью. Туда, в комфорт. А здесь – унылые серые улицы, застрявшие между осенью и весной, между веселым прошлым и неясным будущим. Здесь падающие балконы и измученные бытом домовладельцы. И – никакой надежды на домашний уют или хотя бы на приватность.

Гриша попытался позвонить владельцам апартаментов в Киеве, проткнуть почву, но, оказалось, ему заблокировали сим-карту. В справочной сказали, что это – правила компании Vodafone, сменившей на рынке сотовой связи агрессивно-маркетинговый МТС. Если с его номера исходило множество вызовов на разные, неповторяющиеся номера, значит, его подозревали в автоматических рекламных рассылках.

Гриша швырнул телефон на кровать и – безоружный – отправился в бар. Там его напоила текилой очень взрослая женщина с круглыми глазами, каждую секунду готовыми заплакать.

– Что ж это такое? Разве ж это Одесса? – Жаловался Гриша женщине, которая кивала головой в такт каждому его слову. – Вот приехал зимой жизни порадоваться. Неужели ж во всей Одессе не найдется красивой квартирki, чтоб отлежаться, привести себя в порядок, подышать влажным воздухом с полезными солями?

– Да, что ты, – отвечала усталая побутильница, – мою мать посадили в тюрьму за то, что выращивала марихуану на огороде. Дали 3,5 года. А у меня самой – больной ребенок и за квартиру два месяца не плочено. Скоро выселят. А клиентов мало. Поживи у меня?

Из бара он бежал, нетрезво петляя по темным улицам. Кошки шарахались от него, уличные девки отказывались брать его деньги и даже нищие попрошайки не рисковали протягивать к нему свои костлявые руки.

На следующее утро он отыскал телефон под кроватью, проверил сигнал – симку включили. Дрожащими с похмелья пальцами Гриша отыскал в записной книжке так и не удаленный номер «Одесса. Маклер Татьяна», сделал вызов.

– Татьяна, это Гри...

– Да, здравствуйте, узнала вас! – Голос Татьяны звучал так приветливо, будто и не было утренней размолвки шесть дней назад, будто он все эти шесть дней дарил ей цветы и сладкую сдобу. – Рада вас слышать! Нашли что-то?

– Нет...

– Вот и хорошо! А мы ковер перестелили. Теперь – хороший ковер, чистый, с упругим ворсом. Вы любите зеленый цвет?

– А ювелир...на ковре...в гостиной? Или – в спальне?

– Да, не волнуйтесь вы так за ювелира, его вообще на лестничной площадке убили. Когда хотите заехать?

– Сегодня...

– На сколько?

– Недели на две, для начала. Потом продлюсь, может быть...

Даниэль КЛУГЕР

**БУХАРЕСТ,
ФОТОСТУДИЯ ДАВИДА ФРИДМАНА**

Когда Саша Рабинович был маленьким, его чуть не растоптал слон.

Вернее, слониха.

Не в джунглях.

В европейском, очень красивом и аккуратном городе на Буковине. Город этот когда-то имел славу «маленькой Вены», его жители гордились тем, что городской театр был точной копией Венского оперного. В театре-копии Саня впервые узнал о Гоголе. Гоголь выходил на сцену перед спектаклем по повести «Вий» и говорил: «Вій – це колосальне створення простинародної уяви!» – и слова эти загорались над ним, на марлевом пологe. В городе имели хождение три языка – русский, украинский и румынский, который тогда предпочитали называть молдавским. Как все городские мальчишки, Саня легко переходил с одного языка на другой, даже не задумываясь над источником собственных лингвистических познаний.

Гоголь был длинноволос и носат, с шелковым бантом на груди. Вий выглядел растолстевшим пугалом с всклокоченными волосами, похожими на мотки медной проволоки.

Гоголь Сане понравился. Вий – нет.

Так вот, о слонах.

Рабиновичу-младшему исполнилось семь лет, и как раз накануне дня рождения в город приехал передвижной зверинец. На афишах он именовался «Зооцирк». Поскольку там были и просто звери в клетках, и ученые звери, которые демонстрировали зрителям всякие удивительные штуки.

Мама решила сделать Сане особенный подарок на день рождения – поход в зверинец-зооцирк. Они и пошли.

С ними увязался дворовый друг нашего героя Фима Брайтерман. Спросите, почему опять сплошные евреи? Откуда я знаю, почему!

Город такой был. Станный город. После войны, после оккупации, – а евреев там было много. Почему так получилось, почему евреев было много? Очень много, несмотря ни на что? О том разговор впереди.

Пока же отметим, что во дворе дома номер тринадцать по улице имени Франца Кафки... что, поверили? В улицу имени Кафки в советском городе? Шутка, конечно. Улица была имени Иоганна Вольфганга Гёте. Тоже, понятное дело, не социалистический реалист, но все-таки. «Фауст», к примеру, лучше которого смог написать только Максим Горький, про девушку и смерть. Вернее, вот так: про Девушку и Смерть.

Так вот, во дворе дома номер восемь (не тринадцать!) по улице Гёте этих многих было много. Очень много. В том числе семейство Рабиновичей и семейство Брайтерманов. В семействе Брайтерманов росли двое сыновей – Фима и Сеня, Фимка и Сенька, причем Сенька был почти ровесником Сани Рабиновича – ну, может, на год старше. А вот Фимка был старше на три года, – и тем не менее дружил Саня именно с ним, с Фимкой, а не с Сеней. Следует, правда, сказать, что в школе Саня как раз пошел в первый класс, а Фимка – во второй. Вторично. До того он так же, с повтором, учился в первом классе. Можно было предположить, что и дальше он будет заканчивать каждый класс со второго захода.

Вообще, Фимкин отец, сапожник Соломон Брайтерман, считал старшего сына, мягко говоря, не очень умным. Во всяком случае, как следует выпив на выходные, он орал: «Дефективный! Мишигинер! Точно твоя мамочка, чтоб она была здорова! Иди сюда, второгонник, получишь ремня! Иди сюда, паршивец, я тебя убью!»

Фимка, при всей дефективности, резонно считал, что идти, чтобы тебя убили, нет никакого смысла. Папаша, в синих семейных трусах по колено, в белой непременно драной майке и с ремнем в руке бегал за Фимкой, а все мальчишки двора азартно участвовали в этой погоне – конечно, на стороне дефективного. Кончалось все тем, что запыхавшийся и вспотевший Соломон воз-

вращался в свой полуподвал – допивать водку, так и не выполнив свирепого обещания. Фимка осторожно выглядывал из-за деревянной будки дворового туалета, после чего с независимым видом отправлялся гулять в парк имени Шиллера, куда родители детям своим строжайше запрещали ходить.

Парк Шиллера иначе назывался резиденцией, потому что некогда там действительно находилась резиденция румынского короля Кароля II. Про короля Саня ничего не знал, поэтому долгое время считал слово «резиденция» синонимом слова «парк».

Ситуация повторялась каждую неделю, накануне выходного. В будни Соломон не пил, а в трезвом состоянии был он человеком тишайшим.

Словом, Эсфирь Рабинович с сыном Сашей и другом его Фимой Брайтерманом в воскресенье пошли в зверинец-зооцирк. Прогулявшись мимо клеток со зверями, полюбовавшись на спящих медведей, тяжело дышащих волков и угрюмых тигров, они вышли в центр обширной огороженной территории, к специальному помосту. На этом помосте дрессировщики показывали, как эти же самые (а может, другие) звери ходили на задних лапах (медведи), прыгали через обручи (тигры), делали стойку...

Стойку как раз делала слониха, которую звали почему-то Брахма. Так значилось в афише. Видимо, ни администрация зверинца, ни дрессировщик понятия не имели о том, что Брахма – бог-мужчина.

Впрочем, это неважно.

Брахма поначалу вела себя как заправская цирковая звезда. Она садилась на огромную тумбу, вертела хоботом обруч, бегала по кругу. Наконец, дрессировщик заставил серую великаншу сделать стойку на передних ногах.

Вот тут-то как раз всё и началось.

Возможно, накануне слониху покормили чем-то несвежим. Возможно, от физических упражнений случился у нее какой-то спазм.

А возможно, она перенервничала из-за обилия публики.

Словом, встав на передние лапы, слониха вдруг вздернула хвост, после чего мощно опорожнила кишечник.

Газовая атака, которую сопровождал выброс нескольких десятков килограммов слоновьего дерьма, гигантской метлой вымела зрителей из импровизированного амфитеатра вокруг помоста.

Пока дрессировщик занимался обделавшейся слонихой, вылетевший неведь откуда директор зверинца самоотверженно кинулся наперерез убегавшей публике. Получалось это плохо. Директор, тощий мужчина, сильно припадал на правую ногу, а деревянная палка, на которую он пытался опираться, как-то сама собой вылетела из руки и улетела в сторону, метра на два.

– Граждане, спокойно! – надрывался он, хватая за руки то одного, то другого зрителя. – Товарищи! Ничего страшного! Слоны питаются исключительно растительной пищей! Всё выветрится исключительно быстро! Сейчас побрызгаем одеколоном! Вонять не будет! Успокойтесь! Будем катать детей на слонихе! Это же какая память на всю жизнь! Они будут детям своим рассказывать! И внукам! И правнукам! И мамам с папами!

И тут Фимка остановился. А с ним остановились и Рабиновичи.

– Что? – спросила Эсфирь Рабинович.

– Покататься! – сверкая глазами, вскричал Фимка. – Бесплатно! На слоне!

Он помчался к дощатому вольеру, в котором как ни в чем не бывало стояла Брахма, а спину ей покрывали какой-то попоной.

Рабинович-мама, вздохнув, последовала за ним. Наверное, она решила, что сын её тоже мечтает прокатиться на слоне.

На самом деле, Сانه вовсе не хотелось кататься. Ему было очень страшно.

Но он промолчал. В детстве Саня Рабинович больше всего боялся, что кто-то может подумать, будто он чего-то боится. Поэтому и совершал время от времени отчаянные поступки. Например, запретные гуляния в резиденции. Там было не интересно. Не на что было смотреть. Но родители запрещали туда ходить, и он туда ходил. А еще вместе с другими пацанами ходил дразнить дворника Дяконеско. О, это было особенное развлечение! Дворник злился, гонялся за хулиганами с метлой, они уворачивались, прятались и орали: «Diaconescu, vrei să bei vodca? Diaconescu, a fugit după mine!»¹ А в ответ раздавался пропитый фальцет: «La dracu ai luat, ticăloșilor!»²

¹ «Дяконеско, хочешь выпить? Дяконеско, побегай за мной!» (рум.)

² «Черт бы вас побрал, ублюдки!» (рум.)

Впрочем, будем честными: это развлечение Сане тоже никогда не нравилось. Он не понимал, за что следовало Дяконеско дразнить и чем он, этот несчастный дворник – маленький и тощий, вечно небритый, – провинился перед пацанами. Поэтому участвовал он в вечной войне с дворником своеобразно: прибегал к окнам дворницкой вместе со всеми, но не кричал, а смотрел. Но когда дворник выбегал, путаясь в не по росту широких серых брюках и сером же то ли пиджаке, то ли френче, Саня улепетывал вместе со всеми. Однажды ему даже досталось по спине метлой.

Фимка протиснулся вперед. Саня оказался вторым. Дрессировщик скомандовал Брахме опуститься на колени, слониха послушно выполнила приказ. Дрессировщик подсадил Фимку, побагровевшего от волнения, следом залез сам. По его приказу Брахма встала с колен и неторопливо пошла прочь от вольера.

Пройдя почти до середины площадки, слониха вдруг развернулась и галопом помчалась назад в вольер. А поскольку зрители (и Рабиновичи в их числе) стояли как раз у вольера, ожидая очереди на катание, то вся это многотонная туша помчалась прямо на них.

Зрители, соответственно, ломанулась прочь быстрее, чем после газовой атаки коварной Брахмы. Мама буквально выдержала Саню за руку так, что, казалось, тот пролетел по воздуху.

Брахма же, влетев в вольер, остановилась как вкопанная. Дрессировщик сполз со слонихи и в изнеможении сел прямо на пол. Фимка сполз следом и сел рядом. От ворот, где мы остановились, выражение лица его не было видно, но казалось оно пятном нежно-голубого цвета под рыжей шевелюрой. Таким же нежно-голубым казалось лицо дрессировщика. Брахма стояла неподвижно, уткнувшись лбом в заднюю стенку вольера и лениво помахивая хвостом. Казалось, она задремала.

Мама велела Сане стоять у ворот и храбро помчалась к вольеру. Вытащив Фимку из вольера, она быстро побежала к воротам, не отпуская уже безвольной руки любителя приключений.

По дороге домой Фимка оправился и порозовел.

Вечером, возбужденно почесывая рыжие вихры, он уже рассказывал восхищенным друзьям о героическом укрощении обосравшегося и потому взбесившегося слона. Добавлялись подробности – про тигра, вырвавшегося из клетки и напугавшего

слонику «так, что она аж обделалась», про потерявшего сознание и свалившегося со спины слонихи дрессировщика, про растоптанного милиционера и спасенного Фимкой младенца – прямо из-под чудовищных ног сошедшего с ума зверя. И, конечно, как Фимка героически встал на пути бегущей слонихи, а слониха упала перед ним на колени...

При этом Фимка переименовал слонику из Брахмы в Броху, поскольку Брохой звали старуху соседку семейства Брайтерман. Фимка с этой соседкой, к тому же – дальней родственницей, время от времени воевал. Поэтому фразу «И вот тут Броха сделала стойку и обосралась!..» – он произнес минимум три раза и с каждым разом все громче.

Саня слушал зачаровано, так же, как все. Ему и в голову не приходило поймать друга на вранье, – потому что Фимка вовсе не врал. Он просто рассказывал «про другое». И рассказывал так захватывающе, так увлеченно и так увлекательно, что слушатели (включая Рабиновича-младшего) верили ему безоговорочно.

В том же 1959 году в давным-давно не функционировавшей Большой хоральной синагоге открыли кинотеатр. Первый в городе широкоформатный, со стереозвуком. Тем самым положив конец попыткам синагогу уничтожить. Событие связано было с сорокалетием октябрьской революции: именно в связи с этой датой синагогальный кинотеатр получил название «Жовтень» («Октябрь»). Правда, открытие состоялось спустя два года после юбилея, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Синагогу, ставшую кинотеатром, снести пытались неоднократно. Её взрывали советские власти в 1940 году, румынские в 1941-м, немецкие в 1943-м. Но она оказалась живучей, как сам еврейский народ. С нее только осыпалась штукатурка, вылетели окна, кое-где – оконные рамы. Но стены стояли, не шелохнувшись.

В конце концов советская власть, придя в город вторично в 1944 году и будучи уже более опытной, отказалась от попытки снести непокорное здание. «Пусть будет кинотеатр!» – решила советская власть.

И было так.

«И пусть называется «Жовтень» («Октябрь») в честь нашей Великой Октябрьской революции!» – решила советская власть.

И было так.

А первым фильмом, который посмотрели в этом кинотеатре Фима Брайтерман и Саня Рабинович, был «Вдали от Родины». По роману Юрия Дольд-Михайлика «И один в поле воин». Роман был едва ли не первым советским бестселлером. А фильм... о, этот фильм! Какие там «Семнадцать мгновений весны»?! Какой Джеймс Бонд, скажете тоже! Барон фон Гольдринг, и только он. Красавец Вадим Медведев играл советского разведчика Гончаренко, скрывавшегося под маской немецкого барона, миллионера-аристократа и стопроцентного арийца. Еще один красавец, Михаил Козаков, играл садиста-эсэсовца Заугеля. Черная форма с серебряными пуговицами и серебряным черепом смотрелась на нем так же жутко и притягательно, как много лет спустя на Тихонове-Штирлице. А красавицу-подпольщицу француженку Монику играла красавица-актриса Зинаида Кириенко.

Садист Заугель, ненастной ночью сев за руль грузовика, убивает Монику, которую любил советский разведчик Гончаренко и которая, в свою очередь, любит ездить на велосипеде (француженка!). Медведев-Гончаренко сурово мстит Казакову-Заугелю. Он выманивает эсэсовскую сволочь за город и пристреливает его как бешеную собаку. А перед тем как пристрелить, гордо признается: «Для точности – не барон, а лейтенант Гончаренко!» Эсэсовец Заугель изумленно смотрит на лже-барона, и тут – бах! бах! Конiec эсэсовцу. Сердца у зрителей и зрительниц замирают в сладкой истоме...

Саня и Фимка смотрели фильм трижды. Будь они постарше, будь они склонны к отвлеченным рассуждениям, возможно, кто-то из них мог бы обратить внимание на высокую иронию ситуации. В самом деле, в стенах старинной синагоги, не поддавшейся ни немцам, ни русским, на экране, висевшем на месте бывшего аронкодеша, целый месяц, изо дня в день, пуля поражает эсэсовца, – доставляя море удовольствия еврейским мальчишкам. И могли бы они увидеть в этом не только высокую иронию, но и высокую справедливость.

Но они были еще мальчишками, не склонными к философским обобщениям. Они просто упивались приключениями благородного героя-разведчика и радовались наказанию зловещего Заугеля в черном мундире с черепами.

Выучили кино наизусть. Но если Рабинович-младший теперь мог запросто и до мельчайших деталей пересказать его родителям и друзьям, его не видевшим (что он и делал неоднократно), то в изложении Брайтермана-среднего фильм куда как далеко отошел от замысла сценаристов. Фимка превратил пересказ фильма в бесконечный головокружительный сериал «Фимка-герой в глубоком тылу врага». Он налепил из пластилина кучу эсэсовцев, сделал им из серебристой фольги пуговицы и плетеные погоны. Этими фигурками – сантиметров по десять каждая – Фимка увлеченно иллюстрировал свои рассказы. Еще он смастерил автомобили из спичечных коробков. Правда, в его интерпретации выходило, что не эсэсовец наехал на подпольщицу (подпольщиц Фимка не лепил), а совсем наоборот, доблестный разведчик Фимка-герой лихо давил на автомобиле ничего не подозревавших эсэсовцев. При этом он то и дело прикладывал один палец к виску, козыряя «по-фашистски» и к месту и не к месту говорил: «Аля-улю, парле франсе, хенде хох!»

После каждого рассказа он восстанавливал своих мягких статистов, – темперамент рассказчика требовал достоверно изображать, как именно герой Фимка разделялся с эсэсовцами. И пластилиновым гадам приходилось плохо. Но поскольку черного пластилина было не так много, то совсем скоро эсэсовцы Фимкиного производства стали куда больше походить на маленьких разноцветных клоунов.

Когда после очередного повествования о подвигах в тылу врага пластилиновые враги обрели единый бурый цвет, Фимке надоело. И что интересно: ему надоело буквально за мгновение до того, как его рассказы надоели слушателям. Вот умел он чувствовать настроение окружающих, умел. Ничего не скажешь. Так что пару дней дворовые завсегда таи провели, яростно фехтуя деревянными шпагами – собственно, плохо обструганными палками метровой длины, с поперечными планками и крышками от консервных банок в качестве гард. Причиной было то, что в зале повторного фильма в кинотеатре имени Ольги Кобылянской вдруг показали американский фильм «Три мушкетера», с песенкой «Вар-вар-вар-варвара...» – или что-то в этом роде. Двор был буквально усеян этими шпагами, – поскольку каждый «мушкетер» старался сделать оружие лучше, а старое немедленно выбрасывал.

Но уже через неделю Фимка решил найти новое развлечение. Ведь, как уже было сказано, военные приключения ему надоели. Высвистав Саню, он сказал, таинственно оглядываясь по сторонам:

– Знаешь, что у Дяконеско на стене висит?

Саша не знал.

– Сабля. Настоящая. Вот такая! – и Фимка изобразил руками, какая сабля висит у дворника. По всему получалось, сабля была необыкновенная и очень большая. При этом то ли от волнения, то ли от восторга лицо его покраснело настолько, что обильные веснушки на носу и щеках словно посветлели.

Саня не поверил.

– Не может быть! Откуда?

– Черт его знает, – ответил Фимка. – На чердаке каком-нибудь нашел. Он же чердаки убирает тоже. А на чердаках знаешь, что можно найти?

– Что? – спросил Саня с любопытством.

– Мотоцикл немецкий, – подумав, уверенно ответил Фимка. – С пулеметом. Сабель там вообще полно. И штыков. Вот Дяконеско одну саблю и украл. Может, и не одну.

– Ты откуда знаешь?

– Через окно заглянул. Висит. На стене. Прямо над кроватью. Давай заберем? Он двор метет, а дверь забыл запереть. Как всегда.

Это было чистой правдой. Дворник вечно забывал запереть дверь.

Саня почувствовал, как при этих словах Фимки у него сердце забилось сильнее, а во рту появился противный солоноватый привкус.

Он вновь испугался – сначала того, что предлагал Фимка, а затем того, что Фимка увидит этот его страх. Поэтому, громко глотнув, Саня кивнул.

И они пошли. Теперь Саня снова боялся – что мама из окна увидит, как её сын с другом куда-то направляются, и громко спросит: куда? А Саня никогда не обманывал маму. Во всяком случае, ему казалось, что никогда не обманывал. Впрочем, это ведь одно и то же.

Они дошли до дворницкой. Фимка подмигнул товарищу и осторожно толкнул дверь. Сане очень хотелось, чтобы дверь оказалась запертой. Но она легко и даже без скрипа подалась от легкого толчка.

– Стой тут, – шепнул Фимка. – Свистнешь, если что.

Саня умел свистеть в два пальца. Как ни странно, этому его научила мама. Фимка, оглядевшись, нырнул в полумрак дворницкой, откуда тянуло прокисшей тяжелой вонью.

Время тянулось долго. Саня прислушивался, но из дворницкой не доносилось ни звука, – Фимка умел двигаться бесшумно. Саня уже подумал было, что никакой сабли у Дяконеско нет, как вдруг на пороге возник Фимка с вожделенным сокровищем в руках.

– Вот... – напряженным полупшепотом сказал он. – Я же говорил! А ты не верил... – и Фимка потянул саблю из ножен.

Саня онемел от восторженного ужаса. Он впервые видел вблизи настоящую саблю – не деревянную палку, нет, настоящее офицерское оружие. Тускло блестело плоское, чуть изогнутое лезвие с канавкой посередине, изысканно-изящная витая гарда, еще какая-то кисть с остатками позолоты, которая украшала обтянутую кожей рукоятку. Он протянул руку, чтобы коснуться сабли, но Фимка отдернул руку и протянул ему ножны:

– Подержи!

Саня послушно взял в ножны. Ножны были сделаны из дерева и обтянуты потертой и потрескавшейся местами кожей. Конеч ножен был покрыт металлом с какой-то полустертой чеканкой – то ли рисунком, то ли вензелем.

– Пошли! – тем же громким шепотом скомандовал Фимка, и они вышли во двор. Тут Саня наконец выпросил у Фимки саблю – лучше рассмотреть. Фимка нехотя выпустил оружие из рук и тут же снова забрал: – Успеешь еще, пошли.

И вот тут они едва не наткнулись на дворника.

Они не заметили, как оказались в опасной близости от владельца сабли. Саня только почувствовал, как его вдруг обдало крепким водочным перегаром. И чисто инстинктивно он отпрянул.

Тут и Фимка увидел дворника. Дяконеско же не сразу понял, что рассматривают два пацана, что за странная палка в руках у одного из них. А когда понял, малолетние преступники уже пусти-

лись наутек. Мгновенно рассвирепев, дворник погнался за во-ришками с метлой наперевес.

– Oh, bastarzi mici!³ – орал дворник по-румынски и добавлял по-украински: – Ось я вам ноги повисмикую, виблядки!

Фимка и Саня неслись со всех ног, причем Фимка не выпускал из рук саблю и даже ухитрился ею вертеть над головой на манер легендарного Чапая из фильма, виденного, кстати, в том же «Жовтне», в зале повторного фильма.

Добежав до деревянного навеса над качелями, они, не сговариваясь, порскнули в разные стороны.

Дворник, ни секунды не раздумывая, погнался за Фимкой. Саня остановился, чтобы перевести дух. Фимка же, добежав до глухого угла двора, растерянно и затравленно оглянулся на Дяконеско, приближавшегося к нему уже не бегом, а шагом, с метлой наперевес. Фимка робко поднял саблю, прикрываясь ею. Он, скорее всего, даже не отдавал себе отчета в этом движении. И вряд ли ему удалось бы отбить удар метлой.

Но тут случилось странное.

Дворник вдруг отбросил метлу и подхватил валявшуюся на земле деревянную шпагу – из отходов мушкетерских увлечений двора. Фимка от неожиданности опустил саблю.

Дворник вдруг преобразился. Щелкнул стоптанными каблуками, учтиво склонил голову и торжественно отсалютовал опешившему мальчишке деревяшкой.

– Te rog, prietene. Să începem!⁴ – сказал дворник Дяконеско и широким жестом отбросил в сторону серую кепку. Кепка, завертевшись колесом, пролетела довольно далеко и шлепнулась в пыль, akurat к ногам остановившегося Сани.

Дяконеско, отсалютовав еще раз, встал в стойку фехтовальщика. Правая рука его была вытянута по направлению к противнику, левая – согнута в локте и приподнята. Чуть приседая и в то же время не двигаясь с места, он выжидательно смотрел на Фимку. Странно, несмотря на сильное опьянение, он почти не качался.

³ Ах вы, мелкие сволочи! (румын.).

⁴ Прошу вас, друг мой. Начнем! (румын.).

И Фимка, загипнотизированный странным поведением дворника, повиновался, тоже встал в стойку, старательно и неуверенно подражая Дяконеско. Тот слегка кивнул, словно одобряя действия Фимки, и сделал легкий, пробный выпад деревяшкой. Фимка отпрыгнул и попытался отбить выпад дворниковой саблей. Дворник снова кивнул и даже чуть улыбнулся, так что пегие вислые усы его встопорщились.

Саня остановился и осторожно приблизился к фехтовальщикам. Следом потянулись выросшие словно из-под земли дворовые мальчишки. Поначалу они привычно орал: «Diaconescu, vreî să bei vodca? Diaconescu, a fugit după mine!» – но очень быстро замолчали.

Потому что зрелище поистине было фантастическим. Танец Фимки и дворника происходил в полной тишине, только стучали, сталкиваясь, стальная сабля и деревянная шпага.

Саня чувствовал, что дворник фехтовал мастерски, словно всю жизнь занимался только этим. Фимка же, будучи прирожденным артистом, очень быстро у него учился. С каждым разом его выпад становились все изящнее и смелее, а улыбка на темном сморщенном лице дворника – все шире и веселее.

Но вот, видимо, решив, что достаточно круженья, Фимка азартно ткнул саблей в противника.

И в ту же минуту оказался разоруженным. Дворник сделал почти неуловимое движение своей жалкой деревяшкой – и сабля вдруг вылетела из Фимкиной руки, высоко взвилась в воздух и упала за десяток метров от места поединка.

Дворник тотчас припал на одно колено и изящно коснулся острием своей шпаги Фимкиной груди.

После этого он выпрямился и вновь отсалютовал Фимке.

Фимке растерянно скривился. Дворник же неторопливо подошел к упавшей сабле, поднял ее, приложился губами к эфесу. Осмотрелся по сторонам, увидел, что ножны держит в руках Саня, молча протянул руку. Саня послушно отдал ножны, дворник вложил в них саблю и неторопливо, не оглядываясь на молчавших зрителей, прошествовал в дворницкую.

Саня повернулся к Фимке. Фимка сидел на земле и плакал.

– Вставай, – сказал Саня. Фимка помотал головой. Саня пожал плечами и пошел домой.

Спустя примерно часа два, ближе к обеду, Фимка снова зависел у Сани под окном.

– Выйди! – крикнул он.

Саня вышел.

– Ну? – спросил он. – Что случилось?

– Дяконеско кепку потерял, – ответил Фимка. – Можешь ему занести? – И он протянул Сане дворницкую кепку, которую Дяконеско перед поединком отшвырнул картинным жестом.

– А ты почему не отдашь? – спросил Саня, не прикасаясь к кепке.

Фимка отвернулся.

– Не могу, – ответил он хмуро. – Ну, не хочу.

Саня пожал плечами. Конечно, ему было боязно идти к пьяному дворнику (а дворник был пьян всегда). Но вдруг он почувствовал, что это совсем не тот страх, который постоянно одолевал его перед рискованными эскападами, вовсе нет! Более того: боязливое чувство исчезло, зато возник непонятный ему самому жгучий интерес к странному дворнику.

– Ладно, – сказал Саня. – Давай.

– На, – Фимка обрадовался. – Бери. Не бойся, его нет дома. Я видел, как он ушел. Дверь не запер.

Войдя в дворницкую, Саня, вновь ощутил густую тяжелую вонь перегара, к которому примешивались ароматы чеснока и застарелой сырости. Его затошнило, но, преодолевая отвращение, он сделал несколько шагов, намереваясь поскорее бросить злосчастную кепку на стол или на узкую койку с никелированными шарами, стоявшую в углу и небрежно покрытую серо-синим одеялом без пододеяльника. Любопытство растворилась в спертom воздухе дворницкой.

И тут он вновь увидел давешнюю саблю. Сабля висела на стене. А рядом с саблей, на той же стене, увидел он большую фотографию, наклеенную на толстый картон. Картон был обрезан неровно, к стене он был прибит кривыми гвоздиками, по углам.

К фотографии был приколот засохший букетик, такой старый, что невозможно было определить ни цвет его, ни первоначальную форму.

Но вовсе не бывшие цветы заинтересовали Саню. Заинтересовала его сама фотография. Когда-то фотография была цветной,

но теперь выцвела так что блеклые цвета скорее угадывались, чем различались.

А изображала она молодую пару. Женщина была очень красива, в белом платье с широкой складчатой юбкой, с букетом алых роз и в широкополой шляпе.

Мужчина был военным, но Саня не понял, какой армии. Во всяком случае, не советской армии. Не было в советской армии таких красных курток, обшитых золотыми галунами, с витыми шнурами на груди. И поясов таких светлых, шитых, по-видимому, золотом, тоже не было. И не писали на советских погонах букву «С», а тем более не носили в советской армии черных фуражек с лакированным козырьком, золотым кантом и непонятной кокардой, посреди которой тоже была нашита буква «С»⁵.

Все это дополнялось темно-зелеными брюками и блестящими высокими сапогами со шпорами. Правой рукой в белой перчатке военный неизвестной армии опирался на саблю, и была эта сабля точно-в-точно та, которую Фимка давеча утащил из дворницкой.

Тут Санины глаза широко раскрылись: он вдруг с изумлением узнал в лихом военном дворника Дяконеско. Только нынешний Дяконеско, Дяконеско-дворник, был лет на двадцать, а то и тридцать старше Дяконеско-военного. И потому, видно, усы, уныло висевшие у дворника, у военного на фотографии лихо закручивались вверх, да и глаза, у дворника вечно мутные, у офицера смотрели весело и гордо.

Внизу фотографии было написано: «București. Studio foto David Friedman. 1930».

Увлечшись разглядыванием фотографии, Саня не сразу заметил, что уже не один в камерке. Рядом стоял хозяин, и темно-красное лицо его было весьма суровым.

– Чом ты тут? – спросил он, распространяя свежий водочный запах. – Чо надо?

Саня спешно протянул дворнику кепку, которую все еще сжимал в руках.

Лицо Дяконеско смягчилось

⁵ «С» – то есть, «Carol» – Кароль, король Румынии. На парадной форме румынских кавалерийских офицеров в 1930-е годы были нашиты королевские вензеля – на погонах и фуражках.

– Дякую, – пробормотал он и, не поворачиваясь, бросил кепку на койку. Подойдя к Сане, Дяконеско ткнул пальцем в несоветского офицера на фото и гордо сказал:

– То я. Рошиорский кролевский конный полк. Locotenent colonel⁶

Указав на орден, украшавший грудь военного, Дяконеско добавил: – Звезда Романиа, з мечами⁷

– А это кто? – спросил Саня, указывая на красавицу.

Дяконеско озадаченно скривил губы. Нахмурился, поцокал языком.

– Не пам'ятаю. – Он как-то беспомощно вздернул узкие плечи.

– Nu-mi amintesc. Н-не помню. Зовсем не помню. – Дяконеско неслышно пошевелил губами, покачал головой. – Може, й то не я? А, хлопче? Чи то я, băiat⁸?

Дяконеско, покачиваясь, подошел к зеркалу, висевшему на той же стене, ближе к углу. Сосредоточенно посмотрел на свое отражение. Подкрутил усы, так что концы их тоже поднялись, – конечно, не настолько лихо, как у военного на фотопортрете. Пригладил волосы, повернулся чуть влево, чуть вправо, по-птичьи осмотрев себя одним глазом.

Хмыкнул недоуменно, вернулся к портрету. Уставился на него так же, как до того – на свое отражение.

Потом оглянулся на Саню, словно что-то вспомнив. Взял его за плечи и развернул к двери.

– Йди, йди, хлопче. Мами кажи мое почтенне.

Саня торопливо вышел, но у выхода остановился и осторожно оглянулся.

Дворник Дяконеско стоял у стены, с трудом держась на ногах, и напряженно вглядывался в фотографию на стене. Словно пытался понять: он ли был изображен на старом портрете из бухарестской фотостудии Давида Фридмана.

⁶ Подполковник (румын.).

⁷ Орден Звезда Румынии с мечами.

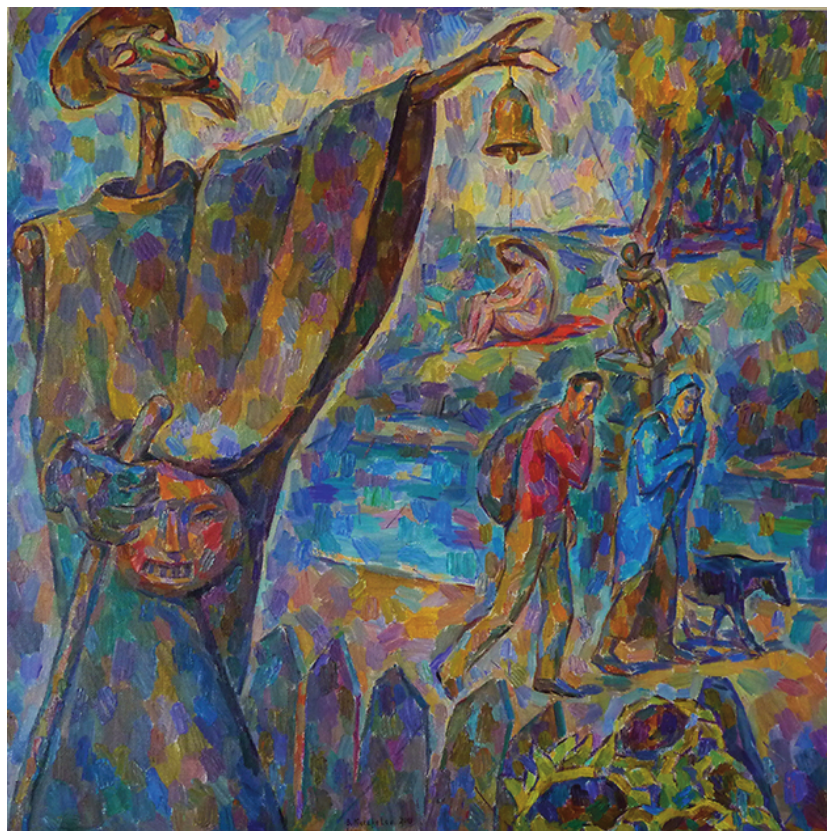
⁸ Мальчик (румын.).



Александр Канчик, "Диалог"

Герои второй главы романа "Бесы и демоны"

Слева направо: Доносчик Гецл, Аврум-книжник, курувский "Рам-бам", Шимке, сын шинкаря с пулавской дороги, реб Гейче, владелец винокуренного заводика, его приказчик каббалист Гирш.



Борис Карафёлов, «Пугало»

Яков Шехтер

ВСЕМ СОБАКАМ СОБАКА

Вторая глава из романа «Бесы и демоны»
(по картине Александра Канчика «Диалог»)

Преуспел, реб Гейче, преуспел. Не каждому удастся так много сделать в короткой земной жизни. И Тору изрядно поучил, и восемь детей поднял, трех мальчиков и пять девочек, и выдал девочек замуж, а мальчиков женил, причем очень удачно, и дождался внуков и даже правнуков и при всех этих солидных хлопотах капиталом немалым ворочал.

Винокурный заводик Курува принадлежал единолично реб Гейче. Партнерства он не признавал, справедливо полагая, что от партнеров в деле одни хлопоты и ненужные расходы. Пан Анджей Моравский давным-давно подписал ему исключительное право гнать водку в своих владениях и ни одной секунды за все эти долгие годы не усомнился в правильности принятого решения. Деньги реб Гейче платил точно в срок, иногда добавляя сверх установленной суммы.

– Да вот, торговля в последние месяцы шла удачно, – повторял он одно и то же объяснение. – Грех не поделиться.

Такую праведность пан Анджей весьма ценил.

Помимо оптовой продажи, реб Гейче снабжал по особой цене своим товаром шинкарей до самого Люблина, зарабатывая столько золотых, сколько приступов лихоманки вы бы пожелали своим врагам.

Всю жизнь реб Гейче боролся со скопидомством собственного естества. По натуре он был жадным, даже скардным человеком, и каждый грошик, отрываемый на помощь бедным – цдаку – острой гранью полосовал его бедное сердце. Но реб Гейче знал, что

в преодолении натуры и состоит духовная работа еврея, и поэтому боролся с самим собой без всякой жалости и снисхождения.

С одной стороны, он завидовал счастливым, жертвовавшим с такой же легкостью, с какой яблоня осыпает плодами землю под своей кроной, не заботясь стоят на этой земле ведра для сбора урожая или дымятся кучи свежего навоза.

– С другой стороны, – утешал себя реб Гейче, – какую заслугу можно с уверенностью назвать подлинной? Лишь ту, когда человек силой отрывает от себя с трудом заработанные деньги и жертвует их потому и только потому, что такова воля Творца.

«Разве Всевышний нуждается в нашем мире? – спрашивал себя реб Гейче. – Он создал его с одной единственной целью – проявить милосердие, питать и поддерживать миллионы существ. Я должен быть подобен Ему, питать и поддерживать других людей не оттого, что у меня доброе сердце и жалостливая душа, а чтобы с помощью этого поступка проявлять свет Всевышнего в мире тьмы и лжи».

Тем не менее, он ждал и верил, что когда-нибудь совершаемые через силу поступки заневолят его натуру, переменив ее к лучшему, и он научится жертвовать легко и естественно. Шли годы, но упрямое естество не размягчалось «давательными» упражнениями, а скорее наоборот, грузнело, становясь все более заскорузлым.

Записку ему передали по пути к раввину Курува ребу Михлу. Стояла предпасхальная ночь, и, проверив в своем доме хамец, реб Гейче чинно вышагивал к дому ребу, чтобы оформить продажу винокурного завода со всем содержимым. Разумеется, завод во время праздника и полупраздничных дней не работал, но бочки с готовой водкой и с недобродившим полуфабрикатом были самым настоящим квасным, владеть которым в Песах еврею строго-настрога запрещалось. Из года в год реб Гейче продавал завод со всем содержимым раввину, а тот перепродавал его поляку. Условие сделки гласило, что покупатель вносит перед Песахом лишь символическую сумму, а основные деньги обязывается уплатить немедленно после завершения праздника. Если он этого не делал, сделка тут же аннулировалась. Поляк, разумеется, никаких денег, кроме задатка,

не платил, и сразу после завершения Песаха реб Гейче снова становился владельцем завода.

Эту процедуру ребе Михл из года в год проделывал не только с квасным на винокурне, но и со всем хамецом евреев Курува. Разумеется, поляк в накладе не оставался. Уже третье поколение одной и той же семьи играло с евреями в их игру, тщательнейшим образом соблюдая правила, дабы и на следующий год снова неплохо заработать, прямо скажем, ни на чем.

Окна домов местечка светились желтым и розовым, свежий ветерок холодил лоб, и бодро, да, все еще бодро, несмотря на годы, вышагивал по улице реб Гейче, ощущая неожиданный прилив счастья. Предстояла пасхальная неделя, с длинными, возвышенными молитвами, размеренными трапезами в кругу семьи, блаженным послеобеденным сном, а за ним пространным, неспешным чтением книг любимых комментаторов. А сейдер, ах, сейдер со всеми детьми, разве есть на свете что-либо слаще сияния глаз внуков и внучек, слушающих пасхальную Агаду, читаемую дедом?!

Сзади раздался грохот колес по булыжной мостовой, ребе Гейче посторонился, пропуская телегу, но балагула, поравнявшись, натянул вожжи и так рывкнул – тпру!– что кони разом остановились.

– Реб Гейче, – пробасил возчик. – Вам тут записка, реб Гейче.

– От кого, Мендель? – спросил реб Гейче, узнав балагулу. Тот частенько нанимался разводить по шинкам бочонки с водкой, и его звероподобная стать, крутой нрав и бешеная, ломовая сила были лучшей гарантией доставки опасного товара.

– Сынок шинкаря Пинхаса с пулавской дороги передал. Просил прямо в руки и чем быстрее, – Мендель вытащил из-за пазухи клочок бумаги, почти незаметный в широченной ладони.

– А его отец где? – удивился реб Гейче, принимая записку.

– Болен говорят. Он и жена его. Напасть какая-то навалилась. Сестра Пинхаса сейчас всем заправляет. Ушлая особа, – балагула неопределенно хмыкнул, то ли восхищенно, то ли неодобрительно.

– Не время болеть, – вздохнул реб Гейче, – ох, не время. Песах на носу.

– А когда время? – философски заметил балагула, свистнул лошадям и тронулся с места.

Несмотря на возраст реб Гейче не утратил остроту зрения и поэтому при свете луны без труда разобрал неровные, выведенные дрожащей рукой, буквы.

– Спасите, в моем доме черти, спасите! Шимке.

– Так-так-так, – пробормотал реб Гейче. – Вернее, ну и ну.

Шинкаря Пинхаса реб Гейче хорошо знал. Тот прославился своим изречением:

– Глупец наслаждается запретами, а мудрец послаблениями.

Жил он на отшибе, неподалеку от большого польского села Коньсковоля, поэтому молился без миньяна, по субботам сидел дома, а за кошерной едой наматывал версты до Курува. В такой ситуации человек невольно ищет оправдание своим слабостям и сочиняет всякие дурацкие изречения.

– Довели послабления голубчика до нечистой силы, – сказал сам себе реб Гейче. А спустя секунду добавил: – Или его сына до сумасшествия.

Знал реб Гейче и Шимке, робкого, тихого мальчика, живущего вдали от еврейских сверстников, говорящего по-польски куда лучше, чем на идиш. Однако от скромности и вялого характера до сумасшествия очень далеко. Что-то стряслось в шинке у дороги на Пулав, и действовать нужно было немедленно. Реб Гейче повернулся и решительно двинулся в сторону своего дома.

Спустя полчаса телега с реб Гейче и его приказчиком Гиршем, выехала из Курува. О, приказчик Гирш заслуживает отдельного рассказа, скорее даже отдельной книги или, возможно, целого собрания сочинений. Подобно многим одаренным еврейским юношам он все молодые годы просидел над Учением и продвинулся так далеко, что его принял в ученики Бааль-Шем, чудотворец из Замостья. Гирш прожил в его доме около года, быстро продвигаясь по лестнице внутренней иерархии, вызывая зависть менее способных учеников, годами топтавшихся на одной и той же ступеньке. Вершиной его продвижения или, наоборот, низшей чертой падения, все зависит от точки зрения, стала ночь, когда ему удалось подслушать, как Бааль-Шем произносит три святых имени.

Спустя два месяца Гирш собрал свои скромные пожитки и бежал из Замостья. Сбежал в ужасе и страхе. Как оказалось, каббала и знание святых имен были не просто умозрительными понятиями, а могучим рубанком, истончившим стену, отделяющую разум от мира иных сущностей. Этот мир, наполненный ужасными творениями Всевышнего, находился совсем рядом, бок о бок с нашим миром, оставаясь невидимым лишь благодаря заложенной в человеческий разум спасительной «слепоте».

Знание ослабляло «слепоту», и скрытый мир раскрывался во всем великолепии своего ужаса и неизбывной тоски. Выдержать такое могли только весьма сведущие и очень верующие люди, обладающие завидным психическим здоровьем. Гирш был и верующим и сведущим, а вот со здоровьем дела оказались хуже, чем можно было бы предположить.

Он отходил от кошмарных видений несколько месяцев, не отлучаясь из родительского дома, запершись в маленькой комнате, уставленной шкафами со святыми книгами. Даже свиток Торы выпросил для него отец и принес из синагоги, укутав одеялом, точно малого ребенка.

Гирш пришел в себя спустя полгода. «Слепота» почти восстановилась, и он снова смог ходить по улицам, не шарахаясь от зловещих теней. Начисто отринув изучение каббалы, и зная, что материальное подминает духовное, он выбрал самую что ни на есть грубую работу, став приказчиком на винокуренном заводе. В его обязанности входило развозить по шинкам товар и взимать долги с нерадивых плательщиков, аккуратно заполняя конторскую книгу доходов и расходов. Сволочное занятие, сутяжное и склочное, но именно такого и алкал Гирш, именно оно позволило ему почти забыть ужасы, которых он насмотрелся в Замостье.

От Курува до Консковоля полтора десятка верст, и к шинку телега подкатила перед полуночью. Его окна были ярко освещены, а из приоткрытых дверей доносился шум голосов. Прикинувшись проезжими, реб Гейче и Гирш вошли в шинок, заказали чаю и, морщась от густого табачного дыма, принялись осматриваться. Свободных мест почти не было, изрядно набравшиеся крестьяне о чем-то спорили, возя локтями по залитым пивом грубым столешницам. Гирш поднес пару чарок соседям по столу, и те немедленно посвятили их во все местные слухи и сплетни. Терпеливо

выслушав скабрзные истории про ксендза, воеводу и других важных персон повята, Гирш спросил:

– А куда подевался шинкарь Пинхас? Почему я его не вижу?

– Лихоманка скрутила, – пояснил один из соседей. – И он, и его жена уже неделю в беспамятстве. Вот почему, как хороший человек, так сразу ему плохо становится?

– Вместо него теперь Лейка заправляет, сестра шинкаря, – вздохнул второй сосед. – Вроде одной крови, а такая злыдня, не приведи Бог, капли в долг не нальет. Случается, горло аж пережимает от сухости, а ей хоть бы что, только глаза зеленые свои щурит, да рожу в ухмылке кривит. Ну, чисто дикая кошка, лишь усов не хватает!

Гирш понял намек и срочно попросил повторить. Лея, разбитная ловкая баба, быстро принесла полные чарки. Реб Гейче и Гирш сделали вид, будто погрузились в чаепитие, а сами украдкой принялись наблюдать за новоявленной хозяйкой.

Держалась она запросто, сама цедила водку, споро разносила еду на большом подносе, смеялась скабрзным шуткам пьяных посетителей и, не стесняясь, отбивала шаловливые руки.

– Надо с Шимке поговорить с глазу на глаз, – сказал реб Гейче. – Думаю, он прячется во внутренних комнатах.

– Понял, – кивнул Гирш. – Я всех отвлеку, а вы его ищите.

Он встал и медленно, как уставший после долгой дороги путник, у которого еще не успели отойти затекшие ноги, двинулся к выходу. Ясно и понятно, человек напился чаю, а теперь ищет, где от него избавиться.

Реб Гейче продолжал невозмутимо отхлебывать из чашки, даже вспыхнувшее за окном зарево не помешало столь важному занятию.

– Пожар, пожар! – раздались истошные вопли и посетители, опрокидывая лавки и столы, гурьбой бросились к выходу. Реб Гейче подождал, когда давка у двери полностью отвлечет на себя внимание, встал и быстро прошел во внутренние помещения.

Длинный коридор едва освещался единственной свечой.

– Шимке, – негромко позвал реб Гейче. – Шимке, где ты?

Одна из дверей тихонько приотворилась, и оттуда высунулась голова мальчишки.

– Вы кто? – со страхом и надеждой спросил он.

– Реб Гейче.

Мальчишка выскочил из комнаты, обнял реб Гейче и прижался всем дрожащим от страха телом.

– Ну, ну, успокойся Шимке, – сказал реб Гейче, глядя мальчишка по голове. Дверь заскрипела, и в коридор, грузно ступая, вошел Гирш.

– Видели, что может надеть охапка соломы? – с усмешкой спросил он. Но реб Гейче сделать ему знак умолкнуть и спросил Шимке.

– Расскажи, что тут у вас произошло?

– Бесы в доме завелись! Спасите, сделайте что-нибудь!

– Почему ты так решил, Шимке? Может, тебе кажется?

– Кошка наша, как тетка Лея пришла, сразу начала на нее шипеть. Кошка у нас тихая, смиренная, просто ангел, а не кошка. Даже мышей боится, мама давно хотела ее из дому выгнать, да отец не дал:

– Мы ее приручили, нам теперь за нее отвечать. Куда она пойдет?

– Да куда хочет, туда и пойдет, – сердилась мама, – и спрашивать тебя не станет. О людях бы больше заботился, чем о звере бессмысленном.

– Она вовсе не бессмысленная, – отрезал отец, и кошка осталась.

– К делу, к делу, – буркнул Гирш, – не трави нам про кошку.

– Кошка тут как раз очень важная, – ответил Шимке. – День на третий, как родители заболели, я стоял в своей комнате, у двери, хотел выйти, но не успел, только приотворил. Тут тетка Лея пробежала с кастрюлей в руках и наступила на спящую кошку. Та заржала и кинулась на нее. Я выглянул, хотел оттащить и увидел, как кошка ей длинную юбку, что всегда до пола, рванула когтями и зубами, кусок оторвала и в ногу вцепилась. Тетка ко мне спиной стояла и меня не заметила, а я даже в полутьме разглядел, что нога у нее не человеческая, а будто у курицы.

Реб Гейче и Гирш переглянулись.

– Я как эту желтую морщинистую ногу увидел, сразу в комнату отпрыгнул и двери закрыл поплотнее. Долго в себя прийти не мог, а потом решил бежать за помощью. Вышел из дома и пошел к во-

ротам, точно гулять собрался. Но тут тетка на меня коршуном налетела, схватила за руку и затащила в дом.

– Пока родители не поднимутся, из дома ни на шаг, – зашипела. – Я за тебя отвечаю, и ты обязан меня слушаться.

Ну, я согласился, делать-то нечего. Два раза еще пытался уйти, а она меня ловила. Один раз посреди ночи встал, тихонько на цыпочках подошел к двери, отворил беззвучно, а она в коридоре стоит и на меня смотрит.

– Что, Шимке, не спится?

– Не спится.

– Давай я тебе кисельку вкусного сварю, – сказала она сладким-сладким голосом, – авось и полегчает.

А я понимаю, если выпью тот киселек, так же, как мама с папой свалюсь.

– Спасибо, – говорю, – тетя Лея, попробую и так заснуть.

– Ну, попробуй, попробуй, – сказала она уже обычным своим злым голосом и дверь мою с силой закрыла.

– А когда родители заболели?

– Тетка им посоветовала мезузы сменить, привела самолучшего сойфера. Ну, отец послушался. А на следующий день и заболели.

– Как эта тетка в шинке оказалась?

– Не знаю. Одним утром я встал, а она уже тут, распоряжается, словно век с нами прожила.

– Гирш, давай проверим мезузу, – сказал реб Гейче.

Гирш открыл складной нож, подковырнул гвоздики и снял корбочку с мезузой, прикрепленную на косяке. Реб Гейче осторожно извлек свиток пергамента, развернул его и, подойдя к окну, принялся рассматривать. При свете луны было видно, как на его лбу проступили крупные капли пота.

– Смотри, – произнес он глухим голосом, подавая пергамент Гиршу. Тот поднес свиток глазам и через секунду побледнел.

– Владыка мира, вместо имени Бога Ша-дай, тут написано Ашмедай!

– Шимка прав, – воскликнул реб Гейче. – За дело!

Гирш нехотя, но деваться-то некуда, произнес три святых имени, когда-то подслушанных у Бааль-Шема в Замостье. Они, словно желобки в камне, навсегда врезались в его память. Затем

сняли и сожгли в печи бесовские мезузы, и всю ночь читали псалмы, а под утро встали на молитву.

Молились долго, тщательно перекачивая каждое слово, словно речную гальку, попавшую в рот. Когда вышли из комнаты, мать Шимке уже хлопотала на кухне, а отец рубил дрова. Они ничего не помнили, просто сон сморил, им и в голову не приходило, что проспали несколько дней. Тетка Лея исчезла бесследно.

– Одного не пойму, – удивленно хлопал себя руками по бокам Пинхас. – Куда мезузы пропали? Только пустые коробочки на подоконниках лежат. Ну да ладно, у меня старые остались...

Домой реб Гейче возвращался с чувством исполненного долга. Стояла ранняя весна, из полей накатывали волны прохлады, пьянило влажное дыхание молодой травы, усыплял мерный шорох недавно распустившихся, крепких листьев. Гирш тоже задремывал, и лошади шли неспешно, степенно потряхивая косматыми гривами.

В Курув прибыли после полудня, телега остановилась прямо напротив дома, и реб Гейче, побряхывая, принялся вылезать. Солнце поднялось высоко над головой, пора было собираться в баню, из нее в микву, чтобы встретить праздник в чистоте и святости.

И тут... и тут... реб Гейче замер в остолбенении, словно его огрел кнутом пьяный шляхтич. Хамец! Он же не продал хамец!

Одним прыжком заскочив в телегу, он крикнул Гиршу гнать что есть сил к ребе Михлу. Колеса загрохотали по улицам Курува, но сердце, бедное сердце реб Гейче грохотало куда сильнее. Он прекрасно знал, что по закону после полудня с хамцом уже ничего нельзя сделать. Да-да, именно так, его невозможно ни продать, ни использовать. Любое употребление квасного уже полностью запрещено, а это означало, что реб Гейче разорен. Он рассчитывал лишь на то, что великий мудрец ребе Михл отыщет какую-нибудь лазейку.

Велика и обширна мудрость еврейского закона, ни обойти, ни перепрыгнуть. Но избранные головы избранного народа не одну тысячу лет корпят над Учением и открыли множество потайных ходов, скрытых дверей и укромных перелазов. Пользоваться ими не советуют, но в аховом положении, именно в таком, как сейчас, эти двери и перелазы помогают спастись.

– Увы, увы, – развел руками ребе Михл, выслушав реб Гейче.
– Хамец уже продан, а полдень давно наступил. Даже не знаю, что посоветовать.

Сказать, что реб Гейче пришел в отчаяние – ничего не сказать. Все его деньги были вложены в еще не проданную водку и полуфабрикат. Оставшись без них, он не становился нищим, но состояние, нажитое годами тяжелых трудов и кропотливой работы, однозначно шло прахом. Одна его бровь взлетела вверх, другая поползла вниз, уголки рта опустились, а и без того морщинистый лоб стал напоминать распаханное поле.

– Попробуйте поговорить с Рамбамом, – посоветовал ребе Михл. – Может, он что придумает.

Рамбамом в Куруве называли реб Аврума-книжника. Тот знал наизусть все книги Маймонида и мог цитировать их с любого места. Прозвище он получил не благодаря феноменальной памяти, а потому, что Рамбам был для него главным авторитетом во всех областях жизни, путеводной звездой и свечой, освещающей сумрак ночи. В его книгах Аврум искал ответы на любые вопросы, и поскольку Мойше бен Маймон был воистину великим мудрецом, врачом, философом и знатоком судебных человеческих, ответы находились, причем весьма полезные.

Кроме любви к Маймониду, курувский Рамбам слыл заядлым спорщиком. Каждому человеку Всевышний дарует особенности характера, дабы с ними он боролся всю свою жизнь. Один любит закусить, а другой сначала хорошо выпить, этого не оторвать от подушки, а тот немеет при виде смазливой женской мордашки. Все это вовсе не случайно, работа по преодолению тварного естества нужна для исправления души, тikuна. Перед тем, как спуститься из сияющего мира истины в узкие рамки «здесь и сейчас» нашей реальности, душа вместе с ангелами планирует для себя испытания, подбирает место и время рождения, партнеров, детей и родителей. И все с одной-единственной целью – использовать годы пребывания в земном теле для наивысшего поднятия в мире грядущем, в сверкающем океане добра и справедливости.

Рамбам бился со своим характером до изнеможения. Беда заключалась в том, что благодаря феноменальной памяти и ясному уму, заостренному непрерывным учением, он мог переспорить кого угодно. Еще не нашлось человека, сумевшего посадить его в

лужу. Даже всеми признанные курувские мудрецы старались не вступать с ним в пререкания.

Больше всего заботился об этом сам Рамбам. Он, как от чумы, бежал спорных ситуаций, избегал щекотливых вопросов, и когда за третьей субботней трапезой в синагоге начинался оживленный разговор о неоднозначно понимаемых комментариях, поднимался и уходил в большой зал, читать псалмы.

Но иногда его, все-таки, прорывало, и тогда с яростью человека, расчесывающего зудящее место комариного укуса, он пускался в яростный, беспощадный спор, не успокаиваясь, пока не ставил ногу на горло поверженного противника. Ну, разумеется, ногу и горло в переносном смысле, Аврум-книжник отличался кротким нравом и за всю жизнь ни разу не ударил даже собаку или кошку, не говоря уже о человеке.

Реб Гейче не был в близких отношениях с Рамбамом, но при встрече всегда перекидывался парой фраз. Увидев его на пороге дома в столь неподходящее для визитов время, Рамбам чуть округлил глаза, однако тут же широко распахнул дверь, приглашая гостя войти.

– Задали вы себе задачу, – произнес он, когда реб Гейче закончил свою взволнованную речь. – И мне тоже. Обойти закон уже невозможно, все лазейки закрылись после полудня. Надо придумать что-то другое.

Он молчал около десяти минут, опустив голову и сосредоточенно изучая ногти на пальцах правой руки. Реб Гейче смотрел в окно. За холодной гранью чисто промытого стекла ветер мотал ветки ольхи. Над ними, в высоком небе плыла розовая рябь, от которой разбегались светлые перья. А дальше, еще дальше, в голубой недостижимой вышине, неподвижно висели ватные клубы облаков. Решение проблемы было так же далеко и недостижимо, как эти облака.

«Когда Всевышний решает сделать человека бедняком, – думал реб Гейче, – он может использовать даже нечистую силу. Он хозяин, Он владыка, как захочет, так и поступит. И даже Рамбам ничего придумать не сможет».

Реб Гейче склонил голову, подчиняясь решению Небес, и стал думать, как объяснить случившееся жене, чтобы та не упала в обморок. Ведь Песах остается Песахом и сейдер в любом случае надо провести по всем правилам и с хорошим настроением.

– Я могу посмотреть книгу расходов вашей винокурни? – нарушил молчание Рамбам.

– Конечно! – ответил реб Гейче, и Гирш тут же отправился в заводскую контору. Спустя четверть часа толстая книга в красном переплете лежала на столе перед Рамбамом.

– Посмотрим-посмотрим, – он принялся перелистывать страницы с таким видом, будто искал нечто вполне определенное. – Поглядим-поглядим, поищем-поищем.

Реб Гейче смотрел на Рамбама с плохо скрываемым недоумением. Как хамец в Песах может быть связан конторской книгой его винокурни?!

– Вот! – вскричал Рамбам, тыча пальцем в середину страницы. – Вот оно.

– Что оно? – осторожно спросил Гирш, собственноручно заполнявший конторскую книгу.

– Сколько, примерно, стоит весь хамец, оставшийся непроданным на вашем заводе? – спросил Рамбам.

– Ну, точно сказать не берусь, – ответил реб Гейче. – Порядка трех с половиной, четырех тысяч золотых.

– Идеально, просто идеально! – Рамбам даже в ладони хлопнул от восторга и протянул книгу недоумевающему реб Гейче. Тот взял книгу, внимательно посмотрел на указанное место и побледнел, словно стена синагоги после предпасхальной побелки.

– О Боже, совсем вылетело из головы! Тут значит, что я взял в долг под будущие доходы три с половиной тысячи золотых у пана Анджея Моравского. Теперь дохода не будет, а долг отдавать надо!

– Вот и замечательно, – произнес Рамбам, поднимаясь из-за стола. – Прошу прощения, реб Гейче, у меня осталось немного времени, чтобы уладить ваше дело. Идите в баню, и ни о чем не беспокойтесь, все будет хорошо!

Наспех схватив полотенце, Рамбам направился к дому мойсера Гецла¹. При виде гостя доносчик оторопел. Он давно уже при-

¹ Про мойсера Гецла рассказывается в повести «Бесы и демоны»: «Обо всем, что происходило в Куруве, он немедленно докладывал пану. Во всем остальном Гецл вел себя как обычный богобо-

вык к окружавшей его полосе отчуждения, перестал надеяться на перемены к лучшему и бросил огорчаться.

– Гецл, – как ни в чем не бывало спросил Рамбам. – Ты уже ходил в микву перед праздником?

– Нет, – соврал мойсер, только что вернувшийся из миквы.

– Тогда пошли, я тоже еще не был.

О, несколько лет назад Гецл дорого бы дал за такую прогулку через весь Курув рядом с Рамбамом. И даже сейчас, когда цветы обиды, превратившись в ядовитые ягоды гнева, давно опали, став сухим перегноем, идти в микву рядом с Рамбамом было очень приятно.

Рамбам нарочно дал кругалю и провел Гецла возле дома реб Гейче. Все это время он увлеченно рассказывал о новом взгляде на диетарные рекомендации Маймонида.

– Кстати, – прервал он свой рассказ, – а ты знаешь, что наш друг реб Гейче полностью разорен?

– Разорен? – мойсер сделал стойку, словно охотничья собака.

– Да-да, в пух и прах. После Песаха объявит себя банкротом.

язненный еврей, доносительство было для него работой, за которую ему платили деньги, и совсем даже неплохие.

Гецла несколько раз били, причем тяжело, и пан Моравский, подобно праотцу Якову, велел сшить для него цветное одеяние, дабы выделить его из толпы прочих жидков. Одеяние представляло собой четырехугольную накидку, похожую на талес, и пан приказал прицепить к ней цицес, кисти видения. Гецл нехотя напялил сей странный наряд, а пан Анджей, вызвав к себе глав польской и еврейской общины Курува, объявил, что носитель этой накидки находится под его защитой.

– Собака, которая посмеет тронуть Гецла хотя бы одним пальцем, будет иметь дело лично со мной, – завершил пан свою короткую речь. Связываться с Моравским стал бы только сумасшедший, и с того дня Гецл открыто и безболезненно продолжил заниматься своим ремеслом: приносить в поместье мелкие слухи и крупные сплетни.

– С Небес спускается только добро, – объяснил прихожанам положение дел раввин Курува, ребе Михл. – Теперь мы точно знаем, когда держать язык на привязи».

Рамбам не кривил душой и говорил чистую правду, ведь дело обстояло именно так.

– А почему? – взял след мойсер.

– Да какая разница, вот ты лучше послушай, что пишет Маймонид о воде во время трапезы.

Прямо из миквы, не теряя ни минуты, мойсер побежал в поместье.

– Разорен? – заревел возмущенный пан Анджей. – Что значит разорен? А долг кто возвращать будет?! А ну, – он ткнул пальцем в управляющего, весьма кстати оказавшегося в его кабинете, – бери гайдуков, дуй на винокурню и все, что можно забрать, приberi к рукам, пока другие заимодавцы не пронюхали.

Так реб Гейче избавился от квасного и отдал долг. После завершения Песаха он отправился в поместье и растолковал все пану.

– Ну и жидки, – крутил головой Моравский, покуривая трубку с длинным, отполированным временем чубуком, – ну и хитрые, собаки. А этот ваш Рамбам – всем собакам собака!

Вышла новая книга

Феликс РАХЛИН – "Афулей Первый и Шлёма Иванов".

Лирика, юмор, сатира.

Издательство "Достояние", Израиль, 2014.

С фотографией и автопортретом автора. Художественное оформление обложки Нинель Шаховой (Афула)

Автор книги - лауреат израильской литературной премии имени Виктора Некрасова (2014). Живёт в г. Афула.

Цена книги - 25 шекелей (включая стоимость пересылки).

Обращаться к автору по тел. в Израиле 04-6528488,
из-за рубежа - +972-4-6528488.

ПОЭЗИЯ

Рита БАЛЬМИНА

Я ПЛОХАЯ МАМА

* * *

Ты можешь, как волшебный мотылек,
Сквозь толщу стен и низкий потолок,
Всегда лететь к невидимому свету,
Который излучают те планеты,
Где лишь сегодня зародилась жизнь?
Не можешь? За соломинку держись,
За ломкий пустотелый стебелек:
Туда твой темный путь тебя завлек,
Где теплый свет исходит лишь от сердца.
А чем еще в такую ночь согреться?

* * *

по наклонной вниз я жила в нью-йорке
как в одесском детстве скользила с горки
и при этом над всеми и вся глумилась
я впадала в панику и в немилость
выходила в тираж не за тех из комы
навсегда забыла всю жизнь искомым
я плохая мама и дочь плохая
и пою пустотами громыхая

нахлебавшись грязи с богемной кодлой
поступала пошло грешно и подло
все мои лирические чертовки
просто грубый фейк или фокус ловкий
на ходу меняя задач условия
под ответ подгоняла строки злословие

виртуальных оваций срывала лаву
и теперь пожинаю дурную славу

я словесный мусор сметаю в строки
и от критиков слышу одни упреки
я на ветер пускаю свои зарплаты
и оставляю сыну одни заплаты
я давно растеряла родных и близких
вместо них лишь даты на обелисках
впереди распад по его закону
я прошу не пишите с меня икону

* * *

я не была прекрасной дамой
скорее дамой без прикрас
но на меня глядел упрямо
лиц покерных иконостас

я дамой не была крестовой
но может быть ещё распнут
поскольку джокер арестован
и в доме карточном капут

бубновой дамой стать не светит
заткнитесь бубны и тамтамы
не буду ни за что на свете
самоуверенной гранд-дамой

я буду дамою червей
что в мертвом чреве копошатся
и всей колоде верь не верь
не избежать такого шанса

* * *

я пропускала
важные деловые встречи
шумные встречи с друзьями
редкие встречи с прекрасным

встречу с прекрасным принцем
проспала не с князьями
а с дворовыми
это конечно принцип
рисовала и пела
в ритме рэпа и вальса
трудно встретить на паперти
своего чарльза

я пропускала мимо ушей
похвалы и проклятия
серьги с каратами
прочую бижутерию
в пункте о жизни красивой
длинный пропуск с печатями
впустят ли с эдакой ксивой
в небесную бухгалтерию
там ведь все что пропущено
подсчитают и взвесят
сделают выводы выведут
и ярлыки навесят

"LOST"

подземный свет и черный дым
бог погибает молодым
в своем языческом костре
сгорая
ведь легче дерзким и крутым
чем умудренным и седым
искать по впадинам пустым
обломки рая

там грех поднявшийся со дна
и злая фурия война
и ребрами зарытый в хвощ
медвежий остов

там жизни жалкая цена
и ложный выбор нахрена
искать над картами таро
свой остров

но нет в лагуне этих скал
не в тех широтах ты искал
зазорный роджера оскал
за тачкой ржавой
где страсти исчерпав накал
очаровательный нахал
густые шулки выдыхал
над мертвой жабой

уже не отыграть потерь
в лесах тропических потей
балдей ботаник грамотей
миры стирая
сквозь время от дурных затей
с реинкарнацией людей
сигай герой и лиходеи
за кромку края

Ирина Каренина

ЗАДВОРКИ ТИХОЙ КАТОРГИ

* * *

Цвети в каких-нибудь парижках,
А мне оставь с моей бедой
Скользить над озером на лыжах,
Над омертвевшею водой.

Ни с этой ревностью дурацкой –
Ни с чем ко мне не подходи.
Какой сегодня клочок адский
И лед сплошной в моей груди!

Вглухую сказанное слово,
Вотще пролитое вино.
Возьму и встречного любого –
Теперь не все ли мне равно?

* * *

Хоть в платьишке из ситца,
Хоть в шелковом пальто –
Уйти и не спроситься,
И не найдет никто.

В трамвайчике, в карете
По жизни разъезжать –
И нет руки на свете,
Способной удержать.

* * *

Говорят... А что говорят?
Говорят, в Москве кур доят.
Говорят, у него жена.
Говорят, что и не одна.

А в Казани-то!.. нет, в Рязани!..
Чебуреки – и те с глазами,
Беляши с курносыми носиками,
Говорят, что и бабы с хвостиками –

С пороссячьими. Пусть болтают!
То Нибиру у них летает,
То навек пропадает греча,
То судьба мне ломает плечи.

Промолчу.
Ни му, ни чу-чу.

* * *

Боюсь, что мне не будет хорошо –
С тобой ли, без тебя, не очень важно.
У этой вот любви такой душок –
Коричный, мятный, перечный и влажный.
У этой вот, бессмысленной, но все ж
Рукой дразнящей стиснувшей мне горло...
Убьешь ли, нет, конечно, не убьешь,
Но ужас жизни – вот он, непритворный,
Но ласковая кромка бытия,
Сверкающая лезвием полночным,
Но ты, но я, но ты, но ты, но я,
Но препинанья, точки, многоточья.

* * *

Птички мелкоколибри и крупноколибри
Пробивают навывлет цветочное сердце.
Я в прокуренном баре тяну «Куба либре»,
Я под зимним дождем доплываю до дома.

Говорю: если только я буду живая,
Обещаю тебе – разучусь ненавидеть,
Заведу себе розовый автомобильчик
И собаку... Да я не умру, ты не бойся...

* * *

Камень белый, камень черный на груди –
Пой, Офелия, по берегу иди.
Не своя сама, не мужняя, ничья,
Всю-то Вечность ты лежишь на дне ручья.
Всю-то смерть твою тебе забвенья нет,
И в руках твоих полынь да луноцвет,
Рыбий панцирь драгоценный на груди,
Над рекою – августовские дожди.

* * *

Вдоль Невы отчего б не пройти,
Погрустить о потерянном горе –
Было, было возможно почти,
Было-сплыло в Балтийское море.

И не знаешь, куда себя деть,
Чем бы сердце занять с непривычки –
Только в серые волны глядеть,
От случайной прикуривать спички,

Не заплаканный взгляд поднимать
И топить его в холоде водном.
Запоздало и вдруг понимать,
Что душа вне печали бесплодна.

* * *

Белея лицом, ты уходишь из дома
Без четверти десять, пугая домашних,
В ночные кварталы дорогой знакомой,
В стеклянную башню, веселую башню,

Где плещется ром и гуляет текила,
Где виски с дымком и певичка из джаза...
И все, что тебе тяжело и немило,
Забыто, убито, не нужно ни разу.

А нужно по сотке еще – и закуску
От шефа, и боль перебить коньяками,
И жизнью нескладной, и тропочкой узкой
К подъезду тихонько скользить башмаками.

Ни средний твой возраст, упавший на плечи,
Ни то, что ни друга, ни пса, и постыло
Вот так бедовать, это, в общем, не лечит,
Но все же становится проще, чем было.

* * *

Моей Мэрилин, с любовью и нежностью

В твое Нигде из моего Не-вечно
Давно курьерских душ не напасешься:
Летят, сметая жизни и преграды,
Как бабочки безумные на свет –
Стеклянницы, павлиноглазки, совки,
Эуклеиды и геометриды,
Они горят и плачут ультразвуком,
Но все-таки опять – летят, летят,
Летят, летят, горят, горят, и снова,
Из ночи в ночь, из века в век, так надо,
Нас создали крылатыми на диво,
Нас предали случайному огню,
Его полету, песне, совершенству,
Что насмерть нам обугливает крылья,
Алипия, урания, белянка,
Сатурния бессонная моя...

* * *

...Зная цену себе и обиде,
На берегах Танаира сего

Я тоскую, как ссыльный Овидий,
И не мило вокруг ничего.
Как москвич за пределами МКАДа, –
Всюду варвары, Рим где, Эллада? –
Удрученный чужим бытием,
Я дрожу, и дышу, и целую
В темной ладанке землю родную,
Сладко-горькое имя ее.
Все же прочее – мелочи, право:
Нелюбовь и негромкая слава,
И недобрые взгляды богов
На – спасибо, что свыше не зорки! –
Тихой каторги нашей задворки
У недальних чужих берегов.

АННА ФАЙН

«ХРОНИКИ ТРЕТЬЕЙ АВТОПАДЫ»

Шокирующая, бьющая по нервам проза израильской писательницы Анны Файн не оставит читателя равнодушным.

Файн из тех авторов, кто верит, что сегодня нельзя шептать читателю на ухо. Нужно кричать, срывая голос, на грани истерики, не боясь показаться сумасшедшей.

“Хроники третьей автопады” - автобус, упавший в пропасть, семья, сгоревшая вместе с компьютером.

Отчаяние и надежда маленькой страны, где так много солнца и боли.

Ирина Маулер

ГОРОД ХОЛОДНОГО НЕБА

МУЗЫКАНТ

Он разговаривал с роялем –
Влюбленный в звуки,
А я внимательно смотрела
На эти руки.

Они просили и прощали
Легко и нежно,
И рай небесный обещали,
И ад кромешный.

Они летели птичьей стаей,
Неслись галопом,
Или, внезапно уставая,
Шептали что-то.

Они сражались, как солдаты
На поле брани,
И зрителей тройным легатто,
Как пленных брали.

Они бежали за надеждой,
Забыв обиды,
И останавливались между
Москвой и Ригой.

И замирали осторожно,
Прося пощады,
А после снова звуком сложным
Зал укрощали.

И пианист, немного хрупок,
Немного робок,
Вставал и кланялся, как будто
Не был пророком.

ПЕРЕШЕДШИЕ В БЛАГОДАТЬ

Как не хватает музыки душе –
Уже костел забит и ставить точку
Пора, но группами и в одиночку
На стульях, на скамейках, в шалаше
Исповедальни, кафедре, проходе
Сидят, лежат, как будто на природе,
И "до" соединяют с нотой "ре".

Как не хватает музыки душе –
А сверху, то божественно взлетая,
То падая несется звуков стая,
Поет органно вечная метель.
И по каким каналам – прямо в душу,
Не в зал, дыханьем зрительским задушенный,
Вливается – и словно оттепель.

И все едино – лица, руки, спины,
И нежный поворот на шее длинной,
И головы, закинутые вверх,
И девочка в воздушном сарафане,
Подхваченная музыкой случайной,
Смеется – и ее прекрасен смех.

Как не хватает музыки душе –
Хватает будней ей и расставаний,

Пустых вестей, сиденья на диване,
Работы ль, безработицы печать...
Прощен последний праведник вселенной,
Орган и саксофон встречают пленных –
Нет, просто перешедших в благодать.

ВРЕМЯ

Возраст – воздух
пахнет зеленой травой,
Азбукой Морзе, Моцартом,
облаком над головой,
Смело бегущим сплином,
леностью по утрам,
И журавлиным клином –
в теплую дальность стран.

Возраст – волос
тоньше от дня ко дню.
Этой таблетки остров
вовремя не приму,
Это – то слишком рано,
то до еды нельзя,
То надо птицей раненой
греться после дождя.

Возраст – выросли
дети, и сын, и дочь,
А неприлично личные
мысли – и день, и ночь,
Скачут по веткам птичьим,
видят цветные сны
И никаким приличиям
вовсе не подчинены.

Возраст – глупость,
очередной сквозняк,

Время – добыча участи,
время – на просто так,
Время – листочек клена,
Время – речной трамвай
Время – смотри влюбленно,
Взгляда не отрывай.

ГОРОДА

Есть города карлики– есть великаны,
Есть Жмеринки, есть Канны –
в одних американские горки стучат ногами,
в других – ноги собьешь об острые камни.

В одних – все времена года,
В других в шубах ходят гордо,
А в третьих – кислород отключают на лето,
Дышишь – восьмое чудо света.

Есть города – на руках носят,
Кофе в постель, прощенья просят
За все, неважно какое утро,
А в других – не замечают как будто.

Есть города – мисс года,
В фигуре точеной, в улыбке гордой,
Есть другие – глазами машут,
Не в каблуках – в тапках домашних.

Есть города, а в них реки
Лежат, смотрят, как гонит ветер
Зависть, ревность, все дни недели,
А есть другие – сидят на мели,
Читают книги, включают лампу,
Ждут не зарплату – небесную манну.

Из всех городов выбираю этот,
В нем елью и липою пахнет лето,
И тишину нарушают смело
Хрупкие крылышки бабочки белой.

И разговоры ведут непрестанно
Клены с поднятыми в небо руками.
Нет каблуков, не важны наряды
Городу с лесом и озером рядом.

Город– долой мексиканские страсти,
Город холодного неба и масти,
Город, в котором легко и смело
Слово своим занимается делом.

Я передатчик – фиксирую волны,
Им в этом городе дышится вольно.

МЕЧТА-ЦАРЕВНА

Заботы остались в придуманном рае,
Ошибка – но время ошибок не знает,
Его выбираешь неверной рукою –
Орел или решка, и платишь собою.

На волю бежишь, где трава зеленее,
На берег, на тот, где надежда белее,
Румянее, в платье из шелка и ситца,
Надежда, в которую можно влюбиться.

Бежишь или скачешь, на поезде мчишься
Туда, где царевичем или царицей
Ты станешь, конечно, а как по-другому,
Иначе зачем убегаешь из дома.

Сачок и ружье у тебя наготове,
На цыпочках, следом, дрожащей рукою

Поймать, заковать, посадить ее в клетку,
Глядишь – пред тобою сидит малолетка-

Лягушка – в зелено-болотном камзоле,
И ласково требует сдаться без боя.
Уйти за ее красотой неземною,
За это – желанье исполнит любое.

Ты сказки читал про лягушку-царевну
И знаешь, что если вести себя верно,
То можешь полцарства иметь и в придачу
Любовь, и желанья любые, на сдачу.

Лягушка, конечно, товарного вида
Совсем не имеет, но будет, как видно,
Плюешь под каблук, говоришь– был иль не был!
И смело к ее устремляешься телу.

Ты делаешь шаг – а она отступает,
Ты два – и ее очертания тают,
На третий – идешь миражом по пустыне
Не веря, что встретишь лягушку отныне.

Когда начинал, то считал себя принцем,
Принцессой, не важно, теперь уже принцип
Под спину толкает, ведет под конвоем,
Но ты все равно будешь супер-героем!

Награда – дрожит виноградной лозой,
Награда качается синим прибоем,
Награда – желанным дождем над пустыней,
И градом надежда – так будет отныне.

Опять наваждение – она у порога,
И кажется сразу короткой дорога,
Усыпанной розами и васильками,
Лягушка – царевной желанною манит.

Ты утром надеешься – днем повстречаешь,
А днем – может вечер тебя приласкает,
А ночью – хоть сон, хоть намек на движение
Проходит – и снова ее приближенья

Ты ждешь, потому, что навстречу надежда –
Березовым лесом, черемухой нежной,
Целуют тебя, и сверчок рядом с липой
Не просто стрекочет – играет на скрипке,

На струнах, настроенных на ожиданье,
На длинную розу в прозрачном стакане,
На хрупкие крылышки бабочки этой,
Порхающей в солнечном облаке лета.

Лягушка-царевна, ответ на ладони,
Лети – нет на свете тебя посторонней,
Желаннее и красивее – Жар-птица,
Лети... и ко мне не забудь возвратиться.

ГАРМОНИЯ

А гармония – это от слова гармонь,
Чтобы клавишы все, чтобы строй, чтобы тронь –
И запели четыре октавы,
Чтобы песня легла на диез и бекар,
И лежала свободно на облаках
И оттуда привет посылала.

А гармония – это потерянный рай,
Где свободен с утра и до ночи – гуляй,
Или слушай мелодию лета,
Или просто смотри, как плывут облака,
Как рисует мгновения чья-то рука
И стирает мгновения эти.

А гармония – это от слова шальва,
У меня от нее не болит голова,
А поют соловьи на рассвете.
У меня от нее – сладкий сон по ночам,
А еще теплый луч по холодным плечам –
И случайная песенка эта.

АВГУСТ

Август, густое солнце здесь,
Где это редкость, лезть местному лету.
Взаимно, хотелось сказать – дожди,
Но там, где меня ждут, они – восьмое чудо света.

Здесь – озера тишь, гладь,
Знаешь, я не люблю лгать –
Гладит северный ветер
Так, словно чулка шелк,
что мне когда-то так шел
в прежние лета.

Здесь бедра круты осин,
Как и у девушек наших пустынь –
узки запястья,
Платья и шляпки – такой стиль,
Вот бы и нам такое носить –
У каждого свое счастье.

Эта зеленая стрекоза,
Этот жучок, залезающий за
Листик в тетрадке,
Мне говорят – здесь, конечно, рай,
Только к себе его не примеряй –
Слишком уж сладко.

Ну а тебе – тишина пустынь
И беспокойного неба синь,

Солнце на завтрак.
Сад апельсиновый под окном –
Эти законные стол и твой дом,
Чем не подарок?

Так и живу я в восточном раю,
Но не восточная я, говорю –
Кто меня слышит...
Эта зеленая стрекоза,
Этот жучок и живая вода
С неба по крышам.

Ирина Маулер
“БЛИЖНЕВОСТОЧНОЕ ВРЕМЯ”

Издательство “Время”, Москва, 2012
Серия: Поэтическая библиотека

Ирина Маулер - самобытный, необычный художник слова. Краски у нее обязательно сливаются со звуками, и возникает тончайшая, проникновенная поэтическая цветомузыка. Рождаются поразительно одухотворенные стихи - отринув вечное верчение тяжких жерновов жизни, они парят над повседневностью. Творчество это очень светлое и буквально заряжено солнечным талантом автора. Книгу можно приобрести, обратившись по электронному адресу : mauler13@mail.ru

Алексей Цветков

В КАНУН ОГНЯ

* * *

на пляже тени влажные ложатся
кружат стрижи и не хотят снижаться
сто шестьдесят девятый день в году
скрипят ворота и орфей в аду

река на букву с и бессловесны
птицеподобья в тучах муляжи
животных на притворном водопое
над всеми кипарисовые свечи
пылают черным правильным огнем
и бабочки как проруби в сетчатке
стократ черней чем допускает глаз
не шелохнуть ушей бесшумной лирой
вот жители умершие из нас
и страшен всем ротвейлер троерылый

он здесь повторно раньше он имел
спецпропуск на какую-то одну
из этих нас но слабо в мелкий шрифт
вчитался и ротвейлер на контроле
вмиг завернул которую привел
тот даже с горя спел по-итальянски
стена в след упущенной добыче
в окошко тыча справку и печать
мол дескать que faró senza euridice
что дескать делать и с чего начать

нас нет никак мы созданы из вздохов
из допущений и негодований
из слез и всхлипов тех кто нами был
на елисейских выселках отныне
где так черны стрижи и кипарисы
и метит камни оловом река
там наверху зачем кадите богу
не возвратится с музыкой жених
из этой бездны где ротвейлер ногу
вздывает над надеждами живых

* * *

диспетчер погоды грозу громоздит из угла
пейзажного дня где луга в котловине положи
в полуденном поздняя небе нелепа луна
но вспученно дачный ручей оббивает пороги

он вымок до нитки в чем прошлую ночь провожал
на выдохе бег и повадка погоды опасна
вдомек ли кому осторожный народ горожан
что скоро гроза и луна в голове неотвязна

жара и природа в бобрах у запруды жива
порой парусами врасплох не расплещутся шторы
влюбиться с разбега покуда не гром из жерла
бояться спотыма и к живому невеститься чтобы

надежда напрасна что день перед устьем багров
как синтаксис песня латинский ручья прихотлива
мы дачники вечно неместные гости бобров
искатели мелкого жемчуга в ленте отлива

покуда не молния с преображенных небес
и жадное в синенький ситец обернуто око
плеснуть из сосуда за прелести летних невест
весь в трещинах воздух и в бурю без них одиноко

* * *

в просторной стране где совсем ни кола ни двора
так остро спросонок в мороз чем медлительней летом
когда за костром от росы коченеет кора
а сердце очерчено лугом и сплюснуто лесом
мы жили уже или живы тогда но не те
чьи лучшие лица повержены в гибкую воду
прозрачны заре или в хвойной светясь темноте
по локти в чернике что птиц отпускали на волю
мне пробило двадцать покуда умолк календарь
простясь с отраженьем навек обнимали друг друга
отведать награда которому мир повидал
одними губами где небо на ощупь упруго
пространство светло без вреда если время не труд
кто прибыл вперед за меня сочиняющий тут

там лето не дрогнет и сосны резные тверды
все в звездах насквозь по краям радиально ложатся
когда я навстречу лицом из крошечной воды
в которой привычно что некому мной отражаться
костром возведен симметричный порядок теней
им нет соответствий где воздух осмысленный в нише
им каждые сумерки каждое небо темней
в чернике лиловые зори но сосны все выше
откуда плывут возвратившихся птиц голоса
молчания легче как в музыке промах короткий
как млечная по небу вся эта жизнь полоса
и вся эта смерть продолженье где этот который
все пишет обратно все дышит на доску стола
но пауза только раз воздух не держит слова

* * *

когда в густом саду когда в тенистом
я вызывал тебя условным свистом
сойти к реке где нам луна светла
когда к утру мы первых птиц кормили
я ни на миг не сомневался в мире
что он таков как есть что он всегда

как мы играли там в эдеме дети
нам верилось существовать на свете
он состоял из лета и весны
какие липы нам цвели ночами
и каждый знал что завтра нет печали
наступит день где мы опять верны

теперь река за плесом половины
уходит в рукава и горловины
слепые липы угнаны в пургу
мир выстоял но уцелел не очень
дороже прежнего но так непрочен
он весь река а мы на берегу

там на холме все светит в сад веранда
я посвещу тебе моя миранда
до первых зорь пройдем в последний раз
где тени прежних птиц над нами грустно
и на глазах прокладывает русло
прекрасный новый мир уже без нас

* * *

а если я пел тирану как пленный дрозд
в тропическом сне где придворные фрукты зрели
пускай мне покажут землю где выбор прост
я пожил и в курсе какие возможны звери
даритель огня и вращатель тугих турбин
столь многое спас потому что многих убил
в долгу так давай теперь истребит тетради
не скажет неаполь ни мантия где легли
над нами лимонные корки или плевки
в голодную глину мы и наши тираны

я верил что город вечен а он мираж
но что остается в грубых руинах раем
уже неизбежно коль вышел такой ménage
à deux что на все века серебриться рядом
стремительный воздух в горло вогнал глоток

в наветренном времени прерван тот кровоток
кто в пепельных розах у роств водружен на козлы
ни царских разъять ни себе царедворских уст
угрюм у дороги в порожних глазницах бюст
а в недрах берцовые накрест допели кости

напрасно бундизий мой греческий обморок зря
так смерть обессилит что скоро ни встать ни делать
под перечень плача кого заносил в друзья
триоль элевсина и все с геликона девять
у черной царицы сезонные циклы лиц
здесь цезарь узнает месяц он или принц
молчанье течет из гортани чья ночь в печали
но девять прощайте а прелести нежных трех
куда тебе данте и будь ты хоть герман брох
пора в колдуны и луча не затмить свечами

прими перевозчик латунный обол с языка
хоть выколи тьма но булавочный глаз диода
двоится внизу или лопасть костра высока
я сам раздувал где пылает с тех пор дидона
простимся на пристани здесь присягнем сестре
вся пряжа речей обрывается в этом костре
порожняя тара в обмен на сердца и рассудки
безглазые ляжем в стеклянную пыль и траву
отныне и мне и ему остальную страну
черед населять бесконечные сутки

* * *

в сердцевине жары стеклянная вся среда
преломила в кадре прежние дни недели
получилось так что я исчезал без следа
возникали друзья но на глазах редели
в том краю где у матери было две сестры
незапамятной осенью астры в саду пестры
деревянный дом где все как одна на идиш
и дряхлела овчарка слепая на левый глаз
там теперь никого из них никого из нас
я ведь так и думал я говорил вот видишь

в том последнем стакане зноя в канун огня
нас теснило к столу и от пошла зрачки першили
я бросал без разбора любых кто любил меня
только взгляд к этим лицам лип насовсем как пришили
если быстро проснуться поверю пусть не пойму
в том краю где уже никаких сестер никому
в самом месте где астры протерта ногтем карта
деревянный день только идиш из уст немой
во дворе овчарку звали рекс или бой
я ведь знал наперед я и жил-то с низкого старта

под реховотом горьким я тебя хоронил
эти тридевять царств песок с высоты соколиной
здесь бывает северный рыхлый наш хлорофилл
не дает кислорода и слабые дышат глиной
но чтоб рано не ожили марлей подвяжут рты
треугольником сестры в острой вершине ты
по бокам ни гу-гу на иврите кто-то
если правда горнист просигналит последний миг
тот кто алчно из туч наводил на нас цифровик
отопрет свой альбом и покажет фото

под крылом опустев страна простирает огни
к некрасивому небу которое знал и бросил
не снижаясь лайнер скребет фюзеляжем о пни
если врежутся в трюм спастись не достанет весел
по бельму напоследок друга узнав во враге
я на идиш шепну подбежавшему рекс к ноге
он остался один где бельмо проступает картой
где в безлюдных лесах словно князь на тевтона рать
собирает миньян но не может никак собрать
очумевший от бездорожья кантор

новолуние

травимое сотнями псов-персеид суетливое лето
последнее в оспинах соли высокое солнце
но сворами сов оттеснит голубятня паллады

вся в ярости древком о камень вот прянули кучей
топча и терзая твое лучезарное мясо
прощай говорливые лица природы сияли
покуда не острые звезды в зрачки мы немые
отныне но голос из горл извлеченный клещами
проложен по хлябям как парус по жабры обугленным зноем
внизу у матросов цынга симптоматика смерти подробна
нас лета лишили какая ребята стояла жара

скорей в глубину лабиринта где спит напролет ариадна
под песню кондиционера пока из афин на подмогу
эксперт-дефлоратор где мальчиков чудных и девочек вмиг подрумянит
в шкварчащем фритюре разборчивый брат минотавр

потом леониды толпой леопольды и кобольды в скалах
на свой среднерусский манер подморозит рябину наутро
немного морошки с пробоиной в брюхе а если
еда ядовита она укрепляет усопшим суставы
и бабушки ближе к метро продают белену с аконитом
и болиголов мы развесили кроны над жизнью которую вместе
любили червонным и желтым горит обожженная зелень
и тело кладут в кристаллический зной словно соль золотая
от бывшего солнца и девушка в кассе протянет билетик
на наксос на наксос где спите спокойно какое хорошее лето прошло

смотри аталанта стремглав но айва отвлекает от прежних
скорбей ее папа оставил на милость а тренер
нашел на дороге и там во флориде ременнообутая мастер
смертельного спринта во рту елисейского привкуса спирт

нам совестно мерзнуть поскольку скончавшимся нечем
но жив пионерский инстинкт разведения костра если снежная буря
завистники льда и огня мы лишь тени
других дикарей и ни мамонта больше в ущелье ни лишнего лем-
минга в тундре
которых тогда увели за собой здесь под настом когда-то
пылала эллада и боги любили свое ремесло и его образцы мы и
есть эти боги

сошедшие с призрачных круч бестелесные тени творенья
но чирк зажигалкой и тьма запылает черней с лучезарной
сестрой отступи за звенящий торос но не вспомнить зачем отступили
прощай как нам стыдно что не было лета

горит андромеда во мраке великая вульва
вселенной сочащая бред изнутри но подернуты люрексом лунным
рамена из персей на всех персеиды как псы чья горячая пасть настагает
и топит в крови замерзающий кадр

Яков Шехтер

«ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ КУМРАНСКОГО УЧИТЕЛЯ»

Роман в трех частях. Книга первая «Поцелуй Большого Змея».
Издательство «Время» Москва.

В руки писателя при экстраординарных обстоятельствах попадает старинный дневник. За дневником охотится некая тайная организация. Но остро-детективную интригу наших дней совершенно затмевают те события, что произошли, по всей видимости, два тысячелетия тому назад. Герой романа, автор дневника, юноша необычайных способностей, приходит в обитель кудесников, живущих в подземельях на берегу Мертвого моря. Похоже, что он - тот, кто впоследствии станет основателем одной из главных религий мира...

«Книга Якова Шехтера – это Гарри Поттер для взрослых».
Алексей Самойлов

София Бронштейн

НАВЕРНОЕ, Я ОСЕНЬЮ УМРУ...

В ноябре 2017 года ушла из жизни София Бронштейн.

Уроженка Крыма, она сохраняет в своих стихах его живописно-яркую природу. Кажется, особенно её тянет изображать осень, а изобразив – поддаваться её власти, иногда как бы пугаясь изображённого:

Чьи призраки в заброшенном саду

Шуршат по палым листьям залежалым?

А небольшое стихотворение «ЭТЮД» исполнено неизвестно откуда взявшейся пророчески-тревожной силы. И кажется: если уж писать о природе, то – вот так.

А если «о дружбе и любви»? ... Ну, тут наша поэтесса даёт немало образцов, вот хотя бы «РУЧЕЕК» и «ЧАЕВНИК».

С.Бронштейн училась на филфаке, преподавала русский язык и литературу. Эта литературная закалка чувствуется в стихах. Возьмём, например, «ЧАУ-ЧАУ...» – его можно считать переложением чеховского рассказа: дама с собачкой, увиденные глазами ... нет, не Гурова, а «учёного» кота.

Здесь, конечно, надо отметить иронию, свойственную многим стихам поэта. Иронию, расширяющую изобразительные возможности (дающую обзор с дополнительных точек зрения) и – никогда не бывающую злой.

Читателям, пожелавшим больше узнать о стихах Софии Бронштейн (многие из них, положенные на музыку, стали песнями), мы советуем заглянуть в виртуальный журнал «Самиздат», содержащий все пять её прижизненных сборников: http://samlib.ru/b/bronshtejn_s/

Дорогу осилит идущий. Удачи смелым!

А пока – краткая подборка.

Илья Корман

ЭТЮД

Держи меня крепче за руку.
Неярким огнем горя,
Уже надвигается с запада
Воинство ноября.
И неудержима конница
Последних его ветров,
Что грудой смела за околицу
Убранство деревьев и кустов.
На полосу цвета хаки
Мертвой уже травы
Залягут в сугробы вояки –
Пехота грядущей зимы...

РУЧЕЕК

Журчит ворчливый ручеек
За поворотом.
Давай попьем с тобой чаек
Да с бергамотом.
Жужжит июньская пчела
Над майским медом,
Снует проворная игла –
Халатик смётан.
Его я завтра застрочу,
Пришью оборку
И по воду схожу к ручью
За дом под горку.
И ты придешь ко мне на днях
Под вечер снова,
И встречу я тебя в дверях
В своей обнове.
И в чашки с розами налью
Отвар душистый,
Льняную скатерть постелю
На столик чистый,
И снова чаю вскипачу,

Глотну глоточек.
Тебе понравиться хочу
Я очень-очень.

ЧАЕВНИК

Я умер в прошлый понедельник
От горя и тоски. Во сне,
Когда вечерний бриз-бездельник
Задержнул шторы на окне.

Я так Вас ждал на чай в субботу,
Купил пирожное буше
И в чай добавил бергамоту,
Что Вам особо по душе.

И в воскресенье не пришли Вы,
А я так ждал, я был так рад,
Но трюфеля и джем из сливы
Свой потеряли аромат.

Тогда я взял себе и умер.
Зачем мне жить в такой тоске?
А мерзкий телефонный зуммер
Жужжал, как муха на виске.

Пришла молочница во вторник,
Я ей, конечно, не открыл.
Соседский кот, подлец проворный,
Сметану на крыльце разлил

И, наливавшись до отвала,
Кот вышел, видимо, в астрал.
А я лежу, мне горя мало,
Я умер, я же вам сказал.

Была жара, сметана скисла,
Полночный приближался час,

И жизнь, и смерть лишились смысла,
Но тут пришло письмо от Вас,

Что приглашаете к обеду,
Что будете скучать и ждать...
Придется мне воскреснуть в среду,
Я не могу Вам отказать.

ЧАУ-ЧАУ, или БАЛЛАДА ЛИСТОПАДА

Хаиму Хулину

В осеннем парке листопадная метелица,
И сквозь нее неторопливо-величавая,
На поводке ведет законная владелица
Свою мохнатую собаку чау-чау.

Хозяйка, как Вы хороши, поверьте слову,
Вы неприступны, словно княжество удельное,
И чау-чау языком своим лиловым
Вам лижет руки от восторга беспредельного.

Я под вуалью Ваших глаз не различаю,
Но уловив движение рук в перчатках палевых,
Я захотел вдруг стать собакой чау-чау,
Чтобы меня по холке изредка трепали Вы.

У Вас походка и осанка благородная,
Но если я не стою Вашего доверия,
То тут же сдохну я дворняжкой беспородною,
Как рано вымершая рыба латимерия.

Мы в этой жизни все прохожие случайные,
А наша встреча – Божья милость беспредельная,
И понял я простую истину печальную,
Что наши судьбы, как аллеи – параллельные.

Так много листьев, даже ветру не убрать их,
Сквозь листопад я Вас почти уже не вижу.
Я Вас люблю сильнее, чем сорок тысяч братьев,
А чау-чау Вашу просто ненавижу.

Так безответно и умрет любовь безгрешная –
Я не признаюсь сам, а Вы меня не спросите,
Вы не заметите страдальца безутешного
И, проходя, "кис-кис" небрежно мне не бросите.

Горят листвою золотой кусты нарядные,
Как будто пестрых угольков в костер подбросили.
И рыжий кот глядит глазами виноградными
Во след любви своей, что канет в недрах осени.

НАВЕРНОЕ, Я ОСЕНЬЮ УМРУ

Наверное, я осенью умру
С последним поседелым георгином.
На утреннем пронзительном ветру
Ничейная меня отвоет псина,

И поздних яблок редкий перестук
По крытой новой черепицей крыше,
Наверно, будет тот последний звук,
Который в этой жизни я услышу.

ОСЕНЬ КЛЕНЫ ЗАПАЛИЛА

Осень клены запалила в опустелом парке старом
И под ноги нам швырнула горсти листьев золотых.
Ей не жалко – все богатства раздает нам осень даром,
Как поэт в толпу горланит свой последний лучший стих.

Осень – дерзкая девчонка и чванливая эстетка,
Улетевших птиц проводит маленьким дождем.
Вслед помашет полуголой, но еще изящной веткой,
Ни о ком скучать не будет

И мгновенно позабудет,
Так и нас она забудет, если мы уйдем.

Воробьям насыплю крошек в их кормушку под окошко,
И зерно с водой поставлю в блюдцах разных.
Пусть хотя бы гомон птичий оживит мой дом немножко,
Пусть у птиц беспечных будет нынче праздник.

Воробьи перезимуют на ветвях застылых кленов,
Осень просто их оставит ледяной зиме.
Может быть, дождусь я с ними первых листиков зеленых,
Если нет, хотя бы птахи пожалеют обо мне.

Илья Марков

Запыленный луноход
В кратере глубоком
Ищет на небе восход
Одиноким оком.

Но уже который год,
Как вино во фляге,
Только черный небосвод
Видится бедняге.

* * *

Пирожки с яйцом и луком,
Шанежки с картошкой.
Между бабушкой и внуком
Близкая дорожка.

Что легло, не огрубело,
Выросла основа,
Прямо скажем, было дело,
Появилось слово...

* * *

Мой кот на восьми языках говорит,
Он знает английский, испанский, иврит,
Он шарит в турецком, владеет фарси,
Пропеть по-французски он может – Муурси,
Когда он в блаженстве прищурит глаза,
Он МЯ по-японски способен сказать.
А если уж кошку заметит в окне,
Мяо по-удмуртски выходит вполне.

Мой кот на восьми языках говорит,
И только по-русски упрямо молчит...

* * *

Там дорога, тут кусты,
Здесь конец бордюра,
Я собака поводырь
И совсем не дура.

С лаем не несусь вперед,
Если мне нейдет,
Ведь хозяин упадет,
Если вдруг запнется.

Пусть внутри я егоза,
Но характер прячу.
Я хозяина глаза,
Лишь со мной он зрячий!

* * *

Не робей,
Воробей,
Подходи к ладошке.
Я припас
В ней запас:
Зернышки и крошки.

Ты поклюй,
Поскачи
И лети с порога...
Нет для смерти причин.
А для жизни — много!

* * *

Кто хоть однажды капитаном
Стоял под мачтой корабля,
Тому известно, скольким планам
Дано разбиться за туманом
О возглас радостный — Земля!

Как уцелеть среди стихии –
Извечный жизненный вопрос,
Что задают в года лихие –
К чужим стенаниям глухие –
И кок, и боцман, и матрос.

Не угадать за поворотом,
Каким высоким будет вал,
Но всем плывущим по широтам,
Скрипеть зубами, пахнуть потом
И яростно сжимать штурвал...

* * *

У моей подружки
На лице веснушки,
Точно позолота –
Тонкая работа.
Думал я вначале,
Что она в печали
От такой напасти
На заметной части.

Но потом напротив
Понял, что не против
Милая подружка –
Предъявлять веснушки.
Что повсюду в доме
Свет не экономит,
И лежат веснушки
Даже на подушке!

* * *

Пассажирский лифт – трудяга:
Бизнесмен или бродяга
Призовут его на помощь,
Будь то утром или в полночь,
Он тотчас придет на вызов
Или сверху или снизу.

Он всегда в себе уверен,
Методичен и размерен,
И скрывает так искусно
В шахте спрятанные чувства,
Что никто не замечает,
Как ночами он скучает.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»:

Павел АМНУЭЛЬ	«ДОРОГА НА ЭЛИНОР»
Марьян БЕЛЕНЬКИЙ	«ЧЕМ ВАМ НЕ КНИГА?»
Владимир ГОПМАН	«ЛЮБИЛ ЛИ ФАНТАСТИКУ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ»
Таня ГРИНФЕЛЬД	«КВЕСТ»
Таня ГРИНФЕЛЬД	«ЭСКИЗ»

**ЗАКАЗАТЬ КНИГИ (БУМАЖНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ)
МОЖНО ПО АДРЕСУ:**

<http://litgraf.com/shop.html?shop=1>

Дмитрий Стровский

БУКЕТИК ЦВЕТОВ

* * *

Не могу отделять то, что было со мною когда-то,
И другого, по сути, в себе ощущать человека...
Не хочу воспринять лишь за то я себя виноватым,
Что к Израилю шел я нелегкой дорогой в полвека.

Говорят мне, что стоило раньше порвать все канаты,
Что искать было де в нашей смутной и странной России,
И, наверное, в том я кажусь здесь сейчас виноватый,
Что не там ожидал долгожданного людям Мессию.

Но принять эту истину – значит, отречься навечно
От того, что тебя окружало по жизни полвека.
Пусть мой путь был иной – не во всем совершенный и млечный,
Но оставил во мне он зигзаги меня – человека.

Мы выносим себя из тяжелых оков и осколков,
Не всегда понимая, что правда и блеф в этом мире.
Я признаюсь: природу еврейства не чувствовал тонко,
Когда жил вместе с мамой и папой в советской квартире.

Что мне чувствовать там, и куда было мне прислониться,
Если в доме утрачена связь изначальная с Торой,
И душа не могла, не имела возможность трудиться,
Обрекая себя на пустые подчас разговоры.
Что себя укорять – в этом прожито было немало,
Не Всевышний я, чтобы мне знать, для чего буду годен.

Мир такой, какой мы создаем от родного причала,
Но бывает, меняется он, когда время приходит.

Я не в силах забыть то, что было со мною в той жизни,
Хотя мысли о нынешнем очень меня беспокоят.
Но в Израиле, верю, Всевышний меня не отринет,
И составит со мной разговор – тот, что нужен обоим.

* * *

Жарко, как в бане: восточное солнце палит.
Воздух недвижимый – словно хрустально-зеркальный.
Мне бы забиться сейчас в одинокий вагон односпальный,
Тот, что от внешнего мира листвою закрыт.

Мне бы раскрыть чуть потрепанный томик стихов.
Тот, что на полке родительской где-то остался.
Вроде, казалось, он очень давно потерялся,
Как потерялся оставленный где-то букетик цветов...

Мне бы увидеть родных, чтобы вновь с ними сесть.
Выпить по рюмке и сызнава вспомнить о прежнем.
И не судить никого, кто хороший и кто безнадежный,
И помолчать, ведь молчание лучше, чем лесть.

Мне бы отбросить назад этак лет сорок пять,
И превратиться в мальчишку нескладного, в чем-то смешного.
Чтоб обрести и прожить снова пережитое,
С бабушкой к речке сходить, чтобы вместе опять.

Время бежит так стремительно – что тут сказать...
Разве я думал о солнце тогда, что палит бесконечно,
Прежняя жизнь нынче выглядит слишком беспечной,
Жизнь эту, кажется, можно на откуп отдать...

Жарко, как в бане, несносное солнце палит,
Тихо на улице – будто шаббат внеурочный.
Чувства воскреснут из памяти зримо и точно.
Жаль только сердце при этом немного щемит...

Максим Ненарокомов

СОСНЫ ВЫШЛИ ИЗ БЕРЕГОВ

* * *

Я спать не могу –
Так кости хрустят
Сослепу.
Как будто по снегу
В гости иду
По остьям я.

Кому меня ждать?
Пироги накрывать тряпкою.
И гнать самогон,
Заговаривать гать украдкою?

Кому меня ждать?
Для чего? А потом опомниться.
Я умница тать, а тебе не спалось –
Бессонница.

Я так и приду –
Пятки выставлю в сукровице,
Жесткие, желтые,
Как в меду луковицы.

И ты, укатав меня
Исподволь в теплые простыни,
Оставишь говеть мой усохший костяк
В росстани.

Самой поутру
До рассвета придет сомнение –
Насколько я вру,
Может полока скрип – знамение.

Гони меня вон,
Ограни меня в тон
Света.
Когда-то, наверное,
Я был влюблен.
Помню это.

* * *

Нет воздуха, нет,
Есть пространство,
Бездонное сонное пьянство.
Когда ты выходишь наружу,
И вдруг понимаешь – завьюжен,
Зима.
Было позднее лето.
Ты бегал за водкой раздетым.
Ты жил, задыхался травой,
Цветным разудалым разбоем
Соцветий, теперь уходящих.
И чаще дышал, много чаще.
Теперь это только пространство,
И в нем – потускневшее чванство,
И в нем – потускневшее тело,
И цель, куда жизнь улетела.

* * *

Сосны вышли из берегов!
Персонажам покинуть пристань!
Нить игольчатых узелков
Перетерлась, и мне не выстоять.

И теперь я пойду с отцом
По глухой земле Сартовалла,

Топну ветки тупым концом,
Вызывая гул из подвала

Пустоты, что под нами ждет,
Пока мы, прошуршав в иголках,
Переходим из года в год
В пропотевших уже футболках.

Я сегодня иду с тобой
Слушать стоны и скрипы сосен.
И воздушную их корой
Золотить эту злую осень.

Мы, присевшие на бревно,
Мы, гуляющие по пляжу.
Сосны смотрят. И все равно
Мы уже не боимся даже.

Всюду скрип. Всюду этот звук,
Плотный ворох мягкости игл,
И стволов бессловесный круг.
Я отсюда уже не выйду.

Я теперь обречен вдыхать
Доски, скрытые под землю,
Мачты горестно обнимать
И прислушиваться к прибою.

* * *

ПАПЕ

Мягко и тихо, с тревожной попыткой любви
Шествуют граждане по непорочному снегу.
Снег он по крОви, по крОви,
А не на крови,
Снег охлаждает и землю, и доски, и негу.

Плюнуть в белое бронзовой теплой слюной,
Кровью табачной топить в нем кротовые дыры.
Но и травы неустойчивый рой корневой
Не доползет до твоей неуютной квартиры.

Снег, он веками по векам метет и летит,
Снег – это мягкие выдохи снизу лежащих,
Парус, укутавший мой зеленеющий Крит.
Вещие сны наяву не касаются спящих.

БРИНС АРНАТ

Новый исторический роман
Марии Шенбрунн-Амор,
автора бестселлера «Железные франки»,
лауреата золотой премии Terra Incognita,
посвященный борьбе Иерусалимского королевства
с исламским миром
в продаже в бумажном и электронном виде

На сайте книги
ridero.ru/books/brins_arnat/
отзывы,
видеотрейлер,
сведения об авторе,
о героях, их исторических прототипах
и многое другое

Давид Маркиш

КИНЖАЛ ДЛЯ ЭЙЗЕНХАУЭРА

Начну с ответственного предуведомления: речь пойдёт не о 34-м президенте Соединённых Штатов Дуайте Дэвиде Эйзенхауэре, а о его внуке-подростке.

Так сложилось и сплелось, что государственные отношения между США и СССР никогда – за исключением редчайших перерывов – не складывались безоблачно. Что тому причиной – вопрос интереснейший; стоит над ним поразмыслить и даже написать об этом в книжке, но в другой – не в этой...

Помнится, для сглаживания заусениц и установления сердечной дружбы между народами важные чиновники, начиная с первых лиц, ездили друг к другу в гости: одни «за бугор», другие в Москву. А собираясь в гости – хоть дипломатические, хоть на рюмку водки под студень – надобно приготовить подарочки: так заведено от начала времён, и это работает. Чего только ни возили важные люди в дар другим важным людям: в давние времена драгоценные меха и золотую парчу, пряности, самоцветы в оправе и без. Прусский король Фридрих Вильгельм подарил Петру Первому янтарную комнату. Президент Кеннеди подарил Папе римскому чучело птицы-сойки. Дарение президентом Дональдом Трампом птицы-сойки президенту Владимиру Путину можно себе представить, но с трудом... Нынче другие времена, иные подарки.

Летом 1959 года в Москве готовили визит Генерального секретаря Никиты Хрущёва в Америку; он собрался в гости к президенту Дуайту Эйзенхауэру. Управление делами Генсека перетрясало всю страну в поисках подарков, способных приятно удивить американца. Что, в конце концов, Никита повёз Дуайту? Что надо, то

и повёз: может, яйцо Фаберже, может, подкованную железную блоху из спецхрана – кто знает; это государственная тайна, совершенный секрет. Молчок, дамы и господа!

Так или иначе, в середине лета 59-го мне позвонила Мария (Манаба) Магомедова и сказала:

– Давид, с вами свяжутся из канцелярии Хрущёва, попросят детский кинжал. Отдайте! Я вам сделаю другой.

Для тех, кто не знает или забыл: «Манаба Омаровна Магомедова (511.1928 – 10.3.2013) – известный художник по металлу. Член Союза художников СССР и России (1960), народный художник Дагестана (1978), заслуженный художник Российской Федерации (2003).

Восхищённый творчеством художницы, Расул Гамзатов писал о ней: «Невозможно вообразить, что её почти детские руки ковали и жгли металл. В созданных ею произведениях я вижу поэтическую мечту о совершенной красоте».

Вот чей телефонный звонок раздался в моей московской квартире в середине лета. С чудесной этой Марией я познакомился двумя годами раньше, в Тбилиси, куда меня пригласили переводить грузинских поэтов – шла подготовка к Декаде грузинской литературы и искусства в Москве. Это была первая моя серьёзная литературная работа; мне было девятнадцать лет, я с утра до ночи просиживал за письменным столом в писательском доме творчества Квишхети близ Тбилиси, и первые две мои книжки поэтических переводов вышли в тбилисском издательстве «Заря Востока» в том же году.

В Доме творчества было полным-полно писателей, и они там жили, как сказала бы Белла Ахмадулина, «весело и шибко». По вечерам мы приходили посидеть за вином в духан «Монте-Карло», названный так вовсе не в честь экзотического княжества, а в знак уважения к знаменитому поэту Карло Каладзе, проведшему в Квишхети немало времени и выпившему в этом духане немало вина... Я уже заканчивал работу, через неделю-другую собирался возвращаться в Москву и раздумывал над тем, какие подарки привезти из Грузии моей маме и любимой девушке. Кто-то из моих бывалых собутыльников посоветовал связаться с Марией Магомедовой – она делает красивейшие ювелирные украшения: кольца, броши, браслеты. И это было как раз то, что мне нужно.

Найти в Тбилиси Марию Магомедову оказалось не сложно. Её жилище напоминало одновременно и мастерскую, и музей. На рабочем столе были разложены какие-то молоточки, резцы и напильники, щипчики, кусачки и газовые горелки – много чего. А на витринной полке, обтянутой вишнёвым бархатом, красовались те самые броши, браслеты и сказочно прекрасный кинжал, напоминавший по форме стремительную форель – обительницу горных кавказских ручьёв.

Сухоньякая и маленькая хозяйка этого удивительного жилища, Мария Магомедова представляла пятое поколение кубачинских злато-кузнецов. Там, в прославившемся своими мастерами-ювелирами крохотном дагестанском ауле Кубачи, жили из поколения в поколение предки Манабы Магомедовой, оттачивая своё прекрасное искусство, получившее в Большом мире имя «кубачинская чернь по серебру». Мария-Манаба была первой женщиной в этом ряду: до неё злато-кузнечество считалось в Кубачах сугубо мужским занятием.

Разглядывая великолепные вещицы на крытой бархатом полке, я глаз не мог отвести от кинжала в серебряных, украшенных чернью ножнах, с рукоятью, увенчанной головой леопарда с оскаленной пастью. Дело в том, что я со страстью, присущей молодости, коллекционировал холодное оружие; к двадцати годам у меня набралось полтора десятка ножей, некоторые из них заслуживали внимания знатоков и ценителей. Открывала мою коллекцию финка-самоделка, привезённая из казахстанской ссылки, где я провёл не самое приятное время моего отрочества. Клинок этой финки, выточенный из рессорной стали, отличался разбойной грубостью, зато рукоятка была собрана из разноцветных черенков зубных щёток («наборная ручка»), и такая дикая пестрота радовала глаз. Со временем моё собрание пополнится: мой друг Женья Солонович, знаменитый переводчик Петрарки, подарит мне самый что ни на есть настоящий нож сицилийских мафиози – нежный по форме и кровавый по сути, а вскоре после этого я раздобуду в Ашхабаде звезду моей коллекции – незатейливый ножик с клинком дамаскской стали. Этот клинок, покрытый строгим узором, был частью сабли, неведомыми путями попавшей в Ашхабад. Продавать её целиком показалось владельцам опасной затеей – за торговлю оружием, хоть дамасским, хоть каким, советская

власть посадила бы годков на семь-восемь. Поэтому саблю распилили на четыре части, и из этих частей изготовили ножи, отчасти похожие на национальные «пчаки». Рукоять моего пчака была выточена из двух долек прозрачной пластмассы, меж которыми мастер поместил рукописную бумажку со стихами из Корана.

Теперь становится ясно, почему я с таким вожделением глядел на серебряный кинжал Марии Магомедовой. Я хотел его заполучить, и немедленно.

Узнав о моей кинжальной страсти, Мария достала из ящика стола совсем маленький, словно бы игрушечный кинжальчик размером с ладонь.

– Это детский, – сказала Мария. – Для мальчика.

Клинок детского кинжала был хоть и коротеньким, но совсем не детским – воспользоваться им по назначению и кого-нибудь резать не составило бы большого труда. Серебряные с золотыми накладками и чернью ножны лучились суровым благородством, а рукоять из слоновой кости, рассчитанная на маленький кулачок, была увита золотыми нитями. Я держал это расчудесное чудо в руке, испытывая чувство, которое хорошо знакомо охотничьей собаке, когда она выходит на дичь. Мне было ясно, что и без этого кинжальчика я отсюда не уйду.

Так оно и вышло. Я расстался с Марией Магомедовой, унося с собой оба кинжала, браслет и брошь. Взаимная симпатия сохранилась меж нами на долгие годы: мне посчастливилось встречаться с ней неоднократно, в последний раз я был у неё в Тбилиси, в её квартире-мастерской, в 2011 году, за два года до её смерти.

А теперь вернёмся к телефонному звонку Марии летом 59-го года: «Давид, с вами свяжутся из канцелярии Хрущёва, попросят детский кинжал. Отдайте! Я вам сделаю другой».

Назавтра, действительно, позвонили из кремлёвского Управления делами и сказали, что приедут за неназванным «изделием Манабы Магомедовой» прямо сейчас. Кто помнят те сумрачные времена, знают очень хорошо, что вступать с кремлёвскими гонцами в спор о часе их экстренного набега или, тем более, о самом его предмете, означало бы безусловное проявление клинического безумия. Итак, я согласился, не мешкая, и опустил телефонную трубку на рычаг. Ждать оставалось недолго.

Явились трое вежливых молодцов в одинаковых чёрных костюмах. Трое! Как будто не детский кинжал они собирались у меня изымать, а тащить рояль с пятого этажа. Мой кинжальчик они уложили в портфель, и один из этой тройки сообщил мне доверительным тоном, как будто я имел допуск к этой, несомненно секретной, операции:

– Этот ножичек Никита Сергеевич подарит внуку Эйзенхауэра. Можете гордиться!

Я хотел было попросить выдать мне расписку: получен, дескать, от такого-то, кинжал кубачинский, работы Марии Магомедовой, число такое-то, год такой-то. Но потом передумал: раз сами не дают, значит, никакие просьбы тут не помогут, а неприятности могут приключиться... Разрешив мне гордиться, тройка молодцов удалилась так же таинственно, как и явилась.

Всё скрытое и тайное становится со временем явным и гласным. Ну, почти всё... Сундук с секретами имеет обыкновение раньше или позже рассыхаться и разваливаться. Прошло время, и из-за океана дотекли слухи, что детский кинжал благополучно нашёл своего адресата и был принят с благодарностью. Конечно, с благодарностью: какому мальчишке такой роскошный подарок пришёлся бы не по вкусу! А поспособствовало ли «изделие» Марии дружбе между народами – вот это вряд ли: непредвиденные обстоятельства свалились на головы этих самых народов и всё испортили. Впрочем, если, и вправду, красота спасёт мир, то, может быть, прекрасный кубачинский кинжальчик ещё сыграет свою роль второго плана в грустном спектакле, разыгрываемом по обе стороны Атлантического океана.

Судьба второго серебряного кинжала, похожего на горную фелю, тоже получила своё развитие. В самом начале 60-х годов прошлого века я подарил его, по просьбе друга моей юности Ильи Глазунова, молодому итальянскому слависту с большим будущим Витторио Страде. Витторио был очарован подарком. Можно его понять: я бы тоже очень обрадовался, если кто-нибудь надумал подарить мне такой кинжал... Во всяком случае, кинжал работы Марии Магомедовой, по словам жены Витторио – русской женщины Клары, по сей день украшает письменный стол профессора Страды в его венецианском доме.

И это ещё не всё. Многие десятки «изделий» кубачинки Марии-Манабы Магомедовой, включая и холодное оружие, бережно хранятся в музеях разных стран и в частных коллекциях тех, кому посчастливилось их раздобыть.

КТО УБЬЁТ БАРСА?

Среди моих друзей-приятелей встречалось немало людей необыкновенных профессий: астрофизик, цирковой силач, женщина-каучук. Самым любимым из этого славного ряда был памирский охотник-барсолов Кадам Кудайназаров. Как-то раз мы ехали с ним верхом на лошадях по улице высокогорного кишлака Дараут-Курган, что в Алайской долине. Дараут, надо сказать, довольно-таки безрадостное поселение, название которого, по уверениям местных людей, означает в переводе «Быстрее проходи мимо». Дело тут в том, что когда-то, во времена оны, в Дарауте гнездились свирепые разбойники, и путнику, желавшему дожить до завтрашнего утра, стоило миновать кишлак без задержки, лучше вскачь.

Близ входа в продуктовый магазин, куда мы с Кадамом направляли ход наших коней, сидел на земле, на подстилочке, узбек и торговал яблоками поштучно. В магазине можно было купить керосин, свинцовую дробь и порох для снаряжения охотничьих патронов, конфеты «подушечка», водку, консервы «Мясо кита с горохом»; много чего, полезного для жизни. Яблок в магазине не видали никогда – на памирском высокогорье они не росли, а налаженно их везти в эту глухомань из сладких узбекских долин торговому начальству в голову не приходило. Другое дело – инициативные торговцы-одиночки: они изредка наезжали в Дараут из низин с мешком яблок и, сидя у дверей магазина, распродавали свой товар за хорошие деньги, быстро и без помех: яблочки для детей были ещё лучше, чем конфеты «подушечка» с муравьями в начинке.

– Гляди! – сказал я Кадаму с радостным удивлением, как будто узбек не яблоки разложил на земле перед собой, а ананасы. – Яблоки!

Кадам взглянул на узбека мельком и сказал:

– Если все будет торговать яблоками, кто же убьёт барса?

Эта фраза запомнилась мне, и я вставил её, как она есть, в роман «Кадам, убивший сороку». Её, и ещё одну – о том, что снежный барс никогда не смотрит под ноги, а только вперёд, и поэтому попадает ногой в капкан, поставленный охотником на повороте тропы – прочитал в этом романе замечательный грузинский актёр, мой друг и товарищ Нико Гомелаури. Прочитал и запомнил, и, вместе со своей женой Нинкой, преподнёс мне замечательный памятный подарок, куда более приятный, чем нищенский издательский гонорар: перстень с золотой головой барса, с зелёными изумрудинками глаз.

Так вот, если б не Кадам, не случиться бы всей этой истории.

3 ноября 1972 года, после двухлетних мытарств и неприятностей отказа, моя мать и я получили, наконец, разрешение властей на выезд в Израиль на постоянное жительство. Тут уместно привести выписку из документа, хранящегося в архиве А.Яковлева:

«Комитет Госбезопасности располагает данными о том, что некоторая часть еврейской интеллигенции из числа искусствоведов и литераторов использовала вечера памяти Переца Маркиша и Льва Квитко для демагогических и идеологически незрелых выступлений. В большинстве из них говорилось о трагической гибели талантливых еврейских поэтов, о невозместимой утрате, которую понесла наша литература в лице Маркиша и Квитко. Проводилась аналогия их гибели с убийством свободолюбивых поэтов в период царизма и средневековья...» Возмутило руководителей госбезопасности выступление на вечере Переца Маркиша 8 декабря 1965 года поэта и переводчика Арсения Тарковского, который заявил, что «во все времена убивали мыслящих поэтов. Жертвами произвола пали испанский поэт Гарсия Лорка, Лермонтов и Маркиш». Не понравилось и высказывание сына Переца Маркиша – поэта и переводчика Давида Маркиша, который «прочитал стихи, посвящённые памяти отца, в которых говорилось о том, что в нашей действительности «учёные и поэты не умирают в своих постелях». В его стихах «время до 1953 года сравнивалось со временем средневековья и мракобесия»... Несколько иначе поступили с вдовой известного еврейского поэта Переца Маркиша – Э.Лазебниковой и его сыном Д.Маркишем. Тот же Андропов в апреле 1971 года сообщил в ЦК о том, что они подали документы на выезд в Израиль и что в случае отказа намерены обратиться с

жалобой в Совет Министров СССР и другие инстанции. В связи с этим Юрий Владимирович предложил ЦК: «Учитывая личность П.Маркиша (расстрелянного в своё время. —В.Л.) и его значение в развитии еврейской литературы, было бы нецелесообразным разрешать его ближайшим родственникам выезд в Израиль...»

Рекомендация Андропова, к счастью, не сработала: под болезненным давлением западных политических лидеров на кремлёвские власти разрешение на выезд было получено, и нам дали целых четыре дня на сборы, включая выходной. Нас предупредили со всей строгостью: если не уложимся в отведённый срок, нас ждут крупные неприятности... Уже в Израиле я узнал доподлинную причину такой спешки: на следующий день после отведённых нам четырёх выпадал главный советский праздник — 7 ноября, и власти тревожились о том, что мы с мамой устроим пикет или объявим голодовку в 55-ю годовщину большевистского переворота. Так что казавшаяся голым произволом спешка имела под собой веское основание... Источником этой интересной информации послужил посвящённый во многие тайны советского режима «журналист по специальным поручениям» Виктор Луи; в этом случае у меня нет оснований ему не доверять.

На исходе четвёртого дня подготовки к отъезду, как говорится, «под занавес», я явился за полчаса до закрытия в зал таможенного досмотра, специально отведённый для евреев, выезжающих в Израиль на ПМЖ. Это было последнее, завершающее дело перед отъездом. Все формальности были уже позади: в домоуправлении получена липовая (оплаченная) справка с печатью о якобы проделанном в связи с отъездом ремонте наших двух комнат в коммуналке, собраны квитанции об уплате «жировок» — за квартиру, за свет, за газ, за воду. После недолгого препирательства в военкомате я снялся с воинского учёта. Мосты были сожжены, оставалось только отвезти на таможенную сколоченный из досок ящик с багажом, размером с гроб, и наутро улететь в Вену, а оттуда в Тель-Авив (прямые рейсы из Москвы тогда ещё не проложили).

Без двадцати пять вечера я стоял у ворот вокзальной таможни, оборудованной в пакгаузе и задней своей стенкой выходившей на железнодорожные пути; туда можно было подогнать грузовые товарные вагоны. Ворота были задвинуты и заперты изнутри. Я по-

стучал – сначала костяшками пальцев, потом кулаком. Ворота приотворились, в проёме стояла низкорослая кряжистая тётка в сером халате и головном платке, повязанном под подбородком.

– Закрыто! – объявила эта тётка, придерживая створку ворот сильной рукой. – Завтра приезжай.

Объяснять ей, что завтра ранним утром я улетаю, было пустой тратой времени. Поэтому, сунув ногу в щель между створкой и опорным столбом, я сказал голосом свежим и чистым, почти пропел:

– Вчера мой товарищ у тебя двадцать пять рублей занял, велел тебе отдать. Вот, держи!

Тётка стремительно приняла купюру и отворила ворота:

– Давай, заноси! – И, кивнув на ящик, обернулась и позвала из полутёмного зала за её спиной: – Эй, Витёк!

Витёк, в таком же сером халате, что и тётка, пришёл и без лишних разговоров помог мне втащить мой ящик в таможенный зал. Этот Витёк спешил: я оторвал его от приятного дела – в зале трое таможенников мирно выпивали, сидя на одном из десятка багажных ящиков, больших и поменьше, беспорядочно расставленных на бетонном полу пакгауза.

Не успел Витёк присоединиться к своим отдыхающим коллегам, как, выйдя из какого-то закутка, в зале появился начальник таможни – мужчина лет тридцати с медальным лицом, высокий и ладно скроенный. Из-под его служебного халата выглядывали офицерские хромовые сапоги. Быстро, но внимательно проглядев мои бумажки-сопроводилки на отправку ящика за рубеж, он оборотился к отдыхающим таможенникам и приказал:

– Этот ящик! Досмотреть! – И, взглянув на наручные часы, добавил, нацелив в меня палец: – Он последний. Больше никого не пускать! – И остался, наблюдая, стоять на своём месте, а я – на своём, в сторонке.

С ящика быстренько содрали крышку, и все четверо, сгрудившись, запустили в него руки и принялись шуровать. Это сильно смахивало на обыск: из чрева ящика полетели на пол увязанные в стопки книги, кухонная утварь, старинный медный самовар, спасённый от конфискации ковёр из отцовского кабинета. Наконец, появилась на свет барсова шкура.

– Снежный барс! – удивлённо вымолвил начальник. – Запрещено к вывозу!

– Запрещено шкуру вывозить, – проявил я знание таможенных правил. – А если шкура на подкладке – это уже будет меховое изделие; мой барс на подкладке, сами видите.

– А где ты его взял, этого барса? – не скрывая ехидства, спросил начальник.

– Поймал, – я ответил.

– В какой это комиссионке ты его поймал? – продолжал он ехидствовать.

В ответ я достал из кармана бумагу с печатью и молча протянул начальнику.

«Без права передачи другим лицам. Государственная инспекция по охоте, – держа документ на отлёте, негромкой скороговоркой читал начальник. – Лицензионное удостоверение номер шестьдесят пять. Выдано Маркиш Д.П. Разрешается отстрелять следующие виды диких зверей: двух козерогов-теке... и отловить одного барса...»

– И двух волков, – дополнил я не без гордости. – Тоже разрешение дали.

– Волков можно без разрешения, – со знанием дела уточнил начальник и продолжил допрос: – Где всё это было, ты мне скажи?

– Если от Дараут-Кургана ехать верхом по Заалайской долине, – охотно поделился я с начальником, – к вечеру спустимся с Терсагара и приедем в Алтын-Мазар. Вот там...

– Ты, значит, был в Алтын-Мазаре? – почему-то радостно удивился начальник. – Не свистишь?

– Я там был пять раз, – сказал я, ничуть не обижаясь на начальника за его недоверие. Плевать я хотел на этого начальника. – Летом и зимой. Ходил на Федченко, на ледник.

– Ну, назови хоть одного кого-нибудь из Алтын-Мазара! – решил, как видно, проверить меня начальник. Таможенники, прекратив рыться в моём ящике, слушали наш разговор с большим интересом. Такой разговор, возможно, впервые звучал в товарном пакгаузе для отъезжающих евреев.

– Зачем одного! – сказал я и пожал плечами. – Там всего пять кибиток, пять, значит, семей: Кадам Кудайназаров, старик Абдильда, Иса, Сегиз и таджик Гульмамад с красной бородой.

Начальник слушал меня с удовлетворением.

– А за Алтын-Мазаром, за арчовым лесом, стояла гидрометеостанция, – экзамен, кажется, близился к концу. – Там русские работали, муж с женой. Знаешь?

– Шуркины, – сказал я. – Они уехали куда-то. Станцию закрыли, они и уехали.

– Вот этого я не знал... – сказал начальник и к моему распахнутому ящику шагнул стремительно. – Давайте, кончайте быстро! – приказал он своим. – Кладите всё назад, и, смотрите, чтоб ничего не пропало. Книжки, кастрюли – всё кладите, что есть! И закатывайте.

Потом он подошёл ко мне вплотную и спросил, чуть понизив голос:

– Горючее привёз?

– Коньяк и водка. – Я знал, что на таможену надо брать с собой спиртное.

– Водку отдай ребятам, а коньяк неси ко мне в кабинет, – он усмехнулся беспечно. – Вон в ту коморку.

– У меня там ковёр отцовский, в ящике, – удержал я начальника. – Старый. На него справка есть из музея, на вывоз. Пошлина почти тысяча рублей. Деньги я привёз.

– Давай сюда справку, – распорядился начальник.

Приняв бумажку, он, не глядя, разорвал её сначала на две части, потом на четыре, потом в клочья. А клочья сунул в карман.

– Ну, давай, неси, – сказал он.

В закутке было тесно: стол и два стула вмещались с трудом. Я вошёл и, не тратя времени, поставил на стол бутылку коньяка.

– Ну, садись, – сказал начальник, откупоривая и наливая в стаканы, извлечённые из ящика стола. – За знакомство! Александр меня зовут, Саша. Я служил начальником погранзаставы за Алтын-Мазаром, по ту сторону реки.

Теперь всё встало по своим местам. Значит, он там служил, и Алтын-Мазар ему, как и мне, совсем не чужой! Вот ведь как прихотливо сплетаются истории, из которых состоит наша жизнь: всего за несколько часов до отъезда из России навсегда, встречая при диких обстоятельствах родственного мне по любви к Памиру русского человека, отогревшего мою душу, оледеневшую за два года отказа... А, может, «навсегда» – не нашего ума понятие?

– Я – капитан, – сказал Саша. – А ты – кто?

– Писатель, – сказал я. – Рядовой необученный.

– Я вот смотрю – люди едут и едут... – сказал капитан. – Думаешь, тебе там лучше будет?

– Лучше или хуже – это как поглядеть, – сказал я. – Зато я уверен: будет хорошо!

– Там Памира-то нет, – сказал Саша. – Барсов нет...

– Алтын-Мазар – здесь останется, это факт. Но ни я, ни ты, – перейдя на «ты», сказал я Саше, – туда жить не поехали, хотя лучше нигде ничего не найдёшь на свете. Я там хотел кибитку поставить и остаться – меня местные отговорили: «Каждый человек, – говорят, – должен жить на своём месте, среди своих».

– Да, вообще-то так, – согласился капитан. – Ты прав... – Когда пьёшь на двоих бутылку коньяка из гранёных стаканов, обращение на «вы» – нонсенс. – Но ты ведь шкуру эту везёшь в Израиль не шубу с неё шить, а на память!

Я кивнул: да, на память. Конечно.

Мою историю о том, как мы с Кадамом ставили капкан на барсовой тропе над Каинды, как зверь, не смотрящий под ноги, в него угодил и стальная дуга перебила ему лапу, – эту историю Саша слушал внимательно, но без особого интереса: он знал не хуже меня, как ловят снежных барсов-ирбисов на Памире. Лишь один раз он одобрительно кивнул головой, когда я мельком упомянул, что наш капкан на тропе не был заправлен привадой: ещё бы, какой дурак станет заправлять, если барс в жизни никогда не возьмёт чужую убоину – только свою!

– Ну, удачи тебе! – сказал капитан, дослушав и допив. – С Богом! Чтоб на всех хватило!

Я запомнил доброго русского человека Сашу с московской таможни. Иногда мне кажется, что и он меня сохранил на окраине своей души.

А барсова шкура служила моей памяти ещё полных два десятилетия. Я смотрел на неё, растянутую на стене, и видел Алтын-Мазар, и Кадама, и Абдильду, и краснобородого таджика Гульмамада у их кибиток. И Кадамова иноходца видел – рассёдланного, разнузданного, обалденно купавшегося в пыли.

Всему приходит срок, и шкуре памирского ирбиса тоже: шерсть сошла, кожа засохла и растрескалась. Может, средиземноморский климат не подошёл снежному барсу – не знаю... Я снял рассу-

пающееся « меховое изделие » со стены и похоронил во дворе, под старой оливой, немного похожей на арчу.

Со смертью барсовой шкуры память моя не оскудела. Я бережно вспоминаю головоломный спуск с Терсагара, Алтын-Мазар на берегу реки Мук-Су и отвесный язык ледника Федченко. И зорко храню старую фотографию: счастливый иноходец купается в пыли.

«ВЕСЬ ЛЕС НЕ СВОЛÓЧЬ!»

Судьба рукописей в нашем неуравновешенном мире столь же запутанна и трагична, как и судьба картин и скульптур.

«Рукописи не горят» – как красиво звучит и обнадеживающе! Но великолепный Михаил Булгаков, сделавший это открытие, ошибся: рукописи горят, и ещё каким ясным пламенем...

Шестьдесят лет назад, двадцатилетним, я не задумывался над судьбами произведений искусства: я был занят. Моя жизнь казалась мне бесконечной и исполненной соблазнов; тут было не до раздумий. Я сочинял стихи и, в упоении жизнью, даже не мог понять, насколько они плохи. Но мне нравилось быть поэтом, читать на публику, и этого поначалу было достаточно.

Протопанная нетвёрдыми, но зато весёлыми ногами московских «богемиан» тропинка привела меня в кафе «Националь» на углу Манежной площади и нынешней Тверской. Вход был с Тверской, нынче его, я слышал, замуровали.

В кафе, во всякое время года, поближе к вечеру собирались за столиками осколки старой литературной богемы – Юрий Карлович Олеша, неподражаемый Веня Рискин, Марк Шехтер, Владимир Бугаевский, Александр Ржешевский. Заглядывали жившие вблизи, как говорится, «в шаговой доступности» Михаил Светлов и легендарный «ничевок» Кручёных. Все эти завсегдатаи «Националя» назывались, в шутку, разумеется, «национальная гвардия», и каждый из них был героем и сердцевинкой своей собственной легенды. Советская власть не то, чтоб запрещала богему, но уж никак её не поощряла и не лелеяла; хорошо ещё, что не сажала. «Наверху» прекрасно знали, что литературные посетители «Националя» идеологически совершенно неустойчивы

и далеки от преданной любви к Кремлю, расположенному со всеми своими башнями прямо через площадь от кафе. Это знание не было предположением, оно подкреплялось записями с вмонтированных в столики секретных микрофонов и донесениями официанток, вполне отзывчивых к своим богемным подопечным Мусенек и Люсенек – проверенных агентов спецслужбы, не исключено, что и в погонах.

Меня, студента-первокурсника Литинститута, в конце 50-х привёл в кафе Веня Riskин – несравненный дивный рассказчик, человек устной цивилизации. Многие, многие тянулись записать на магнитофон его устные рассказы – да так никто и не собрался... Мальчишкой он служил у Махно подручным войскового казначея и был прикреплён к тачанке с казной, а время спустя подружился с Бабелем, привлечённым его необыкновенной, неординарной натурой «борца с дураками» и даром рассказчика. Антонина Пирожкова, вдова Бабеля, в книге воспоминаний пишет о нём с большой симпатией. Другим неразрывным (и неразливным) другом Вени был Олеша – вплоть до самой смерти Юрия Карловича в 1960 году.

Несмотря на гигантскую разницу в возрасте, мы с Веней Riskиным быстро нашли общий язык. Жизнь Вени завершилась столь же круто, как и началась: он умер в подмосковной богадельне, на руках у своего соседа по комнатухе – кучера Льва Толстого, человека без возраста. В романе «Присказка», написанном в начале 70-х, я использовал черты моего друга в образе одного из героев этого романа, сохранившего имя прототипа – Веня.

Веня Riskин привёл меня в «Националь» и познакомил с «гвардейцами». Как ни странно, я, не переваливший ещё и двадцатилетия, «пришёл к двору» у этих знаменитых стариков и скоро стал там своим человеком. Это выражалось не только в том, что я был допущен к пустому столу Олеша (а это было отнюдь не просто), но и в том, что швейцар, он же и гардеробщик по имени Боря, заведя меня в дверях, немедленно открывал и впускал вовнутрь, под смиренный ропот очереди, выстроившейся у входа в заведение в ожидании свободных мест.

«Национальные гвардейцы», заняв несколько – три-четыре – столика, просиживали в кафе часами, отделённые от досужей публики невидимым корпоративным барьером. А публика, как на эк-

зотических рыбок за стеклом аквариума, глазела на «живых писателей» и ловила обрывки разговоров, которыми обменивались богемные люди, попивая довольно-таки скверный кофе с коньяком из крохотных «напёрсточных» рюмочек, если удавалось наскреести денег на бодрящий напиток. Денег, как правило, не хватало, так что и коронные блюда заведения – судак орли под соусом тар-тар, жульен из грибов и яблочный пай – оставались невостребованными.

Впрочем, в барьере между праздною богемой и выпивающими в кафе трудящимися иногда открывалась брешь.

– Чего это ты на меня уставился? – как-то раз громким голосом, на весь зал спросил поэт Марк Ананьевич Шехтер у любопытствующего посетителя. – А ну прекрати!

В ответ посетитель, польщённый прямым обращением к нему писателя, промычал что-то невразумительное.

– Я сейчас так дам тебе по морде, – грозно пообещал Шехтер и с музыкальным грохотом долбанул своей тяжёлой палкой с нефритовым набалдашником по медному фартуку батареи парового отопления, – что вылетит та челюсть, которая ещё лежит у дантиста!

Потрясённая таким кошмарным намерением Шехтера, публика затаила дыхание. А поэт, как ни в чём не бывало, прислонил свою музыкальную палку к стене и вернулся к разговору с заслуженным специалистом по изготовлению мемориальных досок скульптором Лёшей Степановым.

– Вы не знаете, – поинтересовался скульптор, – Юрий Карлович ничего не говорил о моей новой доске? Генеральской? Которую позавчера только открыли?

– Не говорил, – сказал Шехтер. – А вы у него сами спросите – вон же он сидит.

– Да неловко как-то... – усомнился заслуженный каменотёс. – Он сидит, а я тут со своей доской.

Олеша сидел через столик от Шехтера и Степанова.

– Юрий Карлович! – решился, всё же, скульптор. – Мы вот тут с Шехтером говорим про мою новую доску, гранитную. Вы случайно не видели – вчера в «Вечёрке» снимок напечатали?

– Почему снимок! – откликнулся Олеша. – Я сегодня проходил мимо генеральского дома, видел.

– И как? – спросил Лёша. – Как вам?

– Лёша, вы гений! – сказал Олеша.

– Но почему? – опрометчиво уточнил Лёша Степанов.

– Потому что только гений, – внятно и доходчиво объяснил Юрий Карлович, – может превратить гранит в дерьмо.

Время, переваливаясь с боку на бок, текло себе по кафе «Националь». Советская власть терпела богему у себя под боком, на Манежной площади, а богема терпела советскую власть. Так и жили, под музыку камерного оркестрика, размещавшегося по вечерам на маленькой эстрадной площадке в кофейном зале, у входа. Иногда, ради собственного удовольствия, Веня Riskin садился к роялю, играл и пел песни на идиш. Во время войны, под аккордеон, он пел эти песни генералу авиации Хрюкину, у которого служил ординарцем, и песни нравились авиатору.

Состав «национальной гвардии» почти не менялся, разве что смерть того или иного «гвардейца» прореживала ряды. И если кто-нибудь из постоянного состава долго не появлялся, за столиками кафе это обстоятельство обсуждалось с долей тревоги.

Кручёных заглядывал в кафе нечасто и усаживался в глубине зала, подальше от любопытных глаз. Замкнутость, пожалуй, изрядно определяла его характер; в кругу богемы он считался человеком со странностями, немного «не в себе». Возможно, так оно и было... Мне, мальчишке, легендарный сочинитель «Дыр бул щыл» и «Победы над солнцем» представлялся артефактом из иной эпохи, запорошённой песком времени.

Однажды – это было где-то в самом конце 50-х годов – мне позвонила по телефону Анна Андреевна Ахматова и сказала, чтобы я ехал к Кручёных домой для встречи с ней. Это было не первое такое приглашение: несколько раз я уже бывал у Анны Андреевны, когда она, приехав из Ленинграда в Москву, останавливалась на Ордынке, у Ардовых. И вот теперь – встреча у Кручёных...

– А, это вы! – сказал Кручёных, отворяя мне дверь. – Я вас видел в «Национале».

Ахматова уже пришла, она сидела на единственном, кажется, стуле в комнате. Жилище Кручёных – всё, от пола до потолка – было заставлено книгами и старыми картонными коробками, из которых выглядывали стопки испещрённых буквами бумажных страниц архива; хозяин с трудом умещался в глубине этих деб-

рей. Ахматова вела с Кручёных разговор о каких-то книгах, названия которых мало о чём мне говорили. Несколько раз Алексей Елисеевич точным движением доставал из книжной сутолоки старые издания и протягивал гостю. Здесь, у себя дома, в родной среде он казался куда более открытым и доброжелательным, чем в кафе.

Через несколько дней я встретил его в «Национале». Совершенно неожиданно он подошёл к моему столику и наклонился ко мне.

– Вы тут как-то читали одно стихотворение... – сказал Кручёных.

В кафе, за столом, я читал далеко не одно стихотворение – но был почти уверен в том, какую строчку из них мог запомнить ничевок, написавший «Дыр бул щыл».

– Я даже знаю, какое, – сказал я. – «Весь лес не сволОчь».

– Верно, – подтвердил Кручёных мою догадку. – Напишите мне его на отдельной страничке, поставьте число и подпишитесь. Я куплю у вас автограф.

– Зачем «куплю»? – это деловое предложение свалилось на меня, как снег на голову. – Я вам просто так подарю!

– Тогда будем меняться, – стоял на своём Кручёных. – Вы мне автограф, я вам бутылку коньяка. Натуральный обмен. Вот бумага. Пишите!

Я взял ручку и начал писать:

– Весь лес не сволОчь.
Не руби, друг, впрок!
Вот кончается ночь,
Догорает костерок.

Пожар потух,
Рассвет пропел.
Красный петух
За море улетел.

В стихе было ещё три или четыре строфы, и я их записал – а сейчас не могу припомнить ни строчки: всё же, почти шестьдесят лет прошло с тех пор.

Честно заработанная бутылка коньяка была получена и поставлена на стол. Мусенька-Люсенька принесла блюдечко с тонкими, как цветочные лепестки, дольками лимона, посыпанными сахарной пудрой, и мы с Веней выпили за здоровье Кручёных.

Архив Алексея Елисеевича Кручёных, говорят, не имеет цены – ни натуральной, ни какой другой. Иногда мне в голову приходит дикая мысль: подкованные на все четыре ноги искусствоведы, разбирая этот бесценный архив, наткнутся на моё стихотворение «Весь лес не сволóчь». Вот ведь будет потеха!

ГЛАЗУНОВ. ШЕЛОМ ВИТЯЗЯ

В конце 80-х годов в моей квартире под Тель-Авивом раздался телефонный звонок. Звонил неизвестный мне человек.

– Вы помните друга вашей молодости Илью Глазунова? – спросила трубка.

– Ещё бы, – я ответил. – Конечно.

– Я москвич, – сказал неизвестный, – в Израиль приехал по делам, на несколько дней. Илья Сергеевич просил с вами связаться и передать вам от его имени одну фразу...

– Слушаю, – сказал я.

– «Неужели и ты, Давид, веришь, что я стал антисемитом?» – спросила трубка.

– Пожалуйста, ответьте Илье, когда вернётесь, тоже одной фразой, – сказал я. – «Никогда не верил и не верю, что ты антисемит».

Работ Ильи Глазунова в Израиле немного: портрет Анны Франк, два-три заказных карандашных портрета наших дипломатов, работавших в Москве в начале 60-х годов, и мой портрет, написанный масляными красками в 1958 году. Вот, пожалуй, и всё.

К творчеству Глазунова публика относится, скажем так, неоднозначно. Поклонники знаменитого живописца возводят его в разряд великих, а противники категорически не признают за ним даже самого права называться художником. Так да здравствует искусство! На его лазоревых просторах каждый из нас, не оглядываясь на других, волен выносить своё собственное суждение... Но, оценивая творчество того или иного мастера, будь он худож-

ником, писателем или композитором, не следует смешивать во-едино произведение и его автора: они существуют порознь, как родитель и дитя, и живут каждый своей жизнью.

Что касается Ильи Глазунова, он, начиная с самых ранних своих работ – голод в блокадном Ленинграде, иллюстрации к Достоевскому и Блоку – находил в себе высшее свечение таланта, исключительное великолепие своего художественного дара. То, как он рисовал в конце 50-х – начале 60-х, не укладывалось в рамки официального «социалистического реализма», и по этой причине наглухо закрывало перед художником дорогу к признанию и успеху. Да что там успех! Зрительский успех пришёл к нему сразу после выставки в московском Центральном Доме Работников Искусств в 1957 году, но ни на шаг не приблизил его к Союзу художников – наоборот, оттолкнул. А членство в Союзе художников по тем временам было для него единственной возможностью легально заработать на пропитание, да и «продвинуться» на крутой горе советского государственного искусства.

Ему нужны были «видные» люди, которые помогли бы, подтолкнули в спину. Он выбрал двоих – Эренбурга и Лилу Брик, и, погрузив свои картинки в рюкзак, поехал по адресам. И тот, и другая, при их связях и положении в обществе, могли бы посодействовать Илье в его противостоянии начальникам от искусства.

Отправляясь на дачу к Лиле Юрьевне и в московскую квартиру Ильи Григорьевича, Глазунов, очевидно, рассчитывал на поддержку влиятельных «левых интеллектуалов», в которой весьма нуждался. Взамен этого он получил изрядную порцию критических замечаний в адрес своих работ; честно говоря, как раз в этом он нуждался менее всего...

Наш мир, как известно, совсем не чёрно-бел; семи цветов радуги не хватит, чтобы воспроизвести его оттенки. Не найдя поддержки у «западников» – а они, казалось бы, должны были противостоять кондовым соцреалистам – Глазунов отправился в другую сторону пути: к «славянофилам». После утомительных рассуждений он остановился почему-то на процветающем «патриоте», авторе драматургической поделки «Стряпуха» Анатолии Софронове, имя которого нынче забыто наглухо.

Могу свидетельствовать, что до конца 50-х годов прошлого века Глазунов не был ни монархистом, ни славянофилом; он при-

держивался стойких антисоветских взглядов, это было вполне естественно для здравомыслящих людей того времени. Более всего прочего его интересовала собственная судьба на диком советском фоне. Наиболее презируемые и ненавидимые персоны в поле его зрения – художник-соцреалист Иогансон и могущественный баснописец Сергей Михалков.

Он жил на Поварской, тогдашней улице Воровского, в старинном доходном доме, в закухонной комнатёнке гигантской коммунальной квартиры – в этой комнатёнке когда-то, в царские времена, ютилась то ли хозяйская горничная, то ли кухарка. Ключ от «жилплощади» дал Илье его приятель, испанец из числа испанских детей, попавших в СССР после окончания Гражданской войны в Испании. Эти люди, уже выйдя за пределы детского возраста, так и продолжали называться для простоты понимания «испанские дети». Потом они рассеялись и исчезли – либо по физиологическим причинам, либо по иным, либо вернулись в Испанию после ухода Франко и восстановления там монархии. Если б Илья Глазунов был испанцем, он бы тоже вернулся на историческую родину – приветствовать возрождение монархии и проживать в тени короны, а не в куриной клетке на Поварской, впроголодь.

Он жил там не один, а с женой, и в придачу с ещё одной девушкой – созданием ангельской красоты. Двое да одна – трое. И я там дневал и ночевал, по преимуществу не в одиночку. Итого пять. Жизнь складывалась несколько запутанно, но интересно. Жильцы коммуналки – типичные представители победившего пролетариата, нахлынувшие в Москву из отдалённых деревень – поглядывали в нашу сторону с искренним недоумением. Иногда, приняв стакан водки «для аппетита», они наведывались в нашу комнату и заводили разговоры о картинках Ильи, расставленных вдоль стен. Надо сказать, что творчество Ильи их отнюдь не вдохновляло – они искали в изобразительном искусстве фотографическое сходство с чем-либо им знакомым по житейскому опыту, и не находили. Своё разочарование они высказывали без экивоков, с рабочей прямоотой, вправляя в незатейливую речь литые народные матюги. Илья выслушивал критиканов с вежливой улыбкой, видя в этом ругательском сотрясении воздуха своего рода квартплату за проживание в испанском уголке.

Здесь, сидя у подслеповатого окошка на низком сапожном табурете, невесть как занесённом на Поварскую, Глазунов написал мой портрет. Привлечённый запахом краски или же по интересному наитию к нам в комнату пожаловал жилец по имени Андрюха, не вполне трезвый. В изображённом на картине молодом человеке он нашёл отдалённое сходство со мной, и портрет ему, в общем и целом, пришёлся по вкусу – за вычетом одной существенной детали.

– Ну, ладно, – сказал Андрюха, – всё ничего. Но рубаха никуда не годится!

– Почему? – вежливо осведомился Илья.

– Да её ж снять никак нельзя! – вдарил аргументом взглядичивый Андрюха. – Воротник узкий, голова не пролезет!

Спорить с ним мы не стали: не пролезет – значит, так тому и быть.

Интересно, как отреагировал бы пролетарский жилец Андрюха, увидь он поздние работы Глазунова: золотые луковицы церквей с галками в хмуром небе, синеглазого князя в шеломе и с красным щитом. Воина без страха и упрёка... Как бы отреагировал пролетарий? Тут есть над чем призадуматься.

Почти напротив бывшего доходного дома, только Поварскую перейти, размещалось посольство Швеции. Улицу можно было пересечь без помех, зато дальнейшее движение в сторону посольства обернулось бы реальной возможностью очутиться не в московском подворье шведского короля, а в лагерном бараке, на нарах: частные визиты советских людей в иностранные посольства властями не приветствовались.

Услышав от Ильи о его намерении перейти улицу и отправиться к шведам – рисовать портрет жены посла, я принялся отговаривать его от этого безумного шага: мне не хотелось, чтобы мой друг отправился лет на семь в Сибирь, на лесоповал. Но Глазунов и слушать ничего не желал: он рискнёт, пойдёт и победит! Ну, что ж: вольному воля – во всяком случае, до поры...

А что же с памятной встречей Глазунова с Анатолием Софроновым, состоявшейся ещё до похода Ильи к шведам? Для показа Софронову Глазунов предусмотрительно понёс совсем другие картинки – не те, что носил Эренбургу и Брик, к которым заслуженный драмодел испытывал врождённую неприязнь. Тут всё

было попроще и подоступней: могучий простор Руси, печные дымки над деревеньками, порушенные церковки на фоне родного серенького неба... Народный писатель был растроган. Это он, по словам жены Ильи, посоветовал Глазунову пририсовать чёрные распялки птиц над осиротевшими церковными куполами. Так это было или не так, но чёрные птицы, словно прилетевшие прямо из «Слова о полку Игореве» и олицетворявшие грустную русскость, появились в небе над глазуновскими церквями.

Года через три после начала нашей дружбы между Ильёй и мною пробежала чёрная кошка. Не стану останавливаться на причине нашей размолвки, затянувшейся на три десятилетия. Не о том речь в этой истории; скажу лишь, что дело шло о женщине, без каких-либо иных примесей – социальных или политических.

А мой портрет, слегка раскритикованный народным Андрюхой? Портрет остался у Ильи, и я был почти уверен, что на крутых виражах глазуновской судьбы эта нехарактерная для творческой манеры художника «картина маслом» затерялась и исчезла в клубах времени... Я ошибся: до меня, в моём Израиле, долетели слухи, что картина «Портрет поэта» (некоторые уверяли, что картина объявлялась как «Портрет поэта-сиониста», – но мне что-то не верится) экспонировалась на нескольких выставках Глазунова.

А потом мне позвонил неизвестный приезжий и от имени Ильи Глазунова, друга моей юности, задал мне сакраментальный вопрос. И получил ответ.

В 1989 году я прилетел в Москву по литературным делам и позвонил Глазунову. Мы увиделись в тот же вечер – у него дома, на Арбате, и вдвоём просидели в разговорах почти до утра. Началось всё с того, что Илья мне сказал, что он – монархист, и не вызывает ли это во мне негативных чувств. Я немного удивился новой для меня позиции моего старого товарища и ответил, что принадлежность Ильи (он попросил меня называть его как встарь – «Илюша») к монархистам ничуть меня не коробит – у нас в Иерусалиме тоже есть группа монархистов, и все они славные ребята.

О многом мы говорили в ту ночь, но тема антисемитизма хозяина не затрагивалась – он уже получил от меня телефонный ответ, и этого было достаточно. Антисемитизм – тёплая норка для дураков, к которым Илья Глазунов не принадлежал. Он был азартным игроком, его заносило на поворотах – и это было тактическим

ходом, но не стратегической позицией. Единственное явление, которое всю жизнь занимало его воображение – это он сам. Русская история, по преимуществу древняя, которой он увлёкся на излёте жизни, была его хобби, а не вдруг открывшимся призванием.

– Я хочу сделать тебе подарок, – сказал Илья перед самым моим уходом.

– Я знаю, какой, – сказал я. – Значит, он сохранился?

В ответ Илья достал из стенной стойки мой портрет – тот самый.

– Вот он, – сказал Илья.

– Мне разрешат его вывезти? – спросил я.

– Нет, конечно, – сказал Глазунов. – Но ты подумай, как это сделать – и придумаешь.

Я подумал и придумал. И год спустя получил портрет в Израиле.

Прошли годы. Евтушенко, мой давний, ещё с институтских времён, товарищ, сидел у меня в гостях, в моём доме под Тель-Авивом.

– Пойдём, Женя, ко мне в кабинет, – позвал я. – Покажу тебе кое-что интересное.

Ноги у него в то время ещё не болели, и мы без помех поднялись ко мне наверх. Портрет висел на стене кабинета.

– Хорошая работа, – сказал Женя, подойдя. – Кто это? – Не меня он, конечно, имел в виду, а живописца.

– Он подписан, – сказал я. – Прочитай.

– «Глазунов», – прочитал Евтушенко. – Ты у него купил? Но он же ранние вещи вообще не продаёт!

– Он подарил, – сказал я.

– Глазунов, если продаёт, то только заказные работы, – стоял на своём Женя. – А дарить, да ранние – никогда и никому!

– Там дарственная надпись, на оборотной стороне, – сказал я. – Можешь посмотреть, если хочешь. Вот: «1958-1989. Дорогому Давиду в память светлых дней нашей молодости на Русской земле. Обнимаю, твой Илья».

Глазунова нет, и Евтушенко нет.

Только мы вдвоём и остались: я да мой портрет.

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КАЛМЫКОВА

Ни для кого не секрет, что судьба произведений искусства часто – куда чаще, чем хотелось бы – связана и переплетена с финансовыми интересами сторонних людей. И эти интересы весьма далеки (чтобы не сказать «далеки недосыгаемо») от повседневных житейских забот самих авторов. Достаточно вспомнить гениального парижанина Амедео Модильяни или москвича Анатолия Зверева.

Переход в мир иной, как ни странно, играет самую заметную роль в жизни художников: некоторые из них посмертно бронзовеют на площадях городов, на мраморных постаментах, а другие начинают бить все рекорды по заоблачной стоимости своих работ, при жизни их создателей не вызывавших торгового ажиотажа на аукционах и в кругу коллекционеров.

Сергей Иванович Калмыков к первой категории не относится: он не обронзовел – хотя такая перспектива и не исключена. А вот цены на его работы подскочили неимоверно – строго говоря, с нуля... Такой скачок удивил бы художника Калмыкова, мечтавшего о миске горячей каши с маслом на торжественном банкете, который ангелы небесные непременно устроят по поводу его прибытия в рай.

Не стану утверждать, что все без исключения художники-авангардисты Серебряного века, к которым относился и Сергей Калмыков, были исключительно уравновешенными людьми. Нет и ещё раз нет! Может, талант и не идёт рука об руку с безумием (а встречается немало экспертов, как раз уверенных в том, что – идёт!), но, думается, неплохо было бы уяснить, что это такое – творческое безумие, и где проходит грань между ним и вялой уравновешенностью... Так или иначе, но ни демонического (в «Квадрате») Малевича, ни повергающего неподготовленного человека в опасливое недоумение Татлина-«Летатлина», ни Давида Бурлюка с расписной физиономией, ни даже Владимира Маяковского с морковкой в петлице нельзя было отнести к заурядным обывателям без заскоков и отклонения от нормы. Правда, что есть «норма», не знает никто: тут эталон не подобран. «Нормальный человек», стало быть, подгоняется к рамкам несуществующего шаблона.

Сергей Калмыков ворвался в Серебряный век на «Красном коне» своего учителя Кузьмы Петрова-Водкина. Это случилось ещё до октябрьского переворота, после которого большевики, отрубив Серебряному веку голову, ввели-таки для подданных показательный шаблон и на семь десятилетий утвердили в России свой собственный, Красный век. Сергею Калмыкову, «человеку со странностями», в том веке было определено властью место на обочине: он не был ни рабочим, ни крестьянином, ни «прослоечным интеллигентом». Его даже к бродячим цыганам нельзя было причислить – никакой составной части советской популяции людей он не соответствовал. Он был и остался настоящим Художником, последним мастером Серебряного века, негибаемым артистом. Самое место ему на советском «празднике жизни» было – городской сумасшедший. Им он и считался до самой смерти в 1967 году, и этот сомнительный статус оберегал его от разных неприятностей жизни, прежде всего, от ареста и посадки в тюрьму – чего не избежал бы на его месте ни один «нормальный» человек. За что? Да за многое, вот хотя бы за это: на портрете Хрущёва, заказанном ему для столовой железнодорожного депо, он, вместо звезды Героя труда, «подвесил» на пиджак Никиты золотую муху, прикрепленную к красной муаровой планке... Уместно тут сказать, что уже после смерти Калмыкова его почитатели учредили «Орден Мухи». Устав Ордена включал в себя вручение наиболее отличившимся «рыцарям» – их оказалось семеро – золотого значка, копию той самой мухи с хрущёвского пиджака. Я знаком с одним из орденоносцев и держал этот орден в руках; красивая штука.

Но вернёмся к коню, на котором юный Калмыков въехал в Серебряный век. Воротившись в 1911 году в Петербург с летних каникул, Калмыков показал Петрову-Водкину новые работы, среди них небольшую картину «Купание красных коней». Картина пришлась Петрову-Водкину по душе, он похвалил ученика. Через год появилась знаменитое «Купание красного коня», принесшее Петрову-Водкину мировую известность. Вот что пишет об этой замечательной картине Сергей Калмыков: «К сведению будущих составителей моей монографии. На красном коне наш милейший Кузьма Сергеевич изобразил меня. Да! В образе томного юноши на этом знамени изображен я собственной персоной».

События семнадцатого года прошлого века опрокинули и поставили с ног на голову не только политическую, но и культурную жизнь России. «Революционный подъём» у Калмыкова прошёл, как видно, довольно быстро, и он ощутил на лице опаляющее дыхание дракона. Спасти жизнь и сохранить, хотя бы в общем, очертания творческой свободы, можно было, лишь уехав подальше от столиц – либо на Запад, либо на Восток. Уроженец Самарканда, грезивший о Вавилоне, мечтатель Калмыков предпочёл восточное направление. Промежуточным пунктом на его пути стал Оренбург, конечным – Алма-Ата.

Сергей Калмыков был мечтателем; это качество, пожалуй, определяло всё его существование. Он мечтал о горячей каше в раю, о полётах на чужие планеты, о поездке в древний Вавилон, о любви красавицы. Он одиноко мечтал всю жизнь, жил в ауре мечты. Его «Купание красных коней» – это перенесённый на холст взгляд совершенного мечтателя на несовершенный мир.

Жизнь художника «его глазами» можно увидеть, рассматривая автопортреты – от ранних до последнего. Автопортреты – это иллюминаторы, ведущие в заветный внутренний мир Сергея Калмыкова. Впервые его автопортрет я увидел лет пятнадцать тому назад – красавец-кавалер в алой шляпе, в свободно облегающей плечи цветной накидке, взгляд устремлён в разгаданное им будущее, в руке книга «Фабрика Бумов №11». По обводу верхней части картины надпись: «Портрет Великого интерпретатора». Внизу подпись характерными для него рисованными печатными буквами: «Сергей Калмыков», и дата – «1963». У меня была фотография художника, сделанная примерно в то же время, и я мог сопоставить и сравнить фотографическое изображение с автопортретом. Разница получалась огромная: с фото смотрел на меня не сказочный кавалер, а угрюмый старик в рубище, с жалкой котомкой в руке. Таким его видела безжалостная линза фотоаппарата, таким видели глаза уличных прохожих. А пред самим собою он представлял героем волшебного мира, в котором все мы, если вдуматься, живём.

Открывшаяся пропасть между рыцарем и угрюмым стариком побудила меня к поискам других автопортретов Сергея Калмыкова. И отчасти я в этом преуспел. Последний автопортрет Калмыкова, нарисованный за считанные дни до смерти, производит на меня впечатление не меньшее, чем «Крик» Мунка.

Эта история началась для меня в 2000-м году, весной, далеко-далеко от Оренбурга и Алма-Аты – в Майами. О Сергее Калмыкове, вольном художнике и уличном бродяге, я услышал впервые тридцатью годами раньше от двух моих друзей – Юрия Домбровского, который вывел его на страницы своего романа «Факультет ненужных вещей», написав: «Двадцать первый век ему был уже ни к чему, он работал для двадцать второго», и Олжаса Сулейменова. В конце 60-х имя Калмыкова было если и не под запретом, то, во всяком случае, не вызывало возбуждения широкой публики: о нём забыли. Робкий интерес к нему пробудился через два десятка лет после его смерти; сотни его работ, оставшиеся «беспризорными» после него в его комнатёнке и чудом избежавшие мусорной свалки, обнаружили в запаснике алма-атинской галереи имени Кастеева; там я их видел в начале девяностых годов, среди них и «Купание красных коней». Цены на картины Калмыкова, развеянные ветром забвения и «привходящими обстоятельствами» по всему Казахстану и дальше на Запад, вплоть до американских берегов, медленно и неуверенно поползли вверх. Появились и адепты покойного мастера; двое из них, алмаатинцы, сумели собрать небольшие, работ по тридцать-сорок, коллекции. Но, по грубым подсчётам, около трёхсот картин находились «в свободном плавании» – переходили из рук в руки или пылились в домах случайных владельцев.

Фигура последнего авангардиста Серебряного века, загадочная и трагическая, привлекала меня и манила; я хотел написать книжку о нём... Вот тут-то, в Майами, на берегу неправдоподобно синего бассейна, я и рассказал моему другу С., вятскому уроженцу, успешно освоившемуся на сочных американских пажитях, о неприкаянном чуде из Алма-Аты, уже начавшем своё посмертное восхождение к вершинам славы.

С. слушал внимательно и увлечённо. Когда я закончил живописать удивительные эпизоды из жизни художника, мой друг С. задал мне только один вопрос: можно ли, по моему мнению, отыскать и купить картины Калмыкова? Увлечённый не меньше С. и предвидя захватывающее развитие событий, я дал ответ без колебаний: «Можно!»

И через неделю началась «охота», продолжавшаяся два года. Были устроены выставки картин Калмыкова в разных городах, уч-

реждён Фонд его имени, но радужная цель всего предприятия – создание музея – так и не была достигнута по вульгарной причине: денег не хватило. Зато С. стал обладателем коллекции Калмыкова примерно в триста работ – живопись, смешанная техника, гравюры. В состав коллекции вошли пять автопортретов художника, включая последний.

Эти автопортреты не давали мне покоя. Я видел в них не «Великого интерпретатора», не «Гения 1 ранга Земли и Галактики», не приверженца космизма и не фантастического экспрессиониста, придумавшего фразу на все времена: «Трудно быть точкой, легко быть линией, ибо в нашем мире всё движется». От изображения к изображению проступала ослепительная жизнь вольного художника, в то же время неотторжимая от его жуткого времени с вышками концлагерей и расстрельными тупиками.

На последнем автопортрете, сделанном накануне – может, за день, а может за час до заключения художника в психиатрическую больницу – лаконичными ударами пера изображён измождённый донельзя человек, одни лишь глаза которого мучительно светятся разумом, подобно тому, как вспыхивают отблесками солнечного света угольки догорающего костра. Спустя считанные дни, Калмыков умрёт на койке сумасшедшего дома – не в приступе безумия, а от воспаления лёгких вместе с убийственной дистрофией. Он умрёт, оставив на память потомкам последний автопортрет, написанный на рубеже жизни и смерти.

...Пробил час, и признание пришло к Калмыкову. Его картины и рукописи объявили национальным достоянием, и властями были предприняты решительные шаги к демонстративному увековечиванию его памяти. Начать решили с конца – с могилы: привести в порядок место захоронения, открыть его для посещений, установить там красивый мраморный обелиск. Вот тут-то и хватились: а на каком кладбище три с половиной десятка лет назад заложили художника на вечное хранение? Куда его увезли из психбольницы? Где он? И прояснилось в тумане: невостребованное тело отправили в мединститут, в анатомичку, для обучения студентов. Точка.

Хотелось бы взять в руки альбом со всеми, от первого до последнего – а их отыскалось свыше десятка – автопортретами Калмыкова: жизнь в интерьере сказки.

ВОЛШЕБНЫЙ ВЫШНИЙ ВОЛОЧОК

Вот уже около полувека по-соседству с моим письменным столом помещается маленький старинный самовар, изготовленный из красной меди руками искусного мастера. На вид самовару лет двести, а то и больше. Я гляжу на него из-за экрана компьютера и вспоминаю Вышний Волочок, волшебно подкрашенный розовым северным солнцем. Раннее утро, городская окраинная улица по обеим сторонам заставлена приземистыми избами в бедных венских палисадниках. Россия, на дворе 1972-й год.

Принято почему-то в разных краях света уподоблять на полном серьёзе те или иные местные красоты знаменитым мировым, как нынче принято говорить, брендам: латышская Швейцария, русская Венеция. Нашу Святую Землю этот вирус тоже не облетел стороной: у нас под Хайфой есть своя «израильская Швейцария»... Тут, наверно, замешан губительный метод сравнения, укоренённый в нашем сознании: что лучше, а что хуже при сопоставлении предметов и понятий совершенно несопоставимых. Кто «быстрее разумом» – Ломоносов или «Невтон»? Кто знаменитей – Леонардо да Винчи или Микеланджело? Кто гениальней – Пастернак или Мандельштам? Кто краше – Лолита Милявская или Марлен Монро? Все хороши...

Но окраинная улица Волочка, хоть убей, не похожа была на Венецию ни на йоту. И от этого она не становилась ни лучше, ни хуже. Улица как улица; мне нравилась. Так мне представлялась, да и по сей день представляется, глубинная Россия. Русь.

В Вышний Волочок меня занесла не любовь к краеведению и не тяга к приключениям. Всё объяснялось просто: в Москву ехал в гости американский президент Ричард Никсон, и наиболее скандальных еврейских отказников, к коим я имел честь принадлежать, власти решили срочно забрать в армию, чтобы они, в борьбе за выезд в Израиль, не устроили публичную голодовку или какую-нибудь иную акцию протеста в дни пребывания американца в советской столице. После армейской службы, пусть хоть однедельной, солдатику могли пришить «секретность» и мариновать его в отказе ещё года три-четыре. Поэтому, получив повестку, я в военкомат не пошёл, а поехал ночным поездом в

Вышний Волочок – скрываться от призыва. Почему в Волочок? Потому что название понравилось. Сначала думал было ехать прятаться в совсем уж захолустный Торжок – там рядом, но передумал: к торговле я брезгливо относился. А Волочок – всё ж, русская Венеция, каналы, старинные волоки, а не какая-то торговая барахолка... Серьёзный подход я проявил к выбору своего «укривища», ничего не скажешь.

На окраине Волочка грань между городом и деревней ощущалась очень заметно – дальше некуда. Власти год за годом бубнили о стирании этой грани, но дальше пустых разговоров дело не шло, и ничего не стиралось. В городе газ горел в печке синим пламенем, чугунные батареи оттесняли зимнюю стужу, и вода текла через кран прямо из стены. А в деревеньке, в стороне от шоссе, в селпо продавали соль со спичками, бочковую ржавую селёдку, грошовые слипшиеся конфетки да водяру-сучок районного разлива. Не в меру зорких злопыхателей партийные агитаторы враз оглоушивали фактом: «А «лампочка Ильича»? И правда, лампочку провели, куда проволока дотянулась, но сельчане относились к этой лампе с неполным доверием: электрические перебои случались часто, и наступала тьма.

Шагая по окраинной улице, то ли Клары Цеткин, то ли Розы Люксембург – какая разница! – я с удовольствием отмечал грань между Москвой и Вышним Волочком, в пользу последнего. Советские преобразования не затронули облика «Русской Венеции» – она как была, так и осталась настоящей глубинной Россией, и большевики ничего не смогли с этим поделать. Свечное и стекольное производство они разрушили, сельское хозяйство привели в запустение: поля вокруг деревенского города заросли сорной травой, в которой гуляли одиночные коровы и козы. «Там, где крестьянин плуг свой волок, / Бегаёт трактор, вонюч и высок» – это не о вышневолоцких местах написал поэт: здесь трактор не бегаёт, плугарь не пашет. И слава Богу: сохранились ещё заповедники сказочной жизни на Руси, и чужаку, прохожему человеку вход туда не заказан.

Мне нравилась такая Россия, такая улица – куда больше, чем столичная Тверская, тогдашняя улица Горького, на которой жила моя семья. И дело здесь, конечно, не в чистоте воздуха, а в национальной чистоте: в Волочке вглядеться в «загадочную русскую душу» мне казалось куда проще, чем в Москве.

При всём том, я не планировал отсиживаться в Волочке, как в спасительном погребе. «Залечь на дно», в дни визита американца, я намеревался в какой-нибудь затерянной деревеньке, лесной или озёрной, где, однако, появляются, в силу объективных причин, приезжие люди, совершенно незнакомые местным жителям. Идеальный вариант – дом отдыха, с его недолгими простецкими жильцами, прибывающими сюда не по зову сердца, а по бесплатной профсоюзной путёвке: пьянствовать и ходить на танцплощадку. Я знал о существовании такой деревеньки и такого общественного Дома, невдалеке от Волочка, в самом сердце лесного королевства комаров и мух. Туда я и отправился на вполне антикварном автобусе, трясущемся на колдобинах грунтовой дороги, словно от болезни Паркинсона.

Как я провёл время среди профсоюзных пролетариев не стану рассказывать – хорошо провёл. Деньков через пять американский президент отправился восвояси, в город Вашингтон, а я вернулся в Вышний Волочок, по дороге домой. Спешить мне было некуда, и я пошагал на окраинную улицу то ли Либкнехта, то ли Маркса с Энгельсом – полюбоваться Россией перед возвращением в Москву.

По пустынной улице, забытой машинами и телегами, шла сгорбленная старушка с коромыслом через плечо. Старушка была одета в какой-то линялый зипун без подпояски, на концах коромысла тяжело покачивалась пара вёдер с водой.

– Дай, помогу! – сказал я, догнав старушку.

Она посмотрела на меня своими голубыми старыми глазами – с благодарностью и без удивленья.

– Помоги, сынок, – сказала старушка и опустила вёдра на землю.

Я не знал, как управляются с коромыслом, поэтому поднял вёдра за тонкие неудобные ручки-держалки, и мы пошли со старушкой дальше по улице. Идти было недалеко.

Бабушка жила в непомерном для одинокой старухи бревенчатом доме с тесными сенями, откуда дверь вела в просторную, с мелкими оконцами залу, почти свободную от мебели. Посреди полутёмной залы стоял длинный стол на массивных ногах, на чёрно-булой столешнице которого помещалась керосиновая лампа с трубчатым мутным стеклом, а над столом, на засиженном мухами

плетёном шнуре болталась электрическая лампочка. Не горела, правда, ни одна из них – ни электрическая, ни керосиновая; да это было и ни к чему: свет мягко проникал сквозь оконца, прохладная полутьма залы не требовала дополнительного освещения.

– Садись, сынок, посиди, – сказала старушка, – а потом и пойдёшь, куда тебе надо.

Мне показалось, что хозяйке хотелось немного поговорить с заходящим человеком.

– Хочешь, чаю согрею? – спросила старушка. – У меня травяной. Только сахарку-то нет, без сахара.

Значит, надо разводить огонь в печи ради этого чая. Только этого бабушке не хватало.

– Спасибо, я пил недавно, – сказал я бабушке и спросил. – А ты одна здесь живёшь? – В другой среде, при иных обстоятельствах мой вопрос показался бы неучтивым, а то и наглым: мне-то что за дело, как кто живёт?

Но тут вопрос пришёлся кстати.

– Как одна живу! – оживилась, вроде бы даже обрадовалась старушка. – С мышами!

И вот тут-то я увидел самоварчик – он стоял в углу комнаты, на полу, и чуть светился красными боками.

– А ты воду не в нём кипятишь? – спросил я без задней мысли.

– Да что ты, что ты! – взмахнула рукой старушка. – Он без дела тут стоит, его с чердака спустили, а мне туда лезть, наверх – никак не залезу. Раньше-то могла, а теперь никак.

– Кто спустил-то? – спросил я для поддержания разговора.

– Да кто ж его знает! – ответила старушка. – Говорит – из музея приехал, старинные вещи искать у нас в Волочке. Чердак, говорит, у тебя есть? Вот туда, мол, и покидали всё старьё ненужное... И полез на чердак.

– Нашёл что-нибудь? – снова спросил я. – Этот музейный?

– Да там сундук целый стоял, – беспечно сообщила бабушка. – Бабки моей, то ли прабабки ещё сундук... Одежка там была, правда, старинная, сейчас такую не носят. Подсвечники были, тоже старые, жёлтые. Книги были. Этот сундук лет пятьдесят никто не открывал – стоял себе и стоял на чердаке, никого не трогал.

– И где всё это? – задал я праздный вопрос: подлинность нагрянувшего музейщика вызывала во мне большие сомнения.

– Всё увёз, даже сундук забрал, – сказала бабушка. – А мне крупу дал: пшено, рис. Гречку.

– А самовар, что ли, забыл? – спросил я.

– Не забыл, – сказала старушка. – У него крупа кончилась, он самовар этот хотел купить за деньги, за шестьдесят копеек. А я ни в какую: моя вещь, хочу рубль! Так и не сошлись...

Я заплатил спрошенное, и красный самовар перешёл ко мне.

Вот он стоит возле моего письменного стола.

«НАШ ПРЕДОК ФРАНСУА ЛЕФОРТ...»

В самом начале 80-х годов я придумал написать роман о приближённом шуте Петра Первого – приبلудном немецком еврее Лакосте. Роман так и должен был называться – «Шут». Потом, по ходу дела, я пришёл к выводу, что в тени Великого Петра его соратники-«птенцы» готовы были стать добровольными шутами, а то и шутействовали всерьёз. И тогда я переназвал роман: был «Шут», стал «Шуты». А в российских изданиях он вообще называется «Еврей Петра Великого». Судьбы названий романов иногда бывают кривоколенны.

Искать материалы к роману было довольно-таки нелегко. При большевиках въезд на родину царя был мне закрыт и заперт на большой замок – а где ещё рыскать в поисках отражений дней Петровых? А вот где: в Хельсинки – там сохранилась без цензурных изъятий и запретов периодика старых времён, в парижских русских центрах можно было кое-что отыскать историческое, в великолепной библиотеке университета Шампейн-Урбана, что в американском штате Иллинойс... Материалы понемногу наскребались, но хотелось, чтобы их было больше.

Интересный поиск привёл меня в Женеву, там жила уважаемая семья прямых потомков любимца и наставника юного Петра – женеваца Франсуа Лефорта. Мой добрый знакомый, местный человек, взялся организовать встречу с потомками Лефорта, и, чтобы не перегружать картину излишними деталями, назвал меня доходчиво и просто: «русский писатель». Приехал, мол, русский писатель, он пишет книгу о Петре и хочет встретиться – в романе будет выведен и Франсуа Лефорт, древний родственник семьи.

Мой добрый приятель готов был послужить переводчиком. И согласие на встречу было получено.

В доме потомков Лефорта нас вполне радушно встретила мадам О. Первое, что мне бросилось в глаза, как только мы переступили порог – написанный масляными красками небольшой, в старинной раме, портрет Петра на стене, никогда дотоле мной не встреченный в альбомах и книгах и совершенно незнакомый.

– Это ваш царь Пётр подарил Франсуа, – объяснила мадам О., заметив мой восторженный взгляд. – Мы бережно храним подарки вашего царя. Но у нас в Женеве лишь часть этого наследия. Другая часть хранится в Германии, ею владеет вторая ветвь семьи.

Значит, есть тут и другие подарки. Хорошо бы поглядеть.

– Но прежде всего, – продолжала мадам О., – я хочу сказать вам со всей ответственностью: наш предок Франсуа Лефорт был авантюрист.

Не то, чтобы я слишком удивился такому заявлению мадам О., но услышать его из уст родственницы было несколько неожиданно. Я не стал задавать наводящих вопросов и терпеливо дожидался, когда мадам О. разовьёт свою мысль. Долго ждать мне не пришлось.

– Наш предок Франсуа Лефорт, – продолжала мадам О., – согласился принять из рук вашего царя звание морского адмирала, хотя самый большой водный простор, который когда-либо перед ним открывался – это Женевское озеро.

Я промолчал. Адмирал так адмирал. Франсуа Лефорт триумфально въехал в Москву после Азовского похода, к решающим событиям которого он так и не поспел, в экипаже, выполненном умельцами в форме морской раковины – «адмиральский экипаж». Пётр был большой мастак на такие шутки, и это тоже делает ему честь... Одним словом, отношение мадам О. к прославленному предку было довольно-таки критичным, и она не склонна была его обелять. Тем не менее, памятные реликвии, связанные с пребыванием Франсуа Лефорта в Московии, строго хранились в доме его потомков.

– Вот, посмотрите, – указывая на застеклённый шкаф-горку, сказала мадам О. – Этот хрустальный стакан был изготовлен к новоселью Франсуа в его новом московском дворце.

Видя, с каким вождением я уставился на стакан, мадам О. открыла дверцу горки, с превеликой осторожностью достала реликвию и дала мне её поддержать со словами: – Только, бога ради, не уроните!

Я знал кое-что о том дворце и о том новоселье.

Роскошный дворец был построен царём для своего друга Лефорта на берегу Яузы, на Кукуе, как тогда неформально именовалась Немецкая слобода. Новоселье, на которое явились сотни именитых приглашённых, состоялось в феврале 1699 года. Царь открывал весёлый праздник и руководил ходом гулянки. Сервировка банкетного стола соответствовала роскоши дворцового убранства. Поднимая первый тост за здоровье хозяина, царь заметил, что на широком хрустальном стакане, с одной его стороны, выгравирован герб Лефортов, олицетворявший силу – слон, а другая сторона свободна. И тут же, за столом, Пётр даровал своему другу Франсуа высокое право изобразить на второй половине стакана фамильный герб Романовых. Что и было Лефортом исполнено без проволочек: банкетные стаканы украсили два герба.

И вот такой стакан, с двумя гербами, я теперь держал в руках под озабоченным взглядом мадам О. Вполне вероятно, что из него пил на новоселье сам царь Пётр Великий, или, на худой конец, генерал-адмирал Франсуа Лефорт. Всё может быть, или почти всё.

Стакан был благополучно возвращён на полку, и напряжённость развеялась. Я ждал с надеждой: не покажет ли мне мадам О. ещё что-нибудь. Но мои надежды не оправдались.

Уже перед уходом, «под занавес», я получил от хозяйки сообщение совсем незаурядное.

– Вы русский писатель, – сказала мадам О., – и я хочу, чтоб вы знали: я собираюсь подать в суд на ваше правительство.

Образовалась пауза, и я подумал мельком, что с тем же успехом мадам О. может подать в суд на царя Петра Первого.

– Мне известно, – продолжала мадам О., – что московская тюрьма носит имя нашего предка Франсуа Лефорта: «Лефорт-ово». Это несправедливо, это совершенно недопустимо! Суд встанет на нашу сторону, и тюрьму переименуют.

Мне ничего не оставалось, кроме как поблагодарить мадам О. и пожелать ей успеха в борьбе за восстановление справедливости на бывшем Кукуе.

Тая Найдено

ХОЧЕТСЯ ФИЛЬМА С НЕЛИНЕЙНЫМ СЮЖЕТОМ

Вот, например, умирает всемирно известный писатель Джон Доу. Вскрывают его завещание – и выясняется, что своё главное произведение он писал всю жизнь. Но не в одном месте, а в автографах читателей. Всю жизнь писатель охотно встречался с читателями, охотно подписывал и даже дарил свои книги, хотя подписи оказывались довольно странными.

Всё списывали на излишки гениальности, а теперь оказалось, что во всех этих дарственных надписях типа "Полковник родился в Индии, и это предопределило его судьбу. С любовью, Джон Доу. 3 октября 2003" – в них был глубокий смысл. Надо только составить кусочки в единое целое в правильном порядке – и человечеству откроется последнее откровение гениального автора.

По всему миру активизируются фанаты Доу. Лихорадочно собирают клочки писательской мудрости. Постепенно вырисовывается общая картина. "Это действительно гениально! Это способно изменить мир и наше понимание себя!" – сообщают эксперты. Все замирают в предвкушении чуда.

Но тут внезапный удар! Последний экземпляр, подписанный Джоном Доу, найден. В этом автографе – 500 слов, которые заиграют глубокими смыслами в оправе сюжета. Концовка, каких ещё не видел мир! Новое слово в литературе! Только владелец экземпляра – глава крупной торговой компании, а по тем самым 500 словам Джона Доу уже снят крутой рекламный ролик, отлично повышающий продажи.

Глава компании наотрез отказывается отказаться от этих 500 слов, а без них издание книги невозможно. Закон на его стороне. Все остальные – против. Но закон есть закон. Но искусство – есть искусство!

Молодой топ-менеджер, пылкий поклонник покойного Доу, не готов смириться. К тому же он индус, и главный герой – полковник, родившийся в Индии, близок его сердцу, как родной отец или брат. Молодой топ-менеджер бросает прежнее место работы и устраивается в ту самую торговую компанию. В уме его зреет благородный преступный план. План-минимум – выкрасть тот самый экземпляр, план-максимум – прикончить алчного главу торговой компании. В идеале – совместить оба плана.

Менеджер пытается выйти на босса кратчайшим путём – через его юную недалёкую секретаршу. Соблазнив секретаршу, он узнаёт её поразительный секрет. Хотя сама она – дура душой, но в постели повышает айкью любовника втрое, чем и ценна для компании. Повышенное айкью менеджера-индуса немедленно подсказывает тысячи путей решения проблемы. Но одновременно он осознаёт и другое: книга не должна быть окончена, потому что написана слишком рано, время этих идей ещё не пришло, сегодня они могут только погубить человечество и вызвать крах цивилизации.

Индус-менеджер в ужасе бежит на улицу, чтобы неистово страдать под дождём под красивую грустную музыку. Дура-секретарша не соображает предупредить его о пост-эффекте: сразу после резкого повышения айкью на некоторое время падает до нуля.

Оступевший менеджер, оказавшись на улице, немедленно падает под машину. За рулём – мулатка-медсестра в стиле Наоми. Она не знает о низком айкью сбитого ею индуса, поэтому во всём винит себя. Вне себя от вины, медсестра оказывает едва живому глупцу первую помощь и срочно везёт его в больницу. В дороге – звонок от мужа. "Я знаю, что ты мне изменяешь! Этот гад во всём сознался!" – кричит разгневанный супруг. "Может быть... я не знаю..." – бормочет медсестра. Она работает по 14 часов в сутки и мало что помнит, даже есть ли у неё на самом деле муж.

Муж звонит ещё раз и сообщает, что подал на развод.

Муж звонит ещё раз и сообщает, что убил подлеца-любовника.

Муж звонит ещё раз и сообщает, что простил её. Заказал равиоли на ужин. Открывает шампанское, ждёт.

– Вот и хорошо, что всё хорошо закончилось, – радуется медсестра. Но тут же печалится, вспоминая про индуса на заднем сидении.

Наконец – больница. Срочно в операционную — "мы теряем его" — "нет, не в мою смену!" — "доктор, он стабилен" — "зашиваем!" — "все молодцы, мы славно поработали!".

Все поздравляют хирурга, хирург немного ругает медсестру и едет домой. В багажнике у него – труп соседа, убитого накануне. Хирург оправдывается, поглядывая в зеркало заднего вида:

– Ты уж прости меня, парень... Я знаю, что погорячился! Но и ты был не прав! Кто ты такой, чтобы называть великого Джона Доу "еврейским выскочкой"?!

Хирург выгружает тело в мусорный бак на фоне мрачного гетто.

Мимо проходит старая безумная бомжиха в треуголке и стёганом халате. На ходу она напевает довольно приятным голосом слова из рекламы. По иронии судьбы, это те самые строчки, которыми заканчивается величайшая книга Джона Доу:

– Что делает улитка, когда больше не чувствует любви? Тогда улитка уплывает на юг, дорогой, улитка всегда уплывает на юг...

Наталья Зейфман **«Еще одна жизнь»**

Осенью 2016 года в московском издательстве «Время» тиражом 1000 экз. вышла книга воспоминаний Натальи Зейфман – об отъезде семьи в Израиль в 1991 году (воспринятом как конец жизни и начало новой), о московском лефортовском детстве в сороковых-пятидесятых, о работе в Отделе рукописей ГБЛ, о Каверине, о историке П.А.Зайончковском...

Дина Рубина, представившая книгу в аннотации, говорит о ней так: "Эта книга – не триллер и не детектив, – необыкновенно увлекательное чтение! "

Книгу можно приобрести у автора, обратившись по электронной почте: nataliazeifman2015@gmail.com.

Роза Ляст

ПОТЕРЯННЫЙ ТРИУМФ

Я хочу рассказать о римском императоре, который в какой-то мере определил судьбу еврейского народа на два тысячелетия. Его имя – Тит Флавий Веспасиан, тот самый Тит, который разрушил Второй Иерусалимский Храм. Сегодня много пишут и говорят о Триумфальной арке Тита, особенно в связи с небезызвестным антисемитским решением ЮНЕСКО. Однако личность разрушителя Храма и его судьба в популярной литературе, да и в научной, почти не обсуждается. А между тем, в исторических источниках содержится интереснейший материал по этой проблеме.

Наши главные источники: еврейский историк Иосиф Флавий (37 – 100) «Иудейская война», Гай Светоний Транквилл (70 – 160) «Жизнеописание двенадцати цезарей», Корнелий Тацит (56 – 120) «История», Дион Кассий (160 – 230) «Римская история».

Если верить Иосифу Флавию, который опубликовал свой труд при покровительстве династии Флавиев, то можно подумать, что лучшего императора, чем Тит, на свете не было. Второй наш автор – Светоний начинает биографию Тита словами: «Тит унаследовал прозвище отца – любовь и отрада рода человеческого». Но когда тот же Светоний описывает действия Тита, то выясняется, что человек он был подозрительный и злой, постоянно подсылал убийц к неугодным. О жестокости Тита не может умолчать и Иосиф Флавий. Достаточно вспомнить, что когда Тит вступил в Гамалу второй раз его солдаты начали по-настоящему зверствовать: они «не щадили даже грудных детей: многих таких младенцев они хватали и швыряли с высоты крепости» (Война, IV, 1,10). А свидетельство еврейского историка о расправе над пленными защитниками Иерусалима на празднике в Кейсариин не оставляет сомнения, что такое мог творить настоящий изувер. Я

не случайно обращаю внимание на факты, порочащие Тита. Дело в том, что уже в античный период складывалось мнение, что Тит не хотел разрушать Храм, без конца уговаривая мирно сдаться. Флавий не уставал доказывать, что в разрушении Храма повинны сами евреи, их внутренние войны, и в этом есть доля трагической правды. Однако нельзя забывать – рушили и жгли Второй Храм римские солдаты. Что же касается планов Тита и его роли в уничтожении Храма, то здесь необходимо обратиться к античным авторам, источниками для которых был не только Иосиф Флавий. О планах Тита бесценное сообщение содержится у христианского писателя Сульпиция Севера, который опирается на свидетельство Корнелия Тацита: «Тит, как говорят, созвал совет, чтобы обсудить, разрушить ли храм, возведенный столькими трудами. Действительно, некоторым казалось, что не следует уничтожать священное здание, прославленное превыше всех творений смертных, и что, если его сохранить, оно будет свидетельством сдержанности римлян, а если разрушить – вечным памятником их жестокости. Другие же и сам Тит, напротив, считали, что храм нужно разрушить» (Сульпиций Север, Хроника, II, 30, 3).

Что Тит стремился разрушить Храм любой ценой подтверждает и другой известный историк, Дион Кассий, когда он описывает последний этап штурма Храма. Рассказывая в каком состоянии были римские солдаты на последнем этапе штурма, он отмечает, что утомленные долгой осадой, они стали подозревать, что слухи о неприступности города правдивы. Более того, те, которые должны были войти в Храм, «из суеверного страха вошли не вдруг, но вступили вовнутрь лишь по истечении некоторого времени и понуждаемые Титом» (Римская история LXVI, 5, 3).

У Флавия читаем, когда римляне ворвались в Иерусалим «...и войско не имело уже кого убивать и грабить. Ожесточение не находило уже предмета мести, так как всё было истреблено беспощадно. Тогда Тит приказал весь город и Храм сравнять с землей» (Иудейская война, кн. VII, 5, 1).

Приведенный материал с несомненностью доказывает, что главный виновник разрушения Храма был Тит.

Знал ли Тит, на что он руку поднимал? Знал прекрасно, не мог не знать. В Риме Иерусалим признавался самым значимым городом на Востоке. «Иерусалим – самый знаменитый из городов не

только в Иудее, но и на Востоке». Это наблюдение сделал известный естествоиспытатель Плиний Старший, тот самый, который погиб при извержении Везувия в 79 году. Корнелий Тацит, авторитетный римский историк (не филосемит), говорит о Иерусалиме «знаменитый город». Я могла бы привести целый список подобных цитат. Кроме того, стоит напомнить, что, когда в 63-м году до н.э. Помпей захватил Храм, войдя в него, он ни к чему там не прикоснулся. Согласно Цицерону, разрушителя иерусалимского Храма «злоречивый Город» (Рим) облил бы презрением, т. е. кончилась бы его политическая карьера. Но времена Помпея прошли, Тит штурмовал Храм в период ранней Империи, когда победителя знаменитого города ждала высшая награда – триумф. В этот период, так же, как и во времена Республики, триумф назначался сенатом по окончании такой войны, которая сопровождалась тяжким поражением врагов, и это требование, по свидетельству Иосифа Флавия, Тит выполнил сполна. Как видим, даже Флавий не мог скрыть жестокости своего покровителя.

После победы над евреями судьба погромщика второго Храма сложилась так, что дорога к триумфу и императорской власти затянулась на долгие годы, а свою заветную мечту – монументальную триумфальную арку, Титу вовсе не посчастливилось увидеть.

В год, когда солдаты Тита по его приказу равняли с землей Иерусалим и жгли Храм, в Риме уже правил престарелый отец Тита Тит Флавий Веспасиан. В 69-м году он вышел победителем в тяжелой гражданской войне за императорский престол в Риме. Ход войны подробно изложен у Тацита, который дает еще и гениальное описание душевного состояния человека, добивающегося императорской власти в Риме в гражданской войне. «Не легко решиться на такое дело как гражданская война, и Веспасиан медлил, то загораясь надеждами, то снова и снова перебирая в уме все возможные препятствия. Два сына в расцвете сил, шестьдесят лет жизни за плечами, – неужели настал день, когда всё это надо отдать на волю слепого случая, воинской удачи? ...Перед тем, кто идет на борьбу за императорскую власть, один лишь выбор – подняться на вершину или сорваться в бездну» (Тацит, История II, 74). Веспасиану удалось выиграть в тяжелой гражданской войне и подняться на вершину императорской власти; его противником был полководец Вителлий, за которым шла армия преданных сол-

дат. У Веспасиана такой армии не было, ему пришлось собирать солдат по всему Ближнему Востоку. К Веспасиану примкнули все приморские провинции вплоть до границ Азии, а также Понт и Армения. Он призвал в армию ветеранов. Отборные отряды набрал в Сирии друг Веспасиана Муциан. К Веспасиану примкнул еврейский царь Агриппа II, который сколотил отряды из предателей евреев. «Царица Береника тоже встала на сторону восставших солдат. Молодая, красивая, она даже старого Веспасиана обворожила» (Тацит, История II, 81). Веспасиан вышел победителем в 69-м году. А в начале 70-го года он отправил Тита на усмирение Иудеи, где его ждали 5-й, 10-й и 15-й легионы. Тит присоединил 12-й легион из Сирии, а также 22-й и 23-й из Александрии. Кроме того, в армии Тита было двадцать когорт союзников, восемь конных отрядов, «значительные силы арабов, особенно опасных для евреев, так как эти два народа питали друг к другу ненависть, обычную между соседями» (Тацит, История V, 1). С такой армией, даже отчасти перебитой евреями, можно было смело идти на Рим, тем более «он заслужил такую любовь и ликование солдат, что они . . . провозгласили его императором . . . мольбами и даже угрозами, чтобы при отъезде из провинции он их всех увел с собой» (Светоний, Тит, V). Но Тит больше всего боялся развязать новую гражданскую войну, да еще против своего отца, поэтому вопреки желанию своих солдат он отправился не в Рим, а для начала в Сирию, затем в Александрию. После того как солдаты и в Александрии провозгласили Тита императором «Это внушило подозрение, что он задумал отложиться от отца и стать царем на Востоке; и он сам укрепил это подозрение, когда в Александрии при освящении мемфисского быка Аписа выступил в диадеме: таков был древний обычай, но нашлись люди, которые истолковали это иначе. Поэтому он поспешил в Италию... добрался до Путеол, оттуда не мешкая бросился в Рим и, словно опровергая пустые о себе слухи, приветствовал не ожидавшего его отца: «Вот и я, папенька, вот и я» (Светоний, Тит V). Иначе описывает прибытие Тита в Рим Иосиф Флавий.

Как только в Риме стало известно о «восточном походе» Тита, по Городу поползли слухи, что Тит задумал отложиться от отца и стать царем на Востоке. Чтобы успокоить отца Тит «начал готовиться к отъезду в Италию, он отпустил сопровождавшие его два

легиона на места их прежнего назначения» (Флавий, Война, кн. 7, 4, 3). В Риме первым вышел ему навстречу отец, оказав сыну особенную честь. Но кроме отца высыпало население города, которое «к величайшему своему удовольствию» радовалось не встрече с Титом, а тому, что они могли приветствовать «всех троих»: Веспасиана и его сыновей Тита и Домициана. Воспользовавшись настроением народа, все трое решили устроить общий триумф Веспасиана, Тита и младшего брата Домициана, который вообще не имел никакого отношения к иудейской войне. Все это происходило в то время, когда сенат готовил отдельный триумф Титу. Таким образом, Тит фактически потерял триумф и звание победителя Иерусалима. Но и это еще не всё.

Каждому полководцу-победителю сенат присваивал титул императора, назначал триумф и принимал решение о возведении ему триумфальной арки. Такие арки обычно устанавливались на Форуме или вблизи его. Тот, кто бывал в Риме и видел Форум напротив Колизея, наверняка обратил внимание на несколько таких арок. Рядом с Колизеем вы видите роскошную триумфальную арку императора Константина в честь его победы над Максенцием в 312 году. На Форуме не пройдете мимо арки Септимия Севера в честь победы над Парфией. Существовала в Риме арка Трояна в честь его победы над германцами и даками.

Тит до самой смерти Веспасиана в 79 году избегал напоминать о своей победе. Ему ничего не оставалось как терпеливо ждать смерти отца, чтобы получить от сената официальное звание императора и решения поставить в честь победы над Иерусалимом монументальную триумфальную арку. Поскольку такая арка немедленно не строится, а сенату необходимо было задобрить Тита в самый короткий срок, проблема была решена необычным способом. Согласно Иосифу Флавию, в Риме существовали ворота, названные триумфальными вследствие того, что через них всегда проходили триумфальные процессии. Ворота эти находились в восточной части Большого цирка. Сенат принял в 80-м году решение превратить эти триумфальные ворота в триумфальную арку Тита, о чем свидетельствует надпись на каменной плите, укрепленной на воротах. Ворота со временем разрушились и предполагалось, что они были навсегда утеряны для истории. Но в 2007-м году в восточной части Большого Цирка

начались археологические раскопки, в ходе которых было открыто основание и фрагменты триумфальной арки. Раскопки велись десять лет и в 2017-м году место, где велись раскопки, было открыто для публики. Что касается надписи на каменной плите, то в IX-м веке она была скопирована анонимным автором и опубликована в одном из ранних сборников латинских надписей, а позднее перенесена в Свод латинских надписей (Corpus Inscriptionum Latinarum, сокращенно CIL). Надпись помещена в CIL vol. VI, 944. Ниже даю текст надписи в моем переводе с латыни.

Сенат и народ римский

Императору Титу Цезарю сыну божественного Веспасиана, Веспасиану Августу, Великому понтифику, облеченному властью трибуна в 10-й раз, императору (победителю Р.Л.) в 17-й раз, консулу в 8-й раз, отцу отечества, принцепсу своему, за то, что, руководствуясь наставлениями и советами отца, он покорил народ иудеев и разрушил город Иерусалим, на который до него все вожди, цари, народы или напрасно устремлялись либо вообще не нападали.

Приведенная надпись буквально кричит о том, как важно было Титу поскорее возвестить Риму, да и всей империи, что именно он покорил евреев и разрушил неприступный Иерусалим. Он десять лет ждал этого мига, поэтому и согласился водрузить победную надпись на триумфальных воротах Большого Цирка. Тит несомненно мечтал не о такой триумфальной арке. Возможно уже при его жизни была заложена монументальная арка, та самая, которая сегодня расположена напротив Колизея у входа на Форум и известна как триумфальная арка Тита. Но, как я уже отмечала, Титу не посчастливилось увидеть свою мечту, о чем свидетельствует надпись на плите в верхней части знаменитой триумфальной арки:

**SENATUS
POPULUSQUE ROMANUS
DIVO TITO DIVI VESPASIANI F
VESPASIANO AUGUSTO**

Мой перевод:

СЕНАТ И НАРОД РИМСКИЙ
БОЖЕСТВЕННОМУ ТИТУ ВЕСПАСИАНУ АВГУСТУ
СЫНУ БОЖЕСТВЕННОГО ВЕСПАСИАНА

Как видим, Тит фигурирует в надписи с титулом Божественный (Divus), который присваивался решением сената умершему императору.

В популярной литературе установилось мнение, что знаменитая арка была построена после смерти Тита следующим императором Домицианом, младшим братом Тита. Но братец был первым ненавистником Тита. Согласно Диону Кассию ходили слухи, что именно он отравил Тита, «а когда Тит умер, читаем у Светония, — Домициан не оказал ему никаких почестей, кроме обожествления». Свидетельство Светония не оставляет сомнений, что арка не могла быть возведена при Домициане. Такое предположение было высказано ещё в 1915 году в самом солидном журнале античности The Classical Journal в статье The Date of the Arch of Titus (Дата арки Тита). На основании тщательного исследования правления Домициана автор пришел к выводу: распространенное мнение, что арка была построена при Домициане, ошибочно. Автор предположил, что арка могла быть построена при императорах Нерве или Траяне. Это предположение в 1975 году было подтверждено эпиграфическим исследованием.

Дело в том, что на обратной стороне современной арки существует надпись, которая сообщает о реставрации арки папой Пием VII в 1329-м году. В 1975-м году было сделано предположение, что в античное время на этом месте была надпись, которая опубликована в CIL VI, 946. Ниже даю её текст (перевод на русский мой):

«Божественному Титу Веспасиану Августу, сыну божественного Веспасиана. Возвел арку Император Цезарь сын божественного Нервы Траян Август Германский Дакийский Великий Понтифик облеченный трибунской властью император консул отец отечества»

Перечисленный в надписи порядок почетных должностей Траяна позволил датировать её 102-м годом. Именно Траян, который вместе с Титом осаждал Иерусалим, став императором, добился от сената разрешения возвести Титу Флавию Веспасиану монументальную триумфальную арку. Итак, мечта Тита исполнилась через 20 лет после его смерти и через 30 лет после разрушения Храма.

Тит ушел в мир иной на 42-м году жизни. Он правил всего два года, причем не самых радостных. Против него сложилась целая оппозиция, которая плела бесконечные заговоры (Дион Кассий). Особенное раздражение оппозиции вызывало намерение Тита жениться на еврейской принцессе Беренике. Боялись, что еврейка станет Августой.

Кроме того, не было конца козням Домициана: он открыто подстрекал войска, стремясь стать главнокомандующим. Среди всех этих забот Тита настигла мучительная смерть. «... умирая он взглянул на небо и горько стал жаловаться, что лишается жизни невинно: ему не в чем упрекнуть себя, кроме, разве, одного поступка. Что это был за поступок он не сказал, и догадаться об этом нелегко» (Светоний, Тит, 10).

РОЗА ЛЯСТ “ИМПЕРАТОРЫ И ЕВРЕИ”

Главный сюжет книги – евреи в политике римских императоров. Суть ее – защита императорами еврейских религиозных традиций, что не мешало грабить евреев налогами и нещадно давить еврейских повстанцев. Книга состоит из научно-популярных очерков, основанных на документах и новейшей научной литературе. Каждый очерк – увлекательный рассказ из древней еврейской истории.

Издательство “Москва-Иерусалим”, 2013, 210 страниц.

Цена 40 шек.

Обращаться к автору.

Тел. 054-7231203

E-mail: isidore@post.tau.ac.il

Марк Горин

ВГИК И НЕ ТОЛЬКО... КАК ЭТО БЫЛО

Мои университеты...

*Альма-матер, альма-матер, лёгкая ладья.
Белой скатертью дорога в ясные края.
Альма-матер, альма-матер – молодая прыть.
Оглянись, народ лохматый – нам далёко плыть...
Вид отважный, облик дружный,
Ветер влажный, ветер южный, парус над волной...*
Дмитрий Сухарев

...И зачем мне был этот ВГИК?

И в самом деле, зачем? Написав преамбулу к этому тексту, я крепко задумался: а надо ли здесь говорить о том, как я вообще оказался во ВГИКе? И понял, что, наверное, все-таки надо. Разумеется, не из тщеславия, хвастать особо нечем: закончив ВГИК, я практически ничего мало-мальски заметного в кино не сделал, несколько документальных и научно-популярных кино– и телесюжетов не в счет, они есть в биографиях очень многих журналистов и для их написания вовсе не обязательно было оканчивать ВГИК. Я всегда любил журналистику, ничем другим заниматься никогда не хотел и до сих пор не хочу. Да и университетский диплом уже лежал в столе. Зачем же мне понадобилось еще одно высшее образование? Об этом, решил я, стоит написать, чтобы стало понятно, как может в жизни и судьбе молодого человека отразиться некий совершенно необязательный и неожиданный вывих, как может поманить и повести за собой карнавально-яркий, загадочно-обманчивый и, одновременно, удивительно прекрасный свет случайно увиденных обворожительно-красивых звезд. В прямом и переносном смысле...

Я родился в Баку, или Знак судьбы...

Чтоб было понятней, как же все это так причудливо сложилось, мне придется здесь сказать несколько слов о себе; впрочем, для мемуарного жанра в этом ничего плохого, кажется, нет. Я родился в Баку, о чем всегда говорил и говорю с удовольствием и гордостью.

Однако семья наша никакого историко-биографического отношения к этому, совершенно замечательному городу, не имела – ее корни остались, как и у очень многих евреев той страны, где-то между Бессарабией и Одессой, и, если бы не война, то, скорее всего, я был бы одесситом, что тоже совсем не плохо. Однако все сложилось, как сложилось. Но во мне, видимо, все равно бурлит и клокочет свободный южно-приморский характер. И – пусть в других землях, у берегов других морей – ведет он меня до сих пор. Гены?!

Мой папа закончил математический факультет Одесского университета буквально за несколько дней до того самого 22 июня 41 года. И ушел вместе с друзьями-сокурсниками добровольцем на фронт в первые недели войны. При всей неразберихе тех месяцев кому-то, все-таки, хватило ума отобрать из наспех набранной массы стриженного молодняка физиков и математиков с высшим образованием (сколько их было-то в те годы?) и отправить в краткосрочные артиллерийские училища. Осенью 41-го он уже командовал зенитной батареей под Тулой, а закончил войну в частях, штурмовавших Кенигсберг. После войны хотел вернуться в науку, но непустили, к тому времени папа стал одним из первых советских специалистов по военной радиолокации, профессия была в дефиците; отечественных локаторов еще толком не было, осваивали английские, а локаторщики уже были, хоть и не много. В общем, нужны были знающие люди, но офицеров с высшей технической подготовкой по пальцам можно было пересчитать, а с университетским, физматовским дипломом, считай, почти и не было. В общем, папе снять погоны не дали, с личными интересами тогда не особо церемонились, и его часть мотало по западным окраинам страны, мама, истосковавшись за войну, как и многие жены офицеров, разделяла его гарнизонную участь, новый, 1948-й собирались встречать в белорусском Гомеле. Но

тут, в точности, как пелось в популярной тогда песне "Артиллеристы, Сталин дал приказ!" из еще более популярного фильма "В шесть часов вечера после войны"... полк, где папа служил заместителем командира по радиолокации, передислоцировали куда-то "недалеко от Баку", как шепотом излагали "военную тайну" друг дружке в офицерских семьях. До моего появления на свет оставалось месяца четыре. Что и произошло, как рассказывала мама, в роддоме на Кировском поселке города Баку. Так я навсегда стал бакинцем. А полк папин оказался в военном городке на станции Насосная, это – сразу за Сумгаитом, если ехать из Баку вдоль моря.

Военный городок – есть военный городок. Тем более, по тогдашним меркам. Впервые, к своему огромному удивлению, я увидел мужчин в гражданском, когда меня года в четыре родители взяли с собой в Баку в выходной день. А так – воспоминания детства: песок, море, игрушечные пистолеты и самолеты... Кино показывали по субботам, на пустыре за офицерскими домами (дом офицерского состава, – ДОС) стоял натянутый экран, перед ним – десяток вбитых в землю добела обструганных скамеек для солдат. Офицерские семьи шли со своими табуретками. Кино показывали про войну, разговоры взрослых были про войну, дети играли в войну...

Женщины-азербайджанки в больших цветистых платках по утрам будили криками "Мацон! Мацон!" Они приносили к нашему крыльцу мацони, жирное свежее кислое молоко, лившееся из трехлитровых бутылей в подставленные банки большими тяжелыми белыми кусками, и живую рыбу (светло-синий Каспий был совсем рядом, меньше километра), которая билась на тарелке железного безмена – ржавых тяжелых весов. Они говорили маме "Баджи..." ("сестра", поясню для русскоязычных глаз), а меня, крутившегося рядом, ласково называли "оглум" ("сынок", если я правильно понимал).

Мне оставалось до первого класса всего ничего, когда папу опять перевели, на сей раз – преподавать радиолокацию на военной кафедре Донецкого политехнического института, огромного учебного заведения – чуть ли не основной базы подготовки советских горных инженеров. В Донецке, очень крупном и известном областном центре Украины я и пошел в школу.

Вероятно, сказалось мамино влияние: живя в Азербайджане, она печаталась, и, видимо, не без успеха (иначе бы не публиковали) в большой газете "На страже", которую издавал Бакинский округ ПВО, чей штаб был расквартирован в столице республики. Ещё в школьном возрасте мои первые строчки начали изредка, в основном – в обзорах писем (коллеги поймут) мелькать на страницах областной молодежи и я бесповоротно "влюбился" в журналистику. Поскольку факультета журналистики в Донецком университете не было, я поступил на исторический факультет и стал уже регулярно публиковаться. А к окончанию университета имел десятки публикаций – от информационных заметок в несколько строк до подвальных репортажей и очерков в областной и республиканской печати.

Здесь стоит остановиться и объяснить причину, заставившую расстаться с городом юности, родителями, друзьями. Я всегда с добрым и искренним интересом относился к местам, в которых жил, конечно, любил Донецк, да и как не любить город, в котором вырос, стал студентом, увидел первые заметки в молодежной газете за своей подписью. До сих пор тепло вспоминаю донецкую юность, знакомые улицы, школу, учителей, не уходящие и сегодня из скайпа лица одноклассников и сокурсников, наши мечты и споры, – радуюсь встречам с дончанами и общим воспоминаниям, хотя происходящее в тех краях сегодня приятных ощущений, увы, не вызывает.

Мой выпуск, ты уже не школьник
И не студент уже давно,
Над пустотой донецких штолен

Спит детства желтое окно..., – написал я когда-то, тоскуя о друзьях подростковой юности, с которыми разлучила жизнь.

Однако светлые чувства, которыми укутана память, не освобождают от объективных оценок тогдашней реальности. Именно в Донецке я достаточно рано понял, что я – не такой, как все. Я – еврей. Разговоры дома, драки во дворе, нередко, прямое хамство по "данному вопросу" в троллейбусах и на улицах об этом забыть не позволяли. Уже к старшим классам стало понятно, что это – не только бытовая и семейная тема, она присутствует и в общественной жизни, и если я хочу чего-то добиться, то свои планы и усилия по их реализации надо перемножать на определенный

коэффициент. Как говорили тогда в нашей среде: если еврей на вступительных экзаменах в ВУЗ претендует на оценку "пять", то он должен знать на "шесть".

Скажем прямо, то, что "еврейский вопрос" в той жизни существовал, уже давно ни для кого не тайна. Проявлял он себя по-разному, где-то сильнее, где-то – слабее. Но в процессе приема в высшие учебные заведения обычно обострялся. Эта непростая и нелегкая тема еще ждет, безусловно, своего серьезного исследователя. Я же здесь лишь делюсь впечатлениями, сохранившимися в памяти. В университет я поступал в 1966-м, знаменитый год, когда выпускались сразу 10-й и 11-й классы. В молодом ДонГУ, преобразованном из педагогического института за пару лет до того, конкурс на истфак был больше 20 человек на место. В соответствии с тогдашним законом, те, кто окончил школу с медалью, сдав первый профилирующий экзамен на "отлично", сразу же зачислялись. Так медалисты заняли почти половину вожаемых мест, и вступительный конкурс сразу взлетел еще вдвое, делая поступление совершеннейшей лотереей: на каждое из оставшихся мест претендовало более 40 человек. А вот с абитуриентами-евреями обстояло чуть интересней. Было известно (земля же слухами полнится!), что одного молодого представителя этого неугомонного племени сюда берут каждый год. Точно, как при царе: 1 из 50 студентов курса – 2%-я норма (так и оказалось!). Значит, оставалось стать этим, единственным. Выхода не было, я им стал. Справедливости ради надо сказать, что так происходило, конечно, не везде. В разных ВУЗах, на разных факультетах "еврейский вопрос" решался по-разному. Но университетский истфак, как я уже потом понял, считался факультетом идеологическим, поскольку именно туда шли различные выдвиженцы с производства, которым нужно было высшее образование для получения различных партийно-профсоюзных и иных руководящих постов. То есть, здесь для многих открывалась карьерная дорога "в начальники", чем и было обусловлено соответствующее отношение. Такой подход вполне уживался с присутствием в числе преподавателей вполне адекватного количества моих соплеменников. Да и на учебном процессе, не хочу зря сгущать краски, "национальная тема" практически не сказывалась. Однако к окончанию университета я, естественно, прекрасно понимал (да никто этого особо и

не скрывал, чего уж тут было стесняться), что, несмотря на многочисленные публикации, в штат газеты меня с мом носом не возьмут – в тех краях это было совершенно не реально. А ехать по распределению учителем не хотел: относясь к этому ремеслу с большим уважением, я уже навсегда заболел журналистикой. Что было делать? И я написал полтора десятка писем в редакции газет, так называемых, "молодых городов" от крайнего Севера до крайнего Юга с одним и тем же содержанием: "... молод, холост, полон энтузиазма, готов на любую работу в печати". К таким городам тогда относился и Сумгаит. Конечно, это – "советская романтика", о которой сегодня смешно вспоминать, но что-то для совсем молодого человека, согласитесь, в этом было.

Ответы приходили такие: "Напомните о себе через год...", "Напишите в сектор печати обкома партии"... Слова мало напоминали человеческие, как будто их излагали не люди, а роботы. И только из Сумгаита написали по-людски (помню эту телеграмму дословно, будто вчера получил): "Чтобы практически говорить о вашей возможности работать в нашей газете, вам надо приехать, чтобы мы могли познакомиться с вашими способностями, а вы – с нашим коллективом и городом. С уважением...". Я, хотя и рос в достаточно традиционной еврейской семье (во всяком случае, по советским меркам, – в доме отмечались национальные праздники, родители говорили на идиш), религиозным человеком не стал, но всегда верил в судьбу и знаки, которые она посылает. И то, что именно из тех мест, где я родился, пришел ответ, не исключавший положительного решения, мне таким символическим сигналом и показалось – вдруг получится, что "где родился, там и пригодился"?

Было и еще одно обстоятельство, способствовавшее определению моего выбора. Хотя воспоминания о жизни в Азербайджане всегда были окрашены дома в самые хорошие тона, этот период нам казался все-таки случайным и завершенным; мало ли, куда на тот или иной срок забрасывало офицерские семьи... Однако в маме навсегда осталась любовь к Баку, городу, где она была молода и счастлива, пробовала себя в журналистике, и который чем-то, наверное, настроением, солнцем и морем, не просто напоминал, но и, как я потом понял, видимо, эмоционально заменил ей Одессу ее детства и юности, которую она так больше и не увидела.

Короче говоря, одел я старую папину военную рубашку "бобочку", модные тогда "джинсы" из парусины, подпоясанные широким офицерским ремнем, и уехал "в белый свет, как в копеечку", где меня, вроде бы, никто не ждал, а оказалось, что ждала целая жизнь.

Я, конечно, еще не знал прозорливую поговорку "Кто голову кутума ел, все равно вернется в Баку". Но, видимо, она уже делала свое таинственное и мудрое дело (кутум, поясню, замечательная рыба, которая больше нигде не водится). Я второй раз ехал в этот волшебный (во всяком случае, для меня) город: первый раз – еще внутри мамы, чтобы родиться там физиологически, а второй – чтобы родиться заново еще в одной жизни, стать взрослым человеком, журналистом...

Первые шаги в неизвестное

"Мои университеты"... Город принял доброжелательно, но строго. Два месяца спал в редакционном архиве на старых подшивках (редактор выпросил для меня одеяло и подушку в расположенном неподалеку общежитии алюминиевого завода) и испытал подлинное счастье победителя, когда, наконец, зачислили в штат и выплатили первую, пусть очень скромную, но уже реальную зарплату.

Ощущения были похожи на те, что испытывают герои фантастических романов, оказавшись на другой планете; при всей избитости сравнения по-иному не скажешь. Другой мир, другие нравы, нет привычной настороженности во взглядах, словно тебя в чем-то подозревают. Я, конечно, понимал, что не все так просто и надо учиться жить в новой жизни, но свежие ощущения позволяли с надеждой вглядываться в иные горизонты. Особенно неожиданными оказались еврейские впечатления. В Донецке слово "еврей" было чем-то привычно неловким и полуругательным, чего всегда надо немножко стесняться, а то и – опасаться. А здесь в Сумгаите, как и в Азербайджане в целом, оно звучало так же, как название любой другой национальности, которых в этих краях присутствовало немало. Еврейские национальные праздники отмечались открыто, шумно, большими компаниями – так же, как и мусульманские, христианские, – нередко в кафе и ресторанах,

семьи покупали в Бакинской синагоге мацу на Песах. Немало евреев было и среди руководителей – директора заводов, управляющие трестами, начальники управлений, а уж всякого рода "замы", главные специалисты – просто огромное множество. Видимо, это были дети эвакуации, привезенные сюда в лихую годину из западной части страны семьи были очень по-доброму приняты здешней землей. Да и журналисты, заведующие отделами республиканских изданий, нередко носили характерные фамилии, о чем свидетельствовали таблички на дверях, чего никто не стеснялся. Мой первый редактор (которому я, наверное, и обязан своей судьбой), тоже оказался еврей, и тоже – Марк, бывают же совпадения. Его звали Марк Григорьевич Ворошиловский. Умный, многоопытный, очень уважаемый в городе и в республике руководитель газеты. Интересный, неординарный человек, многому меня научивший. Можно сказать, он и дал мне настоящую "путевку" в журналистскую жизнь, через несколько быстро пробежавших лет я стал его заместителем.

То, что я увидел в новом для себя мире, можно было характеризовать словами "Чудеса, да и только!" С одной стороны – все это было совершенно удивительно... С другой – абсолютно естественно в той жизни, в которую я попал: Баку, да и Сумгаит, и другие города Азербайджана, которые довелось увидеть в те времена, были абсолютно интернациональны, толерантны, доброжелательны, характер человеческих отношений вместо памятных насмешек – скрытых, а то и демонстративных – предполагал веселую и добрую иронию, а нередко и – самоиронию, что всегда вызывает теплое отношение к собеседнику, делает разговор проще, дружелюбнее. Здесь это хорошо понимали, Восток – дело тонкое!

Пишу обо всем этом, и сам чувствую себя неловко. Ну, работают люди, проявляют способности, ум, трудолюбие, – какая разница, какой они национальности? Или дружат по-соседски, вместе отмечают национальные праздники своих народов, – обычное, естественное явление. Но так уж была устроена та жизнь, что откровенная, а порой и просто оскорбительная аномалия считалась нормой, а нормальное казалось экзотикой, вызывало восторг и удивление. Впрочем, эти ощущения быстро прошли; то, что поначалу особо впечатляло, вскоре стало буднями: хочешь и уме-

ешь работать – давай, работай, тебя оценят; сколько же можно восхищаться нормальными отношениями людей! Да и не до того было: стремление найти и создать себе место под горячим азербайджанским солнцем, которое может обогреть, а может и сжечь дурака, требовало работы, работы и работы. Редактор был требовательный, опыта еще не хватало, вместо умения тратилось время сна, но что-то уже начинало получаться.

Короче говоря, я достаточно рано – неполных 23-х лет, проработав всего год в штате своей редакции, будучи полностью гуманитарным и очень малоопытным человеком, стал заведующим отделом промышленности городской газеты, – так складывались редакционные дела. Кажется, моложе меня на такой должности в республике журналистов не было, мне, во всяком случае, подобные примеры неизвестны. Сумгаит, при своих сравнительно небольших масштабах, уже тогда был очень важным промышленным центром Азербайджана, расположенным в получасе езды рейсовым автобусом от Баку (практически – город-спутник столицы), у самого синего моря. Этот город несколько высокопарно называли «Промышленным сердцем республики», понятно, что за отдел мне достался. В Сумгаите было около 20 заводов, из них треть – гиганты (во всяком случае, по тем временам и отраслевым меркам), так что было чем заниматься. В общем, постигал журналистику, о которой мечтал: робость начинающего проходила, я делал в любимом ремесле все новые шаги, стремился тверже встать на ноги, присматривался уже и к республиканским изданиям. Я тогда еще не знал понятия "американская мечта": "работай по-настоящему, и у тебя все будет в порядке", но так, по сути, и выходило.

Я получал искреннее удовольствие от работы в газете, хотя она и нелегко давалась. Моя профессиональная карьера выглядела многообещающе, мне уже прочили в недалеком будущем пост заместителя редактора (что и состоялось). Даже квартиру однокомнатную (отдельная квартира, возжеленная мечта каждого советского человека!) "выделили" заботами редактора меньше чем через год работы.

Тяжелая, но необходимая оговорка: печальные и подлинно трагические события, связанные с названием города, в котором ярко и очень интересно проходила моя молодость, произошли

почти через 15 лет после тех времен, о которых идет разговор, и почти через 10 лет после того, как я уехал оттуда в Москву. Я не был свидетелем тех страшных явлений, подробности случившегося знаю опосредованно, со слов других людей; я доверяю их горьким и тягостным впечатлениям, но все равно писать об этом не хочу, во всяком случае, здесь и сейчас. Твердо и абсолютно честно скажу одно: тогда этого ничто не предвещало. Да и разговор здесь о другом.

Так что вернусь к главной теме моего повествования. Разумеется, ни о каком ВГИКе я тогда, в начале 70-х, не думал, к кино относился как рядовой зритель. Ну, может, чуть более любознательный, чем среднестатистический потребитель, но я ко многому относился с повышенным любопытством, – характер такой, работа такая. Однако его величество случай уже поджидал за соседним углом.

Его величество Случай!

В наш город приезжал из Москвы по семейным обстоятельствам уже достаточно известный, несмотря на свои тогдашние молодые годы, советский киносценарист, он когда-то работал в той же редакции и иногда заходил туда.

Познакомились мы так. Как-то вызвал шеф. Захожу, спиной ко мне за столом сидит невысокий, худощавый, рыжий человек...

– Вот, знакомься, – с трудом сдерживая многозначительный восторг, сказал редактор. – Это – знаменитый выходец из нашего коллектива... Он сидел на твоём месте, всегда выполнял задания редактора и не опаздывал на работу...

Глаза шефа были, как у еврейской бабушки, которая говорит внуку: "Будешь кушать кашу и слушаться старших – вырастешь такой же большой и умный как дядя Абрам..." Но у меня и правда кровь застучала: сидел на моем месте, с той же национальностью... стал знаменитым московским журналистом, потом киносценаристом... Значит, такое возможно?!

Мы довольно много общались и в этот, и в последующие его приезды. Мэтр был еще достаточно молод, ему было, наверное, не намного больше 30 (он всегда выглядел моложе своих лет, что скрашивало разницу между нами в возрасте и опыте), а его рас-

сказы об удивительной жизни московского киношно-редакционного мира производили потрясающее впечатление на начинающего свой путь провинциального журналиста, будоражили кровь и воображение. Я не называю имени и фамилии этого, сегодня уже очень знаменитого, писателя и драматурга, поскольку не знаю, хочет ли он фигурировать в моих воспоминаниях.

...А жизнь катилась своим естественным чередом. Нас было трое друзей: я, Фима Абрамов, закончив ВГИК, он потом работал на Азербайджанской киностудии, в 90-е, будучи горским евреем, уехал с семьей в Израиль, недавно выпустил повесть, с интересом встреченную читателями, и Фархад Агамалиев, – очень горько сказать, не так давно до обидного рано ушедший от нас невероятно талантливый человек: успешный драматург, писатель-прозаик, дипломат... А еще – одаренный журналист, художник не без способностей, певец с хорошим голосом, работавший какое-то время на профессиональной эстраде, спортсмен, знавший заметные успехи на ринге, отменный кулинар... Вот уж, действительно, если человек талантлив, то он талантлив во всем. Немногих Б-г наделяет столь щедро, но и спрашивает с таких счастливицков строго за предоставленные авансы.

Мы жили бедно, весело и азартно, как и должно быть в этом возрасте: читали запоем и спорили об искусстве до обид, волочились за местными красавицами, договариваясь, кому сегодня достанется ключ от моей "берлоги", зарплату пропивали в первые же два дня, а то и быстрее, тем более что любили, если удавалось, полакомиться фирменной азербайджанской кухней в "приличных местах" (разумеется, это было весьма недешево), а потом паслись, где и как могли. Молодость...

Друзья мои, еще не имевшие высшего образования, занимались тем, что за неплохую рабочую зарплату оформляли "наглядную агитацию" на каких-то сумгаитских заводах (была такая профессия "Ленина рисовать", старшее поколение должно помнить) и мечтали о другой жизни. И тут меня призвали в ряды Советской армии. Произошло это неожиданно и в довольно позднем для призыва возрасте, мне уже было лет 25. Как заведующего отделом городской газеты меня местное начальство долго не отпускало "в ряды", но что-то там не сложилось, и все-таки военкомат меня упек. Служил я год как имеющий высшее образо-

вание, но за этот год... оба моих вышеупомянутых друга умудрились поступить во ВГИК. Фима Абрамов на режиссерский (понятно, стационар), в мастерскую, которую набирали Игорь Таланкин и Георгий Данелия, – более чем звучные в советском кино имена, а Фархад на сценарный заочный, в мастерскую Юнаковского (за давностью лет, имя-отчество стерлось из памяти).

Возвращался я из армии в Азербайджан через Москву, зашел к Фимке во ВГИК повидаться. И он, после очередного глотка, несколько с высоты своего нового положения, категорически сказал: "Старик, ты должен учиться во ВГИКе! У заочников творческих ВУЗов сессия – два месяца. Два месяца в Москве за государственный счет! А какое кино здесь показывают!.. А какие девчонки на актерском факультете!.. Ты представляешь? В общем, Фархад тебе дома подробности расскажет, а я тебя летом жду здесь, на вступительных экзаменах. И ничего не говори..." Я и не говорил.

Молодость – очень хорошее дело, жалко только, что быстро проходит. В молодости все не страшно, все кажется достижимым, ничего не жаль... Ошибки? Только опыт, а не повод для огорчений... Вскоре мы с Фархадом написали для республиканского телевидения сценарий документального фильма о Сумгаите, он вышел, нашу работу хвалили. Сегодня я, разумеется, понимаю, что это было просто плохое кино. Но кто тогда об этом думал? Да и кто бы об этом думал на нашем месте? Три части (единица времени в кино – 8-10 минут), очень прилично для дебютантов! Поставленный сценарий! Более чем пристойный – не чета газетным – гонорар за фильм, на который просто грех не поехать в Москву сдавать вступительные экзамены во ВГИК... Тем более, что (опять судьба!) именно в тот год набирали, а это происходило лишь раз в пять лет, мастерскую документального сценария. Фархад (он уже заканчивал первый курс, представляете, какой авторитет!) сказал просто: "Нарежь свои очерки, плюс – наш сценарий, и для творческого конкурса на документальное отделение за глаза хватит. Не теряй времени!"

Как все начинается

ВГИК – это звонкое, как зов, слово завораживало. И учеба там была хрустальной мечтой не одного поколения. Но одно дело –

мечты и восторги, другое – реальная практика. Как и все в этом удивительном мире, вступительные экзамены здесь тоже проходили не как у всех. И об этом стоит рассказать подробнее. Итак, сперва – так называемый, творческий конкурс. Молодое (или не очень, сюда поступали годами) дарование, решившее разбить себе голову о невероятные, захватывающие дух вождедения, должно было прислать в приемную комиссию ВГИКа "творческие работы" – рассказы, очерки, эссе – у кого что было. Эти работы оценивались будущими руководителями мастерских – Мастерами, которым предстояло набирать своих студентов.

В тот год работы на творческий конкурс прислало около тысячи человек; некоторые из них были весьма многоопытны, так как пытались штурмовать заветные стены неоднократно. А, на сей раз, поступить должны были 15 счастливчиков: 8 – на игровое, то есть, художественное, отделение, и 7 – на документальное (напомню, набирали раз в 4-5 лет), куда прицелился и я. Так что – считайте сами.

Из этой почти тысячи отважившихся около двухсот потенциальных кинознаменитостей получили письма, уведомлявшие, что такой-то прошел творческий конкурс и "может прислать свои документы и заявление с просьбой о допуске к вступительным экзаменам". Как выяснилось впоследствии, это означало, что был еще и "конкурс документов" (с проверкой на их чистоту), да и как могло быть иначе в те времена в столь специфическом ВУЗе? За окном стояла еще не подозревавшая о своей скоротечности советская власть, и у нее были присущие только ей законы и нормы. В общем, из почти 200, вроде бы, осчастливленных, на экзамены в итоге пригласили лишь 90, остальных отсеяли еще "до всего" по причинам, ведомым лишь приемной комиссии. И только тогда все началось по настоящему: три тура творческих экзаменов, а потом, кто доплывет, три тура общеобразовательных. Мы думали, что хоть это будет как у всех, но оказалось, что тоже – не совсем так. Во всяком случае – у меня.

В Москву! В Москву!

...Вокруг лежала, дышала, разливалась вдохновляюще-прекрасная летняя Москва, столица нашей необъятной родины. Все в

ней было замечательно, все звало слиться с ней как можно крепче: и жившие там умные, правильные люди, наверное, готовые поделиться со мной знаниями и умениями, и редакции центральных изданий, где, не скрою, грезил когда-нибудь работать, и знаменитые театры, и модные выставки, и многообещающие афиши на стендах, и парки, бульвары, пруды с "говорящими" названиями, словно шагнувшие с книжных страниц, и просто архитектура, узнаваемая по фильмам... А еще – девушки-красавицы, известные злачные места, но особенно – рестораны в Домах творчества, в первую очередь, конечно, в Доме журналистов, куда у меня был официальный доступ (на зависть сверстникам и даже знакомым постарше), поскольку я уже был членом Союза журналистов СССР, тоже – едва ли не самым молодым в своей республике.

Там, в этом знаменитом Домжуре, был тогда уникальный пивной подвал. Вел туда неярко освещенный подземный коридор, стены которого были расписаны известными карикатуристами. И там, в невероятно демократичной обстановке собиралась пишущая и снимающая братия столицы, где я, совсем еще молодой и по возрасту, и по стажу, мог оказаться рядом за столиком (места были только стоячие: так больше входило и в помещение и в каждого из присутствующих) с самыми известными корифеями нашего ремесла. Все вокруг гудело, все что-то друг другу рассказывали и доказывали, а этим людям всегда было, что сказать под пару кружек свежего пива и копеечные, потрясающе вкусные "фирменные" бутерброды или, в просторечье, "фирма" – черный хлеб с килькой в томате, посыпанный мелконарезанным зеленым луком, – их брали дюжинами, а то и подносами. Кто пробовал – не забудет!

Подвала этого, увы, давно уже нет. Его закрыли еще при советской власти, видимо, испугавшись создававшегося там, за столиками, информационного пространства: журналисты много ездили по огромной стране, а кто-то – и по миру, делились впечатлениями и из всего этого, если уметь, уже можно было делать какие-то выводы. Вместо любимого пивного подвала наверху открыли унылый и очень дорогой коктейль-бар, куда мало кто приходил...

Но вернусь в 70-е, в свой приезд на вступительные экзамены во ВГИК. Мое самое удивительное тогда ощущение, вероятно, хо-

рошо знакомое многим провинциалам: Москва, такая знакомая по телевизору была здесь, рядом (москвичам не понять!), – не в кино, не в рассказах, не на несколько часов проездом, а вот, прямо тут, реально и вещественно, можно рукой потрогать. Неужели я буду с полным правом пользоваться всем этим, и это станет обыденной, нормальной жизнью?

Впрочем, запоминалось разное. К примеру, осталась в памяти и такая своеобразная, сегодня трудно представимая деталь. Наш институт и его общежитие, куда селили абитуриентов, находились недалеко от ВДНХ. От метро к воротам знаменитой выставки вела широченная аллея, вдоль обеих сторон которой тянулись два длиннющих ряда "автопоилок" – автоматов с газированной водой: с сиропом – 3 копейки, без сиропа – копейка. Дешево и сердито, очень освежает, особенно с похмелья. Так вот, каждое утро туда приезжал служитель с большой тележкой, на которой лежали впечатляющих размеров пакеты: там были стаканы! Самые обычные, но вошедшие позже в фольклор, граненые стаканы емкостью по 250 граммов. Но это – как посмотреть: для кого – обычные, а для кого – предмет первой необходимости...

Вспомнился здесь к месту анекдот уже времен горбачевско-лигачевской "борьбы с пьянством: "Что такое национальное по форме, социалистическое по содержанию? Граненый стакан с газированной водой!" Дополнительный смеховой эффект придавало то, что формулировкой "национальное по форме, социалистическое по содержанию" официально определялось советское искусство, о чем, боюсь, сейчас уже мало кто помнит.

Служитель в те времена ежедневно расставлял в автоматах новенькие граненые стаканы, поскольку поставленные накануне за ночь разбирали страждущие советские люди. В общем, вокруг была масса интересного...

Сдавал я экзамены легко и весело: молодость, за плечами недавний, пусть провинциальный, но, все-таки, университетский гуманитарный факультет, то есть – готовиться особенно не надо. Кино не было для меня мечтой, без которой жизнь – не жизнь... То есть, возвращение, как иронично говорила мама, боготворившая мою местную журналистику в Азербайджане и недолюбливавшая мой московско-киношный вывих, "обратно в мальчики-студенты", происходило весьма приятно. Подумаешь: не догоню, так хоть со-

греюсь... Не поступлю, так погуляю в свое удовольствие. И развеюсь после армии, и будет, что вспомнить. "Провалюсь?" – так это ж такой ВУЗ, где чуть ли не все проваливаются, тем более – с первого раза; не стыдно. Этаким своеобразный отпуск после года "в сапогах": опять-таки – июльская Москва, общежитие – пожалуйста, девушки прекрасны, пиво на ВДНХ – свежайшее (ближайшая, и любимая всеми поколениями вгиковцев пивная почему-то называлась в просторечье "Парламентом", наверное, ввиду умности разговоров за столиками), а вечером в общаге и что покрепче. И опять – разговоры, разговоры... Хотя, честно говоря, уже хотелось победы; а почему бы и нет? Не боги горшки обжигают...

Первый экзамен, самый главный, по которому мастера и определяли способности будущего драматурга – литературный этюд. То есть, за 6 часов надо написать литературное произведение на объявленную тему. Отсеялась примерно половина, две пятерки на весь поток, одна из них у меня. Красиво! Помогли друзья, прошедшие год назад через это же горнило. Значит так, объясняли они накануне экзамена: гениальность будешь показывать потом, сейчас твоя задача – поступить. Поэтому: 1) никакой прозы, – таким умникам советуют идти в литературный институт, попытайся написать драматургию; 2) максимум 5 страниц, а лучше – еще короче, больше в эту жару все равно никто читать не будет... Сказано – сделано! Пошли дальше. Второй экзамен – рецензия. Показывают кино, естественно, совершенно новое, 10 минут на перекур и – в аудиторию. 4 часа и – сдавайте работы. У меня тройка. Обидно и непонятно. Причину своего раздражения экзаменаторы объяснили мне на следующем экзамене – на собеседовании, где они давали окончательную оценку твоей нужности. Дело оказалось вот в чем. Нам показали впоследствии ставший всенародно известным фильм "Премия". Не сомневаюсь, что взрослый читатель, заставший советские времена, его видел. Но если кто-то не знает, или забыл за давностью лет сюжет этого фильма, скажу, что речь там идет о строительной бригаде, которая "отказывается от премии", поскольку считает, что из-за беспорядков на стройке и рабочие, и государство теряют значительно больше денег, чем предназначалось от той же премии. Примерно так. Вся эта коллизия разбирается на заседании парткома стройтреста (слова-то какие! Как вспомнишь, так вздрогнешь!). Кстати,

пьеса по этому сюжету, вскоре также поставленная, и не где-нибудь, а во МХАТе, так и называлась "Заседание парткома". Мы, понятно, не знали, что этому фильму придадут государственное значение, и он будет положительно упомянут в докладе Брежнева на очередном съезде КПСС. Это был уникальный случай, тем более что сценарист носил фамилию Гельман и за псевдонимом не прятался. Но я, пропадавший сутками на стройках, приятельствовавший с бригадирами-орденоносцами и пивший водку с начальниками монтажных управлений (а это, надо вам сказать, был особый народ), знавший немало хитростей про такие дела, написал "с ученым видом знатока", что такихстроек и таких бригад не бывает... Тем более, что их, действительно, не было – на стройках дрались за каждый рубль, отчаянно воровали и приписывали, но – героически пахали при этом сутками... во имя тех же премий. Однако киношная "Премия" была вершиной соцреализма – это, когда художественное произведение не про то, как есть, а про то, как должно быть. Хотя в деталях фильм был подкупающе правдив. Все это я и попытался изложить, в разумных формах, конечно. И был уверен, что экзаменаторы оценят, насколько же я лучше знаю материал, чем неизвестные мне тогда авторы сценария. Потом было вдвойне стыдно, когда узнал, что Гельман начинал как инженер-строитель и очень хорошо ориентировался в подобных сюжетах. Гораздо лучше меня, понимая, чего он от этой действительности хочет.

"Ну, что же вы так, – с укоризной сказали мне на собеседовании. – Вы же идете учиться искусству, а пишете – о стройке. А как у вас с общеобразовательными? Потянете?" Судя по этим откровенно заботливым, равнодушным, как мне слышалось (а может, казалось), словам и по "пятерке" за собеседование, я понял, что будущим мастерам я, кажется, приглянулся. Да и что за проблема – общеобразовательные предметы – литература и русский язык письменно и устно, да история СССР... Тоже мне, сложности. Но опять оказалось, что не все так просто. Ну, сочинение, – дело понятное и привычное, результат – тоже: пятерка. Меня и тут друзья наставляли: не пиши длинно, 2-3 страницы с твоим опытом хватит на раскрытие темы; зато останется время, чтобы дважды, а лучше – трижды проверить все запятые и падежные окончания. Все так и оказалось. А конкурс уже съезжился меньше

чем до двух человек на место. Вперед! Литература устно. Захожу, беру билет. Рядом сидит, готовится красавица-абитуриентка, пишет рассказы, была ассистенткой у Чухрая (от одних имен голова идет кругом). "Тема и идея в "Поднятой целине", шепчет она. Начинаю объяснять, чувствую – не понимает. "А ты роман читала?" – шепчу ей в ответ. "Кино видела..." Ну, понятно... Во ВГИКе, на вступительных, подсказок не боялись, кто же будет при таком конкурсе поддерживать конкурента?. Но мне было не жалко, да и девушка – действительно очень красива. Я попытался ей что-то написать, но быстро понял, что она не помнит даже фамилий героев, и спасти ее не удастся.

Мой билет меня особо не волновал – "Горе от ума": Фамусов-Чацкий, Скалозуб-Молчалин... Ну, несколько слов об эпохе, о "лишнем человеке" для антуража, – проскочим. Что ж я, содержание не расскажу? Да я одних цитат знаю столько.... Но я плохо представлял себе, с каким ВУЗом имею дело. Доцент Бахмутский, как я потом убедился в годы учебы, человек и преподаватель более чем непростой (впрочем, простых я во ВГИКе почти не встречал), прочел в моем билете вопрос и ударил сходу. "А почему "комедия"? – быстро спросил он, не дав мне открыть рот. – Это что, смешно?"

Ага, понял я, значит, с пересказом сюжета не прокатит, надо что-то иное. А что? Ну-ну...

"Нет, конечно, – ответил я и, переведя дыхание от неожиданности, почувствовал, что, кажется, могу нащупать нужную тропку в топкой и вязкой трясине под ногами, а потому – осмелев, и даже чуть обнаглев, добавил: "Все это было бы смешно, когда бы не было..." Бахмутский удовлетворенно-благодарно кивнув, перебил меня: "Тогда почему, все-таки, "комедия"?"

В такой завуалированной похвале я почувствовал симпатию и поддержку, но это ничего не решало. Не знаю, понял ли Бахмутский, но, приведя к месту цитату, я заманивал его к повторению вопроса (мол, на поверхностной эрудиции не выедешь, ты знания покажи), а значит, выигрывал несколько секунд. И не ошибся, вопрос прозвучал еще раз и я получил эти секундочки, которых хватило, чтобы подцепить из памяти и почти докрутить мысль. И я рискнул (была – не была): "Это – комедия, потому что произведение соответствует триединству Буало, которое по жанру опреде-

ляет комедию при соблюдении единства места, времени и образа действия. В то же время..." Увидев, что я разгоняюсь для дальнейшей демонстрации знаний, Бахмутский сделал предупреждающий знак рукой и царственно вынес приговор: "Достаточно. Все понятно. Отлично!" Уходя, я краем глаза заметил, как смиренно идет в пасть крокодила моя несчастная красавица-соседка, которой, наверное, ВГИК был нужен гораздо больше, чем мне. Смотреть на это было невозможно, но что делать? В джунглях каждый погибает в одиночку.

Через несколько минут Бахмутский вышел курить, и мы с ним "под сигарету" обменялись несколькими фразами о российском человеке времен Грибоедова, дворянской интеллигенции, Чацком, Репетилове... И я понял, что разговор здесь пойдет уже на другом уровне.

И тут, дня за два до последнего экзамена (напомню, это важно – "История СССР"), мне общие знакомые пересказали любопытный разговор. Обо мне. Тот самый кинодраматург, с которым я встречался в Сумгаите, встретив Фархада, приехавшего на сессию за первый курс, поинтересовался, как я сдам. Тот ответил, что весьма прилично, остался последний экзамен – история. "Кто принимает?" – спросил тот. "Доцент К." – ответил Фархад. "Это плохо. Не повезло Марику. Доцент К. его не пропустит, – уверенно сказал кинодраматург. – Пойми, и так по всему институту идет разговор, что какой-то провинциальный еврей рвется на сценарный. А К. входит в руководство политико-воспитательной части института. Марика он просто не может пропустить. Обязательно завалит". "Ну, это мы посмотрим", – упрямо сказал Фархад, не любивший, чтобы кто-то пытался его переспорить. "Ты не знаешь доцента К.", – еще уверенней сказал кинодраматург. "А ты плохо знаешь Марика!" – Фархад, как я понял, просто закусил удила. Короче, они поспорили на бутылку коньяка. На меня! Как на лошадей! Я, конечно, был в курсе пересудов, что, мол, на сценарный и режиссерский евреев не допускают... Но, чтоб настолько? Ну, подумал я, услышав все это, дела. Надо соответствовать. Но как? Понятно, что абитуриент перед вузовским экзаменатором, который сознательно хочет его завалить, все равно, что кролик перед удавом. Мы все учились понемногу, знаем. Где же выход? И я понял, что мой единственный шанс – поменяться с экзаменато-

ром ролями, чтобы я стал удавом, а он – кроликом. Тем более, что я понимаю, на что иду, а он не знает, с кем имеет дело. Фактор внезапности на моей стороне.

Экзамен назывался, напомним, "История СССР". И первым делом я выяснил, изучают ли во ВГИКе "Историю СССР"? Нет, объяснили мне, здесь, как во всех советских вузах, только историю партии, философию... "А приглашают ли для приема вступительных экзаменов школьных преподавателей истории СССР?" Нет, сказали, принимают только свои, ВГИКовские. Оп-па, подумал я: значит передо мной сидит человек, который закончил истфак лет двадцать или больше назад и с тех пор гражданскую историю СССР не открывал. А я закончил истфак с пятеркой по истории СССР пять лет назад. Так что он может со мной сделать? Тем более – бутылка коньяка на кону...

В общем, беру билет: "Татаро-монгольское иго на Руси". И начинаю подробно и медленно, цитируя наизусть классиков марксизма, смаковать генезис родоплеменных образований у монголов; то есть, рассказываю о вещах, происходивших лет за 300-400 до самого ига. Представляете картинку?! Довольно толстый и не очень молодой человек, весьма начальственного положения, в июльскую московскую жару, обливаясь потом (кондиционеров, напомним, еще не было), сидит и слушает какого-то сумасшедшего молодого еврея, который, кажется, собирается хронологически рассказывать ему все эти 500 лет жизни монгольских племен год за годом. А что делать? Он что, запретит мне цитировать классиков марксизма? Ну-ну... Я сам по диплому преподаватель истории, и хорошо знаю, что студента можно перебить только фразой "Достаточно. Отлично". Не хочешь? Слушай дальше. Говорю я по теме, не придерешься. Да и ассистент рядом, а ВГИК институт вольнолюбивый, и кто знает, куда потом этот еврей пойдет. И тут К., показав определенную эрудицию, делает сильный ход, перебивая меня вопросом: "Когда кончилось на Руси татаро-монгольское иго?" Это – вопрос на засыпку в прямом смысле слова, с таким же успехом можно дать человеку сзади обухом по голове или подставить ему подножку на краю пропасти. Дело в том, что большинству, конечно, было известно о знаменитой "Куликовской битве", то есть, победе князя Дмитрия Донского над ханом (на самом деле – темником, то есть начальником тумена – 10-тысяч-

ного отряда воинов) Мамаем. Некоторые даже помнили, что это "Мамаево побоище" произошло в 1380 году. И вот тут-то неучей и ловили. Потому, что только единицы, кроме профессионалов, разумеется, знали, что (в школьных советских учебниках это не акцентировалось) через два года после "побоища" хан Тохтамыш сжег Москву и восстановил выплату орде дани. Это "безобразие" продолжалось еще почти 100 лет до 1480г., когда Иван III встретился, не вступая в битву, с ханом Ахмадом и произошло так называемое "Стояние на реке Угре". И именно этой датой официально оканчивается на Руси татаро-монгольское иго. Такие подробности знают даже далеко не все студенты-историки, потом я пару раз проверял из любопытства. Все это я медленно, с расстановкой, не отказывая себе в деталях, стал излагать доценту К. Наконец, тот, глядя на меня (как мне показалось с ненавистью, а может я это придумал от волнения?), спросил: "Что вы заканчивали?" И я, со всей возможной кротостью и честностью, скромно ответил "исторический факультет". Не глядя на меня, сидящего перед ним, он наклонился к ассистентке. "Ставлю пять. Следующий..."

Вечером киноматург принес бутылку хорошего коньяка. Все, я – студент ВГИКа. По набранным баллам мы с Сережей Дьяченко, будущим толковым сценаристом, делим первые два места: 28 из 30! Правда, Сережа оказывается на полкорпуса впереди, поскольку закончил мединститут со средним баллом диплома "5", а у меня за университет "4,5". Ну и ладно...

Но, выясняется, что даже такие внушительные результаты – не гарантия. В этом институте и зачисление происходило "не как у людей". Списки получивших проходной балл (представляете?) не вывешивались, чтобы никто из ВГИКовского начальства не нес никакой ответственности, а абитуриент, наоборот, ни на что не мог сослаться. Просто, все, не получившие на экзаменах двоек, приглашались на ритуал зачисления. В назначенный день и час они толпились у кабинета ректора. Вызывали по одному, в порядке набранных баллов, в принципе, могли кого-то пропустить, и пригласить следующего с меньшими результатами, такие факты имели место. Доказать ничего было нельзя. Здесь вам не "математика письменно" и даже – не сочинение. Творческий вуз! Мастера так считают, – и все. Они – Жрецы Храма Высокого Искусства и ничего никому объяснять не должны.

Но меня пригласили в соответствии со списком, высокий синклит во главе с ректором благодушно поздравил, даже, кажется, кто-то сказал, что, вот, мол, хорошо, что приходят (особенно в документалистику) опытные журналисты, знающие жизнь... Вышел, закурил, и почувствовал, что действительно, а не только в книжках, бывают ситуации и минуты, когда "земля плывет под ногами", а я просто не могу прийти в себя.

Опомнился, когда через час получил студенческий билет ВГИКа и познакомился со своим Мастером – доцентом Александром Георгиевичем Никифоровым, который и набирал нашу мастерскую будущих сценаристов документального кино. Александр Георгиевич сказал: "Ну, вы даете..." Я понял, что он имеет в виду вступительные экзамены. Было приятно, но... До меня начинало доходить, что впереди – пять лет учебы новой профессии! Контрольные, зачеты, экзамены... В общем, все с начала. Голова шла кругом...

Уже дома, в Баку, старший товарищ по цеху, прекрасный журналист, надо сказать (ныне проживает в израильском городе Холоне), спросил меня: "А зачем тебе все это было нужно?" Я долго мямлял, не зная, что ответить. Ведь, действительно, зачем? И, наконец, выдал из себя: "Ну.... интересно". "Это – не главное", – уверенно припечатал мой собеседник. "А что же главное?" – робко спросил я. "Гонорар!" – еще более уверенно отрезал тот. Легко жить, когда точно знаешь ответы на все вопросы. Увы, не всем дано...

Иностранцы...

Во ВГИКе, как и в очень многих советских вузах, учились иностранцы, посланцы дружественных стран или социально-политически близких (идеологически правильных!) общественных сред. Заочники, понятно, с ними общались мало. Но случалось по-всякому. Мне запомнились три лица, не просто из разных стран, но и с разных континентов, оставившие очень разные впечатления.

Латинская Америка

К огромному огорчению я не помню имени этого неординарного парня, но точно помню, что он был из Южной Америки. Жаль, что

запомнилось немного, потому что сильно хочется его здесь упомянуть. Это был очень живой человек, находящийся, словно ртуть, в постоянном движении, как будто он все время немного пританцовывал. Он был небольшого роста, внешне хрупкий, с каким-то взглядом, похожим на детский, очень внимательным и очень доброжелательным, будто выражавшим постоянное предупредительное желание помочь собеседнику. Хотя я, в то же время, всегда чувствовал, что где-то в глубине его черных лучистых глаз таится какая-то тайна, печаль, которой он ни с кем не делится. Несмотря на явно малобъемное телосложение, он, казалось, заполнял собой все пространство, в котором находился. Он был с режиссерского факультета. По-русски говорил с небольшим веселым акцентом. Не раз слышал от него: "Давай праздник устроим!" Присутствие этого человека (возраст которого трудно угадывался) всегда приносило ощущение легкости и веселья, привычно схожее с хрестоматийными представлениями о его родине, он был как бы воплощением книжно-киношного вечного карнавала. А потом я узнал, что этот парень всю юность провел в настоящем подполье, был схвачен, сидел в жуткой тюрьме, и вся спина у него в страшных широких шрамах от ударов саблей плашмя – фирменной порки латиноамериканских полицейских горилл. Вот вам "форма и содержание" – все как учили.

Мати Гешонек. ГДР

Сегодня уже давно нет страны, в которой отец Мати, Эрвин Гешонек, был невероятно популярным артистом, любимым и народом, и начальством, и, как рассказывают, очень многими женщинами. Хорошо знали его "нордический" профиль и у нас, по фильмам, в которых он снимался.

Мати учился в режиссерской мастерской Георгия Данелия вместе с уже упомянутым здесь Фимой Абрамовым, так что мы немало времени провели в одной компании. Мати был человеком веселым, компанейским, говорил по-русски практически без акцента, любил петь песни Окуджавы под гитару. Еще он позволял себе передразнивать с утрированным немецким акцентом выговор русских слов "вражескими офицерами" из старых советских фильмов про войну, типа "Партизанен? Расстреляйт!" Наверное,

здесь было над чем смеяться, но, честно говоря, разделять это его ерничество мне не хотелось. Да и вообще, несмотря на близость отца, Эрвина Гешонек, к руководящим кругам ГДР, Мати очень иронично относился к советско-коммунистическим реалиям того времени.

Насколько я знаю, Мати стал серьезным и успешным режиссером в Западной – тогда – Германии (а почему бы, и нет?), работал и как сценарист. На его счету целый ряд успешных фильмов.

Усама. Сирия

Усама приехал из Сирии, учился на операторском факультете, мы несколько раз пересекались в кинозалах, в буфете. Отношения были не то, чтобы близко-товарищескими, но вполне доброжелательными. Как-то пришел Фимка в мою комнату и говорит: "У Усамы день рождения. Пойдем?" Я, вообще-то, человек легкий, люблю дружеские застолья и сейчас, а в те годы – тем более. Но тут я подумал и отказался: "Нет, пожалуй, не пойду..." А на Фимкино "Ты чего, старик?", ответил, чуть подумав, чтобы прозвучало точнее: "Усама – нормальный парень, между нами нет и не было ничего плохого. Но... После 200 грамм разговор может повернуться по-разному. Мы – люди разных миров, у меня своя правда по вопросу об отношениях Сирии и Израиля, у него, наверное, своя. Зачем?" Напомню, за окном стоял конец 70-х. Фимка попытался что-то возразить, типа, "Да, ладно...", но понял, что я – всерьез. Кажется, он тоже тогда не пошел, и мы нашли, чем себя занять в другом месте.

...Через много лет мне сказали, что Усама погиб во время налета израильской авиации, снимая наши пикирующие самолеты из воронки. И я подумал, что правильно тогда поступил.

Если информация о его гибели верна, то мне искренне жаль Усаму, и я с уважением думаю о том, как он выполнял свой профессиональный долг. Но... Моя правда была тогда, когда я узнал о случившемся и, тем более, осталась сейчас с израильским летчиком, защищающим свою страну и ее людей от ужасов террора, приходящего с враждебных нам территорий, откуда несут смерть в еврейские дома наши злейшие враги. На войне, как на войне. У Усамы, думаю, была другая правда. И этим правдам еще не дано

объединиться. Хотя, если я доживу до дней, когда между нашими странами наступит мир, мне бы хотелось прийти на могилу Усамы и молча там постоять. Впрочем, лучше бы печальная информация не подтвердилась, и Усама был жив. Вот тогда я бы с удовольствием отметил с ним заключение мира между нашими странами доброй рюмкой в Дамаске или Тель-Авиве, вспоминая вгиковскую молодость.

Книга Эдуарда Бормашенко “СУХОЙ ОСТАТОК”

Возможна ли философия в современном мире?
Как сложить мозаику, включающую узор заповедей
и паутину уравнений современной физики?

Как сопрягаются воля к истине и воля к смыслу?
Автор, не возводя 1001-ю философскую систему,
предлагает записать своего духовного опыта

и размышления о текстах,

сформировавших его внутренний мир.

Книгу открывают автобиографические зарисовки.

Издательство Москва-Иерусалим, 2014 год, 308 страниц.

Цена книги с пересылкой – 75 шекелей.

Для заказа чеки на имя Эдуарда Бормашенко
пересылать по адресу:

Ariel, 40700, P.B. 2369, Avner str. 17, apt. 2, Israel.

Электронный адрес автора: edward@ariel.ac.il

Эдуард Бормашенко

К СТОЛЕТИЮ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

На моем полувеку образ русской революции менялся: от приторного прищура «Ленина в Октябре» через веселое «Белое солнце пустыни» к безнадежному «Собачьему сердцу» Бортко; дрейфуя и постепенно и скачкообразно: от фадеевского «Разгрома» к зазубринской «Щепке». Менялся и я: от пионера и комсомольца до полуортодоксального жителя Израиля (не знаю, есть ли надежда, что стану «полным наконец»). Все менялось. Режиссер Бортко, например, атактистически сполз в ЦК КПРФ, полному успеху которой в русских умах мешает только безнадежная лысина ее вождя, тускло перекликающаяся с лысиной основателя партии и главного героя Русской Революции.

Тонкому и проницательному историку, Марку Алданову, Революция виделась нелепым «пазлом» неотесанных случайностей, по недоразумению ли, по злой ли воле сатаны сложившихся и притершихся в неслыханную по безобразию картину заплеванной большевиками русской жизни. Именно так представлена Революция в книге его очерков «Огонь и дым». Почти через сто лет примерно так же глядел на февральский и на октябрьский перевороты Солженицын. Вот если бы у царского правительства хватило сообразительности, вот если бы у Керенского нашелся преданный ему полк...

Окружающая меня историческая реальность выглядит не менее бездарно и хаотично: надвигающийся развал США, русско-украинская война, резня в Сирии, мусульманское завоевание Европы. Еще двадцать лет назад все это казалось немыслимым. Меня всегда изумляли удачные исторические прогнозы, удававшиеся Казотту, Дурново и Амальрику. Я даром исторического про-

рочества обделен. Но по прошествии ста лет, Русская Революция все же видится по-другому, и дело не только в том, «что нет ничего легче, чем предсказывать то, что было» (Клемансо).

Смена масштаба, объектива микроскопа, под которым мы глядим на историческое явление, позволяет рассмотреть закономерности вблизи неразличимые. Это банальность. Небанальна концепция «случайной» и «необходимой» истин, введенная Лейбницем в «Письме Косту о «Необходимости» и «Случайности», от 19 декабря 1707 года. Различение между «случайной» и «необходимой» истинами оказывается равно продуктивно и в физике, и в истории. Прохождение электрона сквозь одну из щелей экрана – событие случайное, но появление дифракционной картины, возникающее при прохождении пучка электронов сквозь двухщелевой экран – истина «необходимая». То, что я сейчас шлепаю по клавишам компьютера в городе Ариэль – истина случайная, но то, что могучий ураган истории подхватил мою ленивую душу, не помнившую Авраама, Ицхака и Якова, и перенес в Израиль – истина необходимая. Примерно так же глядел на исторический процесс Лев Толстой, изложив свою точку зрения в тягучем Эпилоче к «Войне и Миру».

Беспомощность Керенского – случайна, но то, что русская революция – непосредственное продолжение французской (с неизбежными поправками на национальный характер, громадность территории и технический прогресс) – представляется необходимым и почти неизбежным. Ленинское политбюро очень хотело походить на Конвент. Алданов полагал, что второе революционное представление-пришествие удалось худо; есть Жрецы и есть жрецы, есть Калхас и есть калхас, и был неправ. Из первого ряда любой спектакль смотрится дурно, мешают животик первого любовника, морщины на шее примы, грим, румяна, пот, запах изо рта... Но из исторического далека Мирабо, Робеспьер, Троцкий и Ленин – равно титаничны.

Еще одна смена объектива и укрупнение масштаба позволяют заметить, что и французская, и русская революции – фрагменты громадной религиозной войны, начатой Вольтером и просветителями и неоконченной по сей день. С вольтеровского «раздавить гадину» началась великая мировая война религии разума против всех религий мира. Вера в разум терпела поражения даже во вре-

мена Французской Революции, проиграв культу верховного существа, превращенного Робеспьером в государственную религию. В русской революции ее легко подмял религиозно воспринятый массами марксизм.

Демаркация полей действия и бездействия культа разума – непростая задача. Его жрецы, ученые, меняли свои взгляды, и менялись сами. Поначалу истина размещалась в «Энциклопедии, или толковом словаре наук, искусств и ремёсел», сегодня в последнем выпуске *Nature*. Но, может быть, вера в непрерывные перемены и их благодетельное последствие качества и отличает религию разума.

Наилучшее по концентрации и сжатости мысли credo культа разума я нашел в предисловии Ю. Манина к «Математике, как Метафоре»: «Вся моя интеллектуальная жизнь была сформирована тем, что я условно стал называть Просвещенческим проектом. Его основная посылка состояла в вере, что человеческий разум имеет высшую ценность, а распространение науки и просвещения само по себе неизбежно приведет к тому, что лучшие, чем мы, люди, будут жить в лучшем, чем мы, обществе. Ничто из того, что я наблюдал вокруг себя в течение двух третей прошлого века и подходящего к концу десятилетия нового века, не оправдывало этой веры. И все же я верю в Просвещенческий проект».

Предельная интеллектуальная честность Юрия Ивановича Манина заставила его подчеркнуть: речь идет о вере. А вера не фактами порождается, и не фактами может быть разрушена. Успехи религии разума в маоистском Китае и сталинском СССР никак не мешают Оливеру Стоуну сегодня воспевать Фиделя Кастро, замучившего на Кубе десятки тысяч противников режима, а моим студентам носить маечки с портретом изувера-романтика Че Гевары, столь любезного сердцу Дмитрия Быкова. Зверства религии разума – истина необходимая; раздавленные Иван, Абрам или Ли – совершенно случайны. Впрочем, в этом религия разума от других мировых религий ровно ничем не отличается.

Среднестатистический верующий в разум тоже ничем не отличается от других верующих. Это означает, что основания своей религии он никогда глубоко не продумывал, просто по привычке к думанию, но готов стоять за нее насмерть (иначе бы русская революция не победила бы). Сегодня он готов идти на баррикады

за «глобальное потепление» и громить Гамбург, ничего не понимая в сложнейших и интеллектуально не слишком прозрачных моделях климата. Но ведь католики, резавшие протестантов, не слишком разбирались в тонкостях зловерной теологии Лютера. Рядовой гугенот тоже не твердо знал, в чем ошибается Папа, но за шпагой на перевязи лез спору.

Однако, для того чтобы резать, богословом быть не нужно, и в Южной Германии тридцатилетнюю войну католиков с протестантами пережила лишь треть населения. В конце войны и вообще, было совсем непонятно, кто с кем воюет, коалиции воюющих держав были смешанные. И сегодня состав коалиций вызывает изумление; очень, например, трудно понять, отчего выпускники левых университетов, храмов религии разума так любят палестинских боевиков. Состав коалиций случаен, но неисчислимы бедствия, приносимые религиозными войнами, после которых «и поле некому косить, и мертвых некому носить» – определенно необходимо.

Сегодняшние профессор и студент, рядовые верующие в разум, никогда не подбирались к окраинам сферы своего сознания и не задавали себе предельных вопросов. Их попросту перемолола средняя школа и университет, жречески важно сообщившая набор дурно пригнанных знаний, именуемых последним словом науки. Из университета же (вопреки его названию) полностью выветрился дух универсального знания, может быть и потому, что ученых-универсалов не осталось. Поле научного знания сегодня необозримо.

А философия, призванная интегрировать знание и подтаскивать упирающееся сознание к последним вопросам, влачит жалчайшее существование. Мне, например, не удалось уговорить начальство ввести курс философии в программу обучения физиков и инженеров. В итоге, выпускник университета верует в предрассудки науки столь же слепо, сколь ранее суеверовали недоросли, перемолотые церковными школами.

Выборы в США – эпизод, но важный эпизод религиозной войны. Религия разума, «разводя изумленно руками», потерпела поражение. Ей пришлось временно отступить и в России. Трамп и Путин не то чтобы недолюбливают передовую интеллигенцию, но

знают, что на самом деле она любит деньги; а разум и свободу от всего передовые актеры и журналисты почитают оттого, что за них недурно платят, а если платить перестанут, так охотно полюбят что-нибудь другое. Вот Олег Табаков и Геннадий Хазанов, не размениваясь на мелочи, полюбили Путина.

* * *

Сегодня мало кто вспоминает о том, что самой популярной мерой, проведенной большевиками, было предельное упрощение процедур браков и разводов. В течение недели можно было пару раз жениться. Это нововведение нравилось даже недобитым буржуям. Идеи утонченной красавицы Александры Коллонтай возмущали приход сексуальной революции. Синтез большевизма с блядством казался случайным, но это не так. Всякая мировая религия должна сказать свое слово в сексуальной сфере, что-то разрешить, а что-то грустно и сурово запретить. Это истина необходимая. Как же было промолчать религии разума? И она сказала свое слово: разрешив поначалу решительно все. Большевики даже пытались сококупить обезьяну с человеком. Сегодняшняя борьба левых интеллектуалов за права лесбиянок лишь развитие теории стакана воды.

Полезно вспомнить о том, что идеи Александры Коллонтай потихоньку испарились, и дела ходоков рассматривались парткомами. Разумная и неразумная власти соображают, что нравами артистической богемы народ жить не может, и если рухнет семья, то она потянет за собой и частную собственность, и государство. А если рухнет государство, то чем же власть будет править? Получается нескладно.

Сегодняшняя борьба религии разума с мировыми религиями – едва ли не в первую очередь борьба за семью. Ни из теории относительности, ни из квантовой механики, ни из генетики – семью не выведешь. В этой борьбе бывали приливы и отливы. СПИД очень повредил разумному, левому делу, но тут на помощь пришел презерватив, столь талантливо напяливаемый на морковку на уроке сексуального просвещения Викторией Исаковой в замечательном фильме Кирилла Серебренникова «Ученик». В этом фильме быть может наиболее глубоко отрефлексирована война веры в разум с традиционными религиями. Режиссер в ужасе

перед бесами жестокости и мракобесия, реанимированными новыми верующими, но понимает, что презервативом на морковке от Библии не отмахнешься. Серебренников оставляет зрителя в недоумении и растерянности, а это не худшие состояния человеческого духа.

* * *

Российская православная церковь закрепляет сегодня в сознании русских представление том, что Революция была религиозной войной. В этом она не ошибается. Пастве удобно представлять дело так, что силою зла в этой войне было мировое еврейство (так понятнее и надежнее, как же Кириллам не продаваться за серебренники). Это, разумеется, – ерунда. Религия разума равно враждебна христианству и иудаизму. Но среди жрецов религии разума было и остается немало евреев. Это истина, и истина необходимая. Евреи – необычайно религиозно одаренный народ. Религиозная одаренность состоит в способности пылко следовать внеличной цели. Евреи, жрецы разума, и следовали ей без-заветно, от Ветхого Завета отказавшись и подчиняя жизнь иному Служению, как это делали Львы Давидовичи. Троцкий сложил головы всей своей семье и свою бедовую головушку на плахе своих бредовых идей, а Ландау наставлял своих учеников не только в том, как решать задачки, но и в том, как спать с женами и любовницами, создав беспрецедентный, всепроникающий, теорфизический закон.

Но и без Львов Давидовичей на Руси доставало жрецов новой веры. Не любивший деклараций и восклицаний Чехов, слегка себе изменяя, объявит: «моя святая святых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода от силы и лжи, в чем бы последние две не выражались». Антон Павлович очень поразился бы тому, что расстояние от его Святая Святых до Лубянки, где сила и ложь правили и правят безраздельно, и где искусно мучили и терзали человеческую душу и тело, не слишком велико. Достаточно было объявить, что «все дозволено» во имя новой веры. Сейчас, правда, на Лубянке, окончательно превратившейся в Святая Святых России, энергически крестятся, но на то ведь она и ползущая по Руси Реставрация.

Религия разума угодила в расставленную ею самую ловушку. Один из элементов credo этой религии – безоговорочная вера в спасительные свойства всенародного волеизъявления. А народ, не разумея собственного блага, тупо выбирает Путина, Трампа, Нетаниягу и Эрдогана. Народный здравый смысл предпочитает внеразумную традицию презервативу на морковке, представляющему новый сладостный культурный стиль не менее явно, грубо и зримо нежели смартфон.

Религия разума обеспечила золотому миллиарду неслыханное процветание, оставив остальным комплекс неполноценности, зависть, злобу и ненависть к цивилизации. Каким бы космическим не был масштаб русской революции, она лишь эпизод мировой религиозной войны, которую ведет религия разума. Талантливый московский философ Валерий Подорога считает, что современная информационно-технологическая цивилизация уже победила, и никаких других жизнеспособных культур на Земле не осталось. Их вымирание в заповедниках-резервациях – вопрос времени. CNN и презерватив уже пролезли во все щели. Но этой победой цивилизация вырыла себе яму, обычную тоталитарную яму, и мы живем уже после конца света. Я, проживая в резервации, не то чтобы более оптимистичен, но не хочу смешить Б-га своими прогнозами.

Александр Мошинский

ПАМЯТНИК

Большие поэты на Тверском бульваре

С детских лет нам всем известно стихотворение «Необычайное происшествие, произошедшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Оно зализано в школе до «хрестоматийного глянца». Но до конца ли мы его понимаем? Да, Маяковский, с присущей ему скромностью, сравнивает себя с солнцем. Ни больше, ни меньше! «Ты да я, нас, товарищ, двое». Но, если вдуматься, кого из русских поэтов сравнивали с солнцем? Да никого, кроме как Пушкина. Впервые это сравнение прозвучало в извещении о смерти поэта, написанным Одоевским: «Солнце русской поэзии закатилось»... А тут: «за деревнею дыра, а в ту дыру, наверно, спускалось солнце каждый раз...» Да еще за «пригорком Пушкино». Конечно, Маяковский реально жил летом в Пушкино, но совсем необязательно выносить этот факт в первую строчку, выставляя этим некий знак. Не так уж часто слово «Пушкин» появляется в поэзии Маяковского. Собственно, кроме «Юбилейного» с ходу ничего и не вспомнишь. А в посвященном Пушкину «Юбилейном» то же сравнение, то же подчеркнутое равенство двух поэтов. «Кто меж нами, с кем велите зняться?» Что Маяковскому Солнце? Равняться – так с Пушкиным!

Внутри самого стихотворения сидит уже не намек, не знак, а целый сюжетный ход, отсылающий нас к Александру Сергеевичу. Вспомним дона Гуана, дерзко предлагающего статуе Командора «стать на стороже в дверях». У Маяковского, естественно, нарочито приземленное приглашение зайти на чай и – как следствие – смертельный испуг: «Что я наделал, я погиб...» Слова статуи Командора у Пушкина: «Я на зов явился», звучат в этом контексте как продолжение реплики Солнца у Маяковского: «Ты звал меня?»

Солнце при этом не катится, как шарик, а именно приходит: "само, раскинув луч-шаги, шагает солнце в поле". Такие вот – "Шаги Командора" (по Блоку). Что же получается? Солнце уподобляется статуе, а, иначе говоря, памятнику. Так с памятником общается Маяковский и в «Юбилейном». Выходит, что сюжет обоих стихотворений, в общем-то, одинаков. Да и перекликаются они даже в мелочах не случайно: «Не знай ни зим, ни лет, сиди, пиши плакаты» – «Я теперь свободен от любви и от плакатов».

А не случайно ли, что оба они написаны в июне? К Пушкинским дням?

Собственно, в связи с «Юбилейным» этот вопрос не стоит. Мало того, что понятие «юбилей» заложено в названии, само стихотворение является своего рода ответом на есенинские стихи – «Пушкину», прочитанные у памятника Пушкину в 1924 году в день рождения поэта со строчкой «Стою я на Тверском бульваре». («Юбилейное» со строчкой «На Тверском бульваре очень к Вам привыкли» было опубликовано в том же году но несколько позже). Уничижительные строки («коровою в перчатках лаечных», «бала-лаечник») в адрес Есенина не случайны. Интересно в этом контексте, слегка закамуфлированное, но тем не менее прямое противопоставление Есенина Некрасову. Барин Некрасов – «мужик хороший», а крестьянин Есенин – «мужиковствующих свора». Никого из других своих современников Маяковский с такой силой не припечатал. Так он мог бороться только с тем, кого считал достойным соперником и конкурентом в борьбе за «общую курицу славы». Естественно, если «Юбилейное» включало в себя полемику с Есениным (и момент соревнования), то прямой выпад был практически неизбежен.

Для современников сомасштабность Маяковского и Есенина была очевидна. Вспомним хотя бы катаевский «Алмазный мой венец», в котором рядом стоят Командор (Маяковский) и Королевич (Есенин). Кстати, появление прозвища «Командор», которое дает Катаев Маяковскому, достаточно характерно. Фактически поэт здесь уподобляется памятнику. Но тема-то из того же «Каменного гостя»! «Командор» с большой буквы появляется в русской литературе достаточно редко. Первое, что приходит в голову – это Остап Бендер. Если не забывать, что Ильф и Петров были Другом и Братом Катаева, то «медальный профиль» Командора в

"Золотом теленке" еще теснее сближается с темой Памятника и Маяковского.

Тема «Королевича» у Катаева тоже отнюдь не случайна. Королевич-то имеется в виду не какой-нибудь европейский королевский сын (по европейски – принц), а скорее пушкинский королевич Елисей, иначе говоря, все-таки царевич. Те же ассоциации были у Маяковского, только он их весьма тщательно зашифровал. Вспомним его реалистически кошмарную строчку из "На смерть Есенина": «взрезанной рукой помешкав». А ведь это прямая переделка с сохранением лексики из волошинского "Дмитрий император" про царевича Дмитрия: «В Угличе, сжимая горсть орешков Детской окровавленной рукой, Я лежал, а мать, в сенцах замешкав, Голосила, плача надо мной." Так они и воспринимались: «Командор» с царственным медальным профилем и «забулдыга-подмастерье» – «Королевич». И им обоим не давал покоя Пушкин и его Памятник, как нерукотворный, так и бронзовый на Тверском бульваре.

Тема памятника для Маяковского была животрепещущей всегда. Даже в самом раннем «А для себя не важно и то, что бронзовый...», «Из костей и мяса памятник». А в том же «Юбилейном» – «Памятник при жизни полагается по чину». Здесь очень важно именно это «по чину». Мотив сравнения и соревнования присутствует у Владимира Владимировича постоянно. Собственные представления о ПАМЯТНИКЕ при этом экстраполируются на того, с кем хотелось бы «состязаться». В том же "Юбилейном": «А состязается с Державиным». Спрашивается, где же это Пушкин состязался с Державиным? Уж никак не в юношеских прочитанных Державину «Воспоминаниях в Царском Селе». Единственное стихотворение, которое может попасть под разряд «состязания» – это «Памятник» Пушкина, написанный вслед державинскому "Памятнику". Такая вот получается «картинка в картинке». Поэт обращается к памятнику и напоминает ему о его стихотворении «Памятник». При этом явно звучит намек о том, что ему, Маяковскому, могут ставить в упрек состязание с Пушкиным, как Пушкину с Державиным. Но Пушкин, Державин, Ломоносов, Гораций писали о памятнике нерукотворном... Маяковский о нерукотворном тоже помнит, но никогда не забывает и о бронзовом, хоть и бравирует: «заложил бы динамиту...»

Откуда же это стремление к бронзе? Почему не мечтал о «рукотворном памятнике» Пушкин? И уж, во всяком случае, не писал об этом! Но на Тверском бульваре не стоял памятник Державину... Памятник же Пушкину притягивал поэтов как магнитом во все времена, заслоняя порой памятник нерукотворный.

Разговоры с памятником дали повод для блестящей сатиры язвительного Булгакова, объединившего в своем Рюхине и Маяковского, и Есенина. Вспомним: у Есенина: «Эти милые забавы не затемнили образ твой», у Рюхина: «Какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу...» А происхождение Рюхинского «белогвардейца»! "Стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмертие". Первая и естественная ассоциация – «великосветский шкода» в "Юбилейном" у Маяковского. Но «великосветский шкода» очень недалек от «повесы» и «хулигана» у Есенина в "Пушкину": "О Александр! Ты был повеса, Как я сегодня хулиган". Только относится это не к Дантесу, а к самому Пушкину и самому Есенину. Но Маяковский с легкостью создает гибрид из повесы XIX века и хулигана XX века, получает соответствующее словосочетание и переадресовывает его туда, куда ему надо, поставив заодно Есенина на одну доску с Дантесом. А уж все прекрасно понимающий Булгаков завершает логическую цепочку и завязывает ее на главную тему романа – «Бессмертие!» Да, конечно, речь о бессмертии: и у Есенина, и у Маяковского. Только бессмертие это овеществлено, отлито в бронзе. А потому для Рюхина реально его «обеспечить».

Да, конечно, Маяковский рекламировал свою практичность: «в жизни ... мастак», «спирт в полтавском штофе». Даже предполагаемое бессмертие овеществлено: «все сто томов...» Только вот насчет «мастака» в реальной жизни «обеспечить» получалось плоховато... Тем более, что «большевистского партбилета» нет и не было. И мечта о памятнике – закамуфлированная и несбыточная. А ведь большим поэтам свойственно мечтать о бессмертии, видеть свой памятник. Даже затравленный Мандельштам на краю гибели пишет о «мастере пушечного цеха», «шведце кузнечных памятников», и ему грезится «меди нищенская цвель». Кажется, что это грустнее, чем "Вам и памятник еще не слит, – где он, бронзы звон или гранита грань?" у Маяковского, в стихах, написанных на смерть Есенина, но грустнее ли?

Большие поэты, создавшие себе «памятник нерукотворный», осознавшие это и хотя бы раз прошедшие по Тверскому бульвару, никогда уже не могли полностью отрешиться от магии памятника Пушкину...

«ВЕДЬМА НА ИОРДАНЕ»

такого вы еще не читали

Израильский прозаик Яков Шехтер уверенно вошел в еврейскую литературу в конце XX века, заняв место рядом с Ш.-Й. Агноном и Исааком Башевисом Зингером.

На страницах книг Шехтера герои талмудических дискуссий встречаются с «инкарни-рованными» персонажами Набокова, Бунина, Умберто Эко и других.

Подчас это создает удивительные столкновения, параллели и конфликты, ранее не ведомые еврейской литературе.

В рассказах и повестях сборника «Ведьма на Иордане», выпущенного издательством «Книжники», обыденное и житейское нередко пронизано гротеском и соседствует с мистикой каббалы.

Поистине новаторским является стремление писателя решить теологическую задачу - увидеть Высшее присутствие в столкновении и переплетении человеческих судеб.

Книгу можно заказать на сайте издательства, в разделе «Проза еврейской жизни»

Борис Карафёлов

ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА

Борис Карафёлов – талантливый живописец, и в юности, и в зрелости человек гармоничный и красочный, точь в точь как его картины. Они, кстати, в наличии в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, в музее Братиславы, в галереях Лондона, Берлина, Парижа. В Израиле Борис с семьей с 1990 года. Живет ныне в Мевассерет-Ционе.

Беседу с художником вели Ирина Маулер и Михаил Юдсон.

– Расскажите для начала немного о себе – люди и годы, жизнь и живопись...

– То есть кратенькая такая автобиография томов на пять – «Моя жизнь в искусстве»? Вот это точно не мой жанр. Если действительно коротко, пунктирно, то это так: родился в Голодной степи на нефтеразработках, а вырос в благодатной Украине, в Виннице. Учился в Крыму, в Симферопольском художественном училище, впитывая свет Крыма, воздух его... Занимался и педагогической деятельностью, оформлял спектакли, участвовал в выставках... Приехал в Израиль в 90-м. И опять – преподавал, оформлял спектакли, писал и пишу картины,ставляясь... Мне кажется, очень органичная, хоть и заунывно звучащая, биография человека моей профессии.

– Вы разрабатывали эскизы декораций и костюмов для спектаклей Театра на Таганке, «Мерлин-театра» в Будапеште. Театральный художник – это особая стезя, отдельное ремесло?

– Знаете, однажды, очень давно, мы с Диной возвращались поездом из Гагр в Москву, и в купе с нами ехал один очень старый человек. Много лет он был заведующим дома творчества писате-

лей в Переделкино, и, насмотревшись на писательскую братию, тоже решил что-то такое сочинять. Получались стихи. Он решил обратиться к поэтам за «мнением». И кто-то из приятелей устроил ему консультацию с известным в то время поэтом Луговым, который часто отдыхал и работал в Переделкино. – Только смотри, – сказал приятель. – Он в девять занимается йогой, сидит в позе лотоса. Постучись тихонько, войди и читай ему свои стихи...

Престарелый поэт так и сделал:

"Я постучался к нему, вхожу, и правда: сидит Луговой в позе лотоса. Глаза закрыл, так, вроде, медитирует. Я замер, думаю – на хрена ему мои стихи? Но все же (уже вошел, деваться-то некуда!) начинаю потихоньку читать свои стихи. Он молчит, медитирует...Я дальше читаю! Прочел все, всю тетрадь, все, что сочинил! Читал минут сорок! Луговой открывает глаза, и говорит – а знаете, неплохо, неплохо...Одно только замечание: у вас там слово «стеязя». Так вот, «стеязю» – к е.ни матери!"

Если уже без анекдота: театральный художник – это особое мышление. Я был знаком с замечательным театральным художником Давидом Боровским, и бывал свидетелем: когда мы разбирали с актерами какой-то текст и его сценическую реализацию, мышление Боровского сразу оперировало театральными образами. Я был поражен. У меня «работала» другая образная система представлений... Поначалу это было просто нахальство дилетанта, и какое-то чутье, но до уровня театрального мышления оно развито не было. Конечно, наше искусство апеллирует к чувствам. Но в пределах этого чувства есть свои градации: от чувства – к мышлению, которое можно назвать наглядным мышлением. Возьмите, к примеру, Петрова-Водкина. По природе не выдающийся колорист, он сумел развить свое цветовое ощущение до цветового мышления. И стал одним из самых интересных в цветовой области художником.

– Нынче Интернет создал, скажем так, «сверхмассовую литературу» – знай пеки тексты да суй стряпню в мир. А как Сеть повлияла на живопись?

– Думаю, в живописи идет тот же процесс, что и в литературе, хотя, возможно, новые реалии в каком-то пост-пост-пост-модернизме спровоцируют некие формы суперсовременной выразительности.

– Художник Саша Окунь в своей гротесковой книге «Камов и Каминка» утверждает, что в Израиле искусство захватили злобные гоблины, кураторы Иудеи, диктаторы халтуры. А ваше мнение?

– Мне кажется, что в израильском изобразительном искусстве проявляются те же тенденции, направления и силы, что и в мировом. Те же формы и способы представления творческой продукции, что и в эстетическом пространстве искусства так называемых развитых стран. Хотя, возможно, с отдельными особенностями национального и регионального характера.

– Ваши выставки проходили в разных местах – от Питера до Кипра. Выставка – это как выход книги, место встречи с читателем картин? Или просто некая важная вешка на тяжком пути художника?

– В разные периоды мне было важно то одно, то другое. Сейчас мне интересна выставка, как пространство, созданное моими картинами определенного этапа. Созданное, как будто для меня, лично, – для анализа проблем моего ремесла в определенном отрезке времени. И как возможность сформулировать задачи, дальнейшие ходы, пути развития моего творчества. Ну, и уж после того интересен, конечно, и зритель, и реакция его...и его мнение.

– У одного из нас «тройка» была в школе на Руси – по рисованию (зато другая – художница). А у вас есть педагогическая жилка – вы и в Виннице преподавали, и в Москве. Так живописи можно научить?

– У меня тоже была тройка по рисованию и по чистописанию. Причем, они были натянуты, просто неудобно было в четверти ставить двойку ученику, у которого пятерки по арифметике. Рисование, как и другие предметы, нам преподавала та же учительница...Очень она меня доставала. И вдруг в школе появился новый преподаватель рисования. Это был профессиональный художник. На первом же уроке он дал натюрморт: украинский глэчик с яблоком. Рисунок с натуры. Я, как обычно, что-то накалякал, очень лохмато и неаккуратно. В конце урока он шел от парты к парте и ставил оценки. Ученицам-отличницам, которых всегда хвалила наша учительница, он...ставил тройки! А дойдя до меня, молча забрал мой рисунок и пошел к доске... Я с тоской посмотрел на «Доску позора», где висели грязные дневники и тетрадки... и

подумал, что вот теперь вызовут маму, и станут объяснять ей, какой я нерадивый ученик. Но учитель продемонстрировал мою работу классу и сказал: «Вот так надо рисовать!» Представляете? В шестом классе я изобрел и сделал сам телескоп из папье-маше и двух пар бабушкиных очков – одних для дали, других для близкого чтения. Я был чокнутым астрономом, я вел тетрадь движения созвездий по ночному небосклону... А тут впервые услышал, что кто-то одобрил мою мазню!.. Из чувства признательности учителю я пошел и записался в кружок по рисованию, который он вел. Но это был не совсем кружок по рисованию, это скорее был кружок по истории искусства. И там разбирали какого-то Сурикова, какую-то Боярыню Морозову... Я отлично знал звездное небо; но совершенно ничего не знал о живописи. Потом художник получил заказ в артели художественного комбината и ушел... Я забыл про рисование. И вот, после восьмого класса, когда начались летние каникулы, я вдруг – внезапно! – захотел рисовать. И это желание не оставляет меня до сего дня.

Так можно ли научить рисовать? Уже здесь, в Израиле, у меня появилась ученица. Я, вообще-то, педагог требовательный, а ученица оказалась отнюдь не вундеркиндом. Кое-как мы продвигались. И однажды приходит ее мама и говорит: вы знаете, моя дочь после ваших занятий часто плачет. Ей кажется, что она то ли вас не понимает, то ли вы очень строги. Я сказал ей – послушайте, не нужны эти страдания. Я вас познакомлю с двумя-тремя замечательными педагогами, возможно, с ними ваша дочь найдет общий язык. Но мама ответила – нет! Она хочет заниматься только у вас. Меня это озадачило; я подумал: эта девочка с недостаточным цветоощущением, чувством формы, но она умненькая, и в ее рисунках есть чувство архитектоники. Исходя из этого, я начал придумывать ей задания, развивая навыки рисования через психологический склад ее личности. Спустя какое-то время она стала делать очень интересные, возможно, не блестящие, но по-своему очень глубокие работы... Более того: в конце года на выставке она даже продала несколько своих работ! Правда, когда я уже для себя решил – как с ней надо дальше заниматься, она подошла ко мне, поблагодарила, сказала: курс рисования я уже взяла. На следующий год я возьму курс гитары. А до этого она «брала» курс балета. Просто, она не была художником. Это способ жизни, манера ды-

шать, думать... Научить быть художником нельзя. Но можно развить человека, его вкус, научить какой-то изобразительной грамотности, и просто воспитать любителя пластических искусств.

– Художник, по-вашему, это профессия или мироощущение?

– Это и то, и другое, но еще и третье: это способ одолевать эту жизнь, такое состояние, без чего невозможно существовать. В «Годах странствий Вильгельма Мейстера» Гете описывает пребывание Мейстера в одном из монашеских братств. Насколько я помню, по уставу этого братства человек должен приобрести какое-то ремесло. В принципе, лучше всего ограничить себя одним ремеслом. Если человек не очень далекий, то эти навыки и останутся с ним в жизни, именно как ремесло, его ремеслом. Для ума более обширного, станет искусством, а истинно высокий ум, высокоразвитая личность, занимаясь чем-то, как бы занимается многими областями человеческой деятельности. И как там говорится у Гёте, и как это не звучит парадоксально, в том, что он «делает хорошо», виден символ и смысл всего, что хорошо сделано.

Так вот, во многих восточных учениях, человек, занятый той или иной деятельностью – будь он врач, портной или кто-то еще, он так или иначе постигает мир через свое ремесло. Тем более – художник. Я просто благодарен живописи, что проживая с ней и в ней свою жизнь, я не перестаю думать о самых глубоких мировоззренческих вещах и процессах.

– Заставить читать бездарное нельзя, как ни сверли мозги. А вот с полотнами – другая картина, тут вполне можно убедить публику, что перед ней «великие шедевры». Неужели и сегодня реально швабру превратить в ёлку?

– Ситуация в литературе и в изобразительном искусстве, в принципе, различная. За «своего» писателя читатель «голосует» тем, что покупает его книги. Прикиньте: стоимость книги, допустим, 100 шекелей. А стоимость полотна – минимум в двадцать-тридцать раз дороже. И любитель искусства, небольшого достатка, не может позволить себе купить картину. Зато сплошь и рядом ее может купить состоятельный человек, который в искусстве не разбирается, но знает, что в доме должны висеть картины. Естественно, он обращается к дилеру, куратору... Те из каких-то своих

соображений могут посоветовать ему – в какую мастерскую наведаться или с какой выставки купить картину. Словом, возможностей влиять на раскрутку художника гораздо больше.

– У ваших картин есть национальность? Как живет профессиональному художнику на Святой земле, в краю обетованных красок? Нет ностальгии по черноземным зимам?

– С красками как раз проблемы. На Святой земле особое свечение, и в той форме живописи, в какой я работаю – в картине, – трудно создать цветовой эквивалент этой световой силе. Свет – основное содержание живописи. Но сам свет передать невозможно. По словам Сезанна, «солнце изобразить невозможно, но можно изобразить его цветовой эквивалент». Не зря картина как форма живописи была изобретена в других широтах, других ландшафтах, другой световой среде. Поэтому я часто ездил, делал серии работ в странах, где картина как бы «дома», давая отдохнуть сетчатке глаза. И опять пробовал решить проблему, при всех помехах.

– Вы человек верующий, соблюдающий традиции – так было всегда?

– Нет. Но, видимо, религиозное чувство переживания мира во мне всегда присутствовало, и мне кажется, без этого чувства не бывает ни настоящего художника, ни писателя, ни музыканта, ни ученого.

– Вы с вашей женой, писателем Диной Рубиной сделали общую книгу «Окна». Можно о ней поподробнее?

– Это такая неожиданная идея была. И Дина пишет о том в предисловии к книге. Просто, мы переводили мои картины из старой мастерской в новую, построенную у нас на втором этаже – с таким чудесным окном в потолок. И пока перевозили, обнаружили, что чуть не во всех моих картинах присутствуют окна или окно. Дина задумалась и сказала, что у нее в текстах тоже есть много окон разного свойства, в разных смыслах... В это время у нас гостила наш друг (к сожалению, покойный) Надя Холодова, литературный агент, издатель, редактор... Вечером, сидя за чаем, она предложила объединить наши окна, издать книгу, в которой писатель и художник дополняли бы друг друга своим видением пространства и «взглядом из окна в мир»... И несмотря на то, что Дина уже работала тогда над первой книгой своей трилогии «Русская кана-

рейка», она прервалась на работу над совместной нашей книгой. Написала девять новелл, к которым мы выбрали 54 моих картины...

По следам этой книги одна из питерских галерей предложила мне одноименную выставку в недавно отреставрированном Шереметьевском дворце. Это был, конечно, праздник.

– Кого бы вы могли назвать своими учителями, кто на вас повлиял, чье творчество вам близко и важно?

– Я учусь до сих пор. У меня, правда, были конкретные учителя и в худ. школе и в училище, но мои интересы и мои желания были гораздо шире школьной программы. Где-то лет в шестнадцать я пережил серьезное потрясение, вызванное появлением книги Синявского и Голумштока «Пикассо», – был настолько поражен пластическим метаморфозам рисунка Пикассо, – это был рисунок быка, – что впал в творческую депрессию. Впрочем, осознал, что Пикассо – далеко, а чтобы анализировать и синтезировать реальность, мне нужен метод. Я постарался изучить все в то время доступное из литературы, что было издано на эту тему, и выбрал для себя метод Чистякова – учителя Серова, Врубеля, Борисова-Мусатова и многих других. Поехал в Киев, в музей русского искусства – там был зал Врубеля, чтобы изучать ранние врубелевские акварели. Не «Демона», не символизм Врубеля, а именно метод Чистякова: передачу формы через плоскости граней. В дальнейшем на меня оказывали влияние многие художники, но это скорее были не наставники, а друзья, беседуя с которыми мысленно, я разрешал те или иные профессиональные проблемы, которые меня волновали.

– Литература и музыка – как они присутствуют в вашей жизни?

– Думаю, в нашем интеллектуально чувствительном пространстве существуют зоны, отвечающие за изобразительную, литературную или музыкальную части нашего восприятия. Но восприятие наше целостно, и если активизируется один из этих отделов, он заставляет активизироваться и остальные. Так, читая художественное литературное произведение, мы с одной стороны как бы мысленно видим, о чем рассказывается в книге, с другой стороны, если это талантливая литература, она ритмична, и в ней непременно есть «музыкальный окрас». Так же и живопись: ее тактиль-

ные и зрительные образы провоцируют литературные и музыкальные ассоциации. Все взаимосвязано. В музыке моей первой любовью был Бетховен, затем Шостакович... Сейчас, когда работаю, слушаю Баха или Моцарта. Из литературной классики мне ближе всего «Тамань» из «Героя нашего времени» Лермонтова и чеховская «Степь». И тот и другой тексты очень изобразительны и музыкальны.

– Как вы работаете – по вдохновению или это регулярный ежедневный труд? А как, интересно, происходит зарождение и «кристаллизация» картин – мелькнувшая мысль, запах упавшего яблока, луна за окном?

– Спровоцировать рождение картины может все, что угодно. И мелькнувшая мысль, и луна за окном, и лежащие драпировки. И даже последние известия. Но чаще всего это, конечно, зрительный образ, подчас, навязчивый, как идея фикс. Работаю я ежедневно, регулярно, и как боевая лошадь перед боем, начинаю «вдохновляться», разогревать себя до рабочего состояния.

– Насколько мы знаем, вы член Международной художественной ассоциации при ЮНЕСКО (правда, сама эта организация, кажется, абсурд в стиле Ионеско). В нашу эпоху высоких технологий миру вообще не до искусства, оно загоняется в низшую нишу? Как по-вашему, дальше – хуже?

– Трезвый анализ ситуации говорит мне, что дальше будет только хуже. Но я работаю, совершенно не думая об этом. Вообще, когда я работаю, я – оптимист. К тому же, стараюсь не заикливаться на том, что все равно изменить невозможно.

– Если бы вы были не художником, то кем?

– В детстве мечтал стать астрономом, демонстрировал хорошие способности в математике. Но сейчас уже даже странно рассуждать, что было бы, если... Я благодарен судьбе, что я – художник, и что занятие искусством позволило мне прожить этот мир сознательно, синтезируя свои мысли и чувства в плоскости картины.

Если согласиться с тем, что воспринимаемый нами мир – иллюзия, то – что нам остается? Ничто, безмолвие белого листа бумаги или холста, где линия, проведенная нами, есть граница; граница иллюзорная, граница нашей боли, которая только и свидетельствует о нашем существовании; ощущение отдельным ор-

ганизмом бездны беспредельного холодного ужаса. Искусство помогает превозмочь отчаяние и заглушить страх неведомого, обнаружить в себе те же силы, что и вовне, увидеть иллюзорность разделения. Найти то, что ограничивает ощущение целого. И здесь искусство покидает территорию эстетического и возвращается к своим сакральным истокам.

* * *

На краю ограниченного и бесконечного мы должны дать ответ: кто мы и как соотносимся с космосом, который ощущаем враждебной силой. Слиты мы или разделены? А может, это – лишь иллюзия разграничения? Осознать себя, заглушить страх неведомого, обнаружить в себе те же творящие силы, что и вовне. На рубеже встречи обособленного и беспредельного рождается язык анализа и синтеза: язык проклятий и надежд, язык молитв.

* * *

На изначальный хаос впечатлений мы накладываем масштабную сетку определений: масштабы, членения, соотношения, внутренняя организация пространства, времени, ритма. Человек преобразует некий внешний импульс в пространственно-временное переживание.

Художник, нащупывая алгоритм внутренних переживаний, организуя их соритмизацию, тем самым усиливает их, образуя для зрителя поле более концентрированного, образно чувственного бытия, где свет – основное содержание картины. Не содержимое, а глубинно сакральное ее содержание, ее субстанционное начало. Изначально художник ищет свет, его особые проявления в его физическом проявлении, пока не приходит к неизбежному понятию, что свет прежде всего – начало духовное.

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Роман Кацман

ПЕСНЬ КРОТА

Денис Соболев: “Тропы”. Издательские решения, 2017. 120 с.

Рукописи, как известно, не горят. Это тем более замечательно, что изданные по ним книги зачастую исчезают с полок магазинов и библиотек и становятся малодоступными раритетами. Изданный много лет назад сборник стихов Дениса Соболева постигла именно такая участь, и если бы не счастливая идея переиздать с трудом сохранившиеся рукописи, то русско-израильский литературный ландшафт, лишившись этой книги, был бы сегодня существенно беднее. Эти стихи были написаны в 1994-1997 годах, незадолго до того, как Соболев начал работать над своими иерусалимскими сказками, позднее составившими роман «Иерусалим» (2005). Их появление теперь, после выхода в свет в 2016 году его второго романа «Легенды горы Кармель», создает любопытное одновременное со-бытие двух локусов его творчества, превращая их в два параллельных мира, в две тропы или два тропа, которые накладываются друг на друга, но не пересекаются, создавая своеобразную оптическую, вернее, поэтическую иллюзию – новый троп или новую тропу, заслуживающую того, чтобы быть пройденной.

Сходство с борхесовским садом расходящихся тропинок, прямо упомянутым в одном из стихотворений, обманчиво, несмотря на тематическое, жанровое и стилистическое разнообразие циклов стихотворений, включенных в сборник, и несмотря на множественность мыслительных перекрестков и возможностей интерпретации. В полисемическое письмо Соболева непротиворечиво встроена монистическая философия. Дело в том, что тро-

пинки Соболева, как и надлежит тропам, не расходятся, а сходятся, подобно тому, как две сочлененные синекдохи составляют единую метафору, не растворяясь в ней, но и не позволяя выбрать одну без другой. Вот один пример:

Вспоминая прозрачный Итиль, не жалею о себе и о нем;
Силуэты двуликих мостов намекают на близость
к бессмертью;
Уходящий в немыслимость город и кровью, и льдом,
И огнем,
Равнодушным свеченьем, промозглым величьем
и каменным сном
Опрокинутый в серую воду, уже непричастную смерти.
("Вспоминая прозрачный Итиль", цикл «Хазария», с. 50)

Здесь хазарский Итиль и Петербург, родной город Соболева, – одно. Их объединяет идея бессмертия. И она же воплощена в Иерусалиме, в «склонах Иудеи», чей «знак бессмертия», как «сбитой капители / орнаменты», запечатлен в другом стихотворении:

Воск на руках, песок и глина на губах,
Тень перекрещенная – темный звук паденья,
И по ладони гор, где сель, туман и страх
Плетут судьбу: в глазах, в словах, в чертах
Мольбы, безжизненность, покой, оцепененье.
("Воск на руках", цикл «Город», с. 7)

"Песок и глина на губах" сводят тропы Адама и Голема в метафоре вечности, накладываясь на телесное ощущение оказавшегося в Иудейской пустыне или просто застигнутого хамсином путника. Каким образом эти песчаные тропы вечности сочетаются с соболевской философией конечного, разрабатываемой им уже в его книге "Евреи и Европа", в особенности в главе, посвященной концепции поэзии существования? Да и так ли уж вечен Вечный Город, если в нем возможен такой разговор:

Мы тут с моим
Взяли в Армно-а-Нациве за сто тридцать

Мамаш хинам зато деньги мамаш в цейтноте
Мой-то вообще дома перестал бывать
Я его только по ночам и вижу
А ему в гараже еще и недоплачивают этот самый
Говорит в том месяце заплатим а я ему говорю
Нечего трахать мозги он должен платить
(“Спор о любви разума, души и тела”, цикл “Пустыня”, с. 65)

Ответ находим в “Иерусалиме”, но еще яснее и пластичнее он выражен в “Легендах горы Кармель”, в сказке “Про девочку и корабль”, в которой сознание рассказчика, расщепленное на образы интеллигентного математика и обкуренной девочки-подростка, обнаруживает “неожиданный мир правды”, “мир тишины”, “непринадлежности ко всему”. Соболев размыкает бытие и познание, освобождая не только человека от объектов, но и объекты от привилегированного доступа человека к ним, от корреляционизма, в терминах современного французского философа Квентина Мейясу (“После конечности”). Другими словами, как пишет Грэм Харман, объекты абсолютно реальны и именно поэтому абсолютно скрыты во тьме бытия (“Четвероякий объект”). У Соболева они и есть конечное, погруженное в вечное. Для него объект — это своего рода темная, невидимая кротовая нора, соединяющая две хорошо протоптанные тропинки в лесу значений и символов. Эта нора — то Реальное, тот самый Троп, который соединяет разделенное; ультимативная метафора свободы и правды. Поэтому самый искренний и самый удивительный образ в “Тропах” — это образ поющего крота, соединяющий в себе черты философа и поэта:

Жизнь медленно стекает:
Из глазниц, из-под ногтей,
Ушей, уже не слышащих как лает
Бездомный пес, как с повизгом стенает
Черный нищий, как поет
На солнце вышедший ничей
Приблудный — крот.
(“День на исходе”, цикл “Город”, с. 13)

Соболевский крот роет свою нору “по ту сторону темноты, по ту сторону небытия”, “Сквозь слово, / Сквозь молчание навстречу. Сквозь открытость” (“10”, цикл “Миндальное дерево”, с. 114-115). Эта открытость бытию состоит в благодарном принятии реальности вещей. В большей части стихотворений, вошедших в сборник, эта открытость выражается в предпочтении настоящего времени или в отказе от времени вообще, от глагола, от законченности предложения:

За металепис слов
И цезуру времени
За холод осеннего дня
И тепло зимней ночи
За молчание музыки
И контрапункт тишины
За сплетение дорожек сада
И мокрую землю
За свет одиночества
И его темноту
И за легкость.
 (“1”, цикл “Скала”, с. 94)

Иногда предложения начинаются и не заканчиваются, словно норы, уходя в бесконечность рекурсивными дополнениями. Иногда речь сбивается на заикание, лепет, бред, но никогда — на нонсенс или заумь. Коммуникативность, риторичность и референтность поэтического высказывания не нарушается, тем самым отражая и дублируя онтологическую независимость, прочность реальности объектов.

Единственный “объект”, многократно упомянутый на страницах книги, который мог бы, на первый взгляд, поколебать эту прочность, обозначен местоимением “Ты”. Это тот, кому принадлежит и голос, и молчание, к кому обращены все слова, чьи черты — “знак бессмертия и знак смерти” (“Ударяясь о стену”, цикл “Хазария”, с. 42). У него разные лица: Бог, Город, пустыня, хамсин, женщина или просто собеседник, точнее, спутник поэта. И всё же он един единством погруженных в него и скрытых в нем предметов:

Зеркало
Обращенность
Звон колокольчика
Вода
Ворс ковра
В открытости
Твоей тишине.
("Джин без тоника", цикл "Пустыня", с. 81)

Нетрудно заметить, что "Ты" — это тот, на кого направлена открытость, а следовательно он и есть бытие. Он (или оно) присутствует только своими "знаками ожидания", пустотой, своим "Нет" ("Первому хамсину", тот же цикл, с. 75). И в то же время он есть, как есть любой объект, потому что он реален. Что может быть трансцендентнее реального объекта? Таким образом, присутствие "Ты" в поэзии Соболева имеет мало общего с мистикой, теологией или теопозитикой, а соотносится, скорее, с тем, что сегодня известно как объектно-ориентированная онтология или спекулятивный реализм. Для того, чтобы нейтрализовать слишком затасканный термин "реализм", я бы воспользовался применительно к письму Соболева (как к его поэзии, так и к прозе) понятием, всё чаще употребляемым учеными в последнее время: онтопоэтика. Оно означает эстетическое воплощение коммуникации всего со всем — людей, вещей, машин и знаков — как одновременно субъектов и объектов, одинаково реальных и трансцендентных друг по отношению к другу, как бы говорящих друг другу многократное взаимное "ты".

Эти (вполне не буберовские) "ты" и есть тропы, давшие название книге. Из них состоит поэзия, но из них же состоит и Иерусалим, и вообще Город и города, Вечность и времена, а также Бог и боги, смыслы и культуры. В одном из стихотворений все тропы и тропки сливаются в одну реку — то ли памяти, то ли забвения — запруженную вещами, культурными знаками, метафорами временности и мимолетности существования, и купание в этой реке, по словам поэта, может быть весьма опасным ("З", цикл "Миндальное дерево", с. 103-104). Река вещей не столько противоположна, сколько дополнительна по отношению к символам бессмертия, о которых речь шла выше. Она крайне не экологична, токсична, но

всё же как целое и она вечна. Этот символ оказывается важным элементом онтопоэтики Соболева, поскольку гипертрофировано и гротескно представляет хайдеггеровскую идею сломанного инструмента, подчеркивая от противного значимость исправной коммуникации вещей.

Обращение поэзии к миру вещей сегодня, за пределами ортодоксально модернистской или постмодернистской парадигмы, не означает бунта против метафизики или идеологии и не выражает кризиса культуры. Скорее наоборот, таким образом русская литература, обживаясь и “одомашниваясь” в современном Израиле, осуществляет реалистический разворот в сторону познания новой для нее культуры, одновременно израильской и универсальной. Этот процесс является важной составляющей общей демаргинализации русско-израильской литературы, в ходе которой та избавляется от комплексов эмигрантскости, минорности и провинциальности как по отношению к российской русской литературе, так и по отношению к израильской (ивритской) литературе, от ностальгии по первой и от иллюзий в отношении второй. Мне уже доводилось говорить об этой общей для сегодняшней русско-израильской литературы тенденции (Гарвардская лекция, 2017)¹ и, в частности, писать о ней в связи с поэзией Гали-Даны Зингер (Артикул №4, 2017), чья онтопоэтика носит ярко выраженный объектно-ориентированный характер (в этом контексте нужно упомянуть и ее поэзию на иврите, как например вышедшую в 2017 году книгу “Шкуфим ле-мехеца”, то есть “Полупрозрачные”). И хотя систематическое изучение этих тенденций еще впереди, позволю себе предположить, что “Тропы” Соболева, написанные в 90-е, остаются созвучными реальности и сегодня, а также что, возможно, их значение для литературного процесса только сегодня и может быть осознано вполне.

¹ https://www.academia.edu/35544512/Demarginalization_of_Temporary_Russophone_Literature_in_Israel

Михаил Юдсон

МЕССИАНСКИЕ ХРОНИКИ

Яков Шехтер, «Второе пришествие Кумранского Учителя»
(роман в трех книгах) – Одесса, 2016.

Массовый нынешний читатель, ведущий «сетячий» образ жизни и занятый все пуще рассматриванием картинок с подписями (отрада для существ с интеллектом трилобитов) – больших, объемных, сложных текстов не жалуется. Чего там пробираться сквозь густые кущи!..

Но трилогия Якова Шехтера в тыщу страниц своего читателя – понимающего, ценящего – и без того найдет. Не зря Дина Рубина авторитетно утверждает с обложки: «Потрясающе увлекательно! Текст проглатывается в один присест, не отрываясь, не поднимая головы. Действие разворачивается с места в карьер, тьма-тьмущая фантазии, выдумки, деталей новых, диковинных для читателя, еще не освоенных в пространстве «русско-читающего сознания». Я бы сказала: ошеломляюще интересно читать, а это такая сейчас редкость, что я абсолютно убеждена в успехе книги».

Когда Рубина вводит понятие «русско-читающего» пространства, то не забывает и о соплеменном времени – поистине «такая сейчас редкость». А Яков Шехтер вообще писатель редкостный – религиозный еврей, живущий в Израиле и пишущий на велико-могуче-прекрасном русском языке о евреях же, хороших и разных, древних и соседских, мудрых и жовиальных.

Не секрет, что кириллице-мефодице на землице обетованной приходится туго. При вхождении в Иерусалим всякий «прирожденный русский литератор» слышал когда-то гортанную осанну местных уроженцев: «Рус олим! Сдавайс!» Но ничего, выдюжили, выдержали артельно (тем же Шехтером, скажем, основан, собран

и заведен журнал «Артикль»), не выпали в осадок. Обгусевшие лебеди, как говаривал Губерман – хорошо не шкварки!

В общем, Яков Шехтер яркий пример удачного вживания в каменистую писательскую почву (около тридцати изданных книг), он открывает зачарованному русскоязычью еврейские миры изнутри, с их подкладкой, изнанкой, божественной историей и географией.

Данный роман имеет три, так сказать, оазисных источника, три составные части – это том первый «Поцелуй Большого Змея», том второй «Идолы пустыни» и том третий «Комета над Кумраном». Надо отметить, что трилогия про Второе пришествие – книга для всех возрастов, явление всему читательскому народу. Перед нами своеобразный «еврейский Гарри Поттер».

Если излагать коротко, пунктирно – жили-были две тысячи лет назад, в Кумране, у самого Мертвого моря некие ессеи – маленькая отшельническая еврейская секта, и была у них подземная школа, где детей учили чудесам. Вот туда-то, в Кумранскую общину пророков, врачей и чудотворцев, и попадает главный герой Шуа – мальчик из Эфраты (он же Бейт-Лехем, сиречь Вифлеем), оставив мать Мирьям (Марию) и отца Йосефа. Роман повествует нам о юности Шуа – его учениях, мучениях, приключениях, взрослении и развитии, друзьях и недругах, надеждах и разочарованиях. А там постепенно, шаг за шагом, страница за страницей – и о превращении из мальчика-школьника в Учителя Праведности.

Сами понимаете, кем будет (по-нашему «ие») Шуа, когда подрастет и поднатореет в кумранских науках. Например, учат в этой ессейской школе, что ежели правильно взглядеться, то увидишь над любой водой «желтые линии» – твердые дорожки, и ступай по ним аки посуху, а заодно и булыжник при желании можно превратить в хлеба, а песок в рыбы, и накормить при случае уйму сырых и прорву голодных.

Приятели-однокашники у Шуа тоже не промах – бойкий, говорливый Шали (Савл-Павел) и основательный неторопливый Кифа (это значит «скала», камень, Петр) – босоногие апостолы, чьи столы в столовой и лежанки в каморке всегда рядом с нашим героем. Как в классической русской сказке (да-с, Кифы мы! «налево пойдешь, Илюша...») три дороги ожидают Шуа-богатыря – путь Терапевта, путь Воина и путь Книжника.

Мне лично в процессе чтения полюбился третий путь, и я готов на него свернуть хоть сейчас, свалить в этот дивный письменный рай – да мелкие грехи не пускают... Плюс с детства заучено, по Левинсону – надо исполнять свои обязанности. А ведь как хорошо было бы попасть из шумного тель-авивского разгрома в Башню Книжников – и сидеть там безвылазно и благодатно, и писать денно-ночно тончайшей верблюжьей кисточкой на нежнейшем пергаменте из кожи нерожденного теленка!

Яков Шехтер выстраивает, конструирует мир своей книги неспешно и подробно, пространство романа наполнено деталями и персонажами диковинными, но явно живыми и даже боевыми. Сражения, а не рассуждения – вот постижение жизни (это вне-возрастное – подростка из себя не вытравить)! Сюжетные нити лабиринтно уводят нас то в рыцарский роман, то сплетают дружных и храбрых выюношей в подобие трех мушкетеров – при этом под текстом у Шехтера немало тайных ходов, пересечений ассоциаций и ответвлений реминисценций. Внимательному читателю стоит поучиться у кумранских Наставников – «о, уж они, несомненно, знают все секреты, ведают утаенное, созерцают сокровище».

В трилогии немало авторских советов как близким по духу, так и самым отдаленным единомышленникам – поглощайте сию книгу тщательно, это вам не семечки, не щелкайте мышкой, а разуйте глаза. Вот, к примеру: «Ветерок усилился, и крона кипариса прямо перед моими глазами зашевелилась, заволновалась, будто живая. Я принялся наблюдать за движением бархатистой хвои, пытаюсь отыскать в ее плывущих, дрожащих очертаниях какую-нибудь картинку... В переливчатое трепетание хвои, в беспорядочное шевеление тысяч мохнатых палочек вдруг вторглось организующее начало, словно чья-то невидимая рука принялась рисовать на зеленом фоне, подобно тому, как рисуют палочкой на песке... – Шуа, это я, твой отец небесный». Короче, почему рефреном хвоя? А потому что – Яхве. Сказано же у Шехтера: «Единственное, что можно делать – долго вглядываться в написание букв».

В третьем томе «Комета над Кумраном» романтический пазл окончательно складывается, звезды яснеют, герой прозревает: «Твой отец соединился со Светом. Теперь он часть Бога, а ты – его сын, сын Божий». Кум ран человеческих! Причем посвященному чита-

телю известно, что чем восторженнее ждешь, тем чаще получаешь «лже». Думаешь мессия, а приглядишься – не-е, мессир! И копыто нераздвоенное! Мало ли кого ждут, много их таких является, шляется, вещает, проповедует...

У Якова Шехтера же – первородство второпришествия. Шуа во вратах школьных в своем Сионе: се – лев, а не келев. В конце романа он вместе с соратниками покидает Кумранскую обитель: «маленькие фигурки на фоне огромных лиловых гор, освещенные лучами восходящего солнца. И еще никто не знает, как эти мальчики сумеют изменить лицо человечества». А значит, приключения Шуа и его друзей продолжаются.

**Новая книга Михаила Юдсона
ЛЕСТНИЦА НА ШКАФ**

(Сказка для эмигрантов в трех частях)
Москва, издательство "Зебра Е", 2013. - 560 с.

"Давно я не получал такого удовольствия от прозы. Тени Джонатана Свифта и Джорджа Оруэлла витают над этим текстом, одновременно смешным и страшным. Большое счастье - появление нового талантливоего голоса. Спасибо, Миша, дай вам Бог удачи и в дальнейшем".

Игорь Губерман

Книгу можно заказать по телефону: 050-908-03-48
Цена 120 шекелей с пересылкой.

СЛІХИ І СПІРУНЬ

Ирина Морозовская

ПО БЕЗУМНЫМ ДОРОГАМ СУДЬБЫ КОЛЕСЯ...

Это поёт нам Вадим Гефтер, как будто созданный для приёма парадов, для гитары и сцены, для бизнеса и меценатства, для любви и дружбы, для отцовства и братства – всем этим судьба его щедро наделила.

Давным-давно уже неустанно изумляюсь, как Вадиму удаётся совмещать в одной судьбе всё, что удаётся, на безумных её дорогах – поворотах и крутых изгибах и горках. И любуюсь с восхищением на всё, что удаётся увидеть и услышать в стремительном движении Вадика по ним. Наверное, для него, крупного во всех отношениях, и Судьба в размерчик выдана, обширная и разносторонняя. Как и его талант, это тут я только о песенках, таких обманчиво простых, расскажу.

Впервые услышав его со сцены в Харькове, подпала под обаяние его песен. Сработал эффект неожиданности – тонкая и нежная лирика от громоздкого и очень земного мужика. А потом, конечно, и весёлые нашлись. Вот эта, трагикомедийная:

ПУСТЬ ПАРАДОМ КОМАНДОВАТЬ БУДУ НЕ Я

<https://www.youtube.com/watch?v=-KI4mky7d5o>

Потом появились печальные и мужественные:

ПОЗДНО НАЧИНАТЬ

<https://www.youtube.com/watch?v=rz1ks7YUBo0>

и трагические по сути, вызывающие улыбку притом:

СКОЛЬКО МРАЗИ

<https://www.youtube.com/watch?v=VFf6p6fk-MMU>

Неизбежно – политически окрашенные, ведь последняя война изломала судьбу донецкого барда и бизнесмена так, что лучше только послушать:

СМУГЛЯНКА

<https://www.youtube.com/watch?v=4aSEH3xqehw>

ПЕСНЯ БУРАТИНО

<https://www.youtube.com/watch?v=jxsC5vRr-4U>

Лирика Вадима – это рассказы настоящего мужчины, в лучшем из смыслов этого выражения, о том, что традиционно считается сентиментальным, но у него получается сердечно и подлинно:

НАД ГОРОДОМ ТАЕТ ЗВЕЗДНЫЙ ФАЯНС:

<https://www.youtube.com/watch?v=pkS386lv1iU>

А любимую свою, нежнейшую лирическую, про город Ярослав и пани Зосю, я не нашла отдельно, но здесь она с 28-й минуты, послушайте:

<https://www.youtube.com/watch?v=eLMzjvVd0ew>

И – наверное это можно назвать философской лирикой:

ДАВАЙ УГОНИМ САМОЛЁТ

<https://www.youtube.com/watch?v=NmC1RgwIE00>

В нашем жанре песни неотделимы от личности, честность, стойкость, достоинство, которыми Вадим щедро делится с нами сквозь них – это ценности, которых никогда не бывает много, даже в достатке бывает редко. Для меня – радость и опора иногда оказываться в одних программах и концертах с Вадимом Гефтером, слушать его концерты в ютубах, когда обнаруживаю новое. Надежда на то, что при таких опорах и мир наш устоит.

Конечно, лучше всего слушать Вадима со всем, что он рассказывает между песнями, и это можно здесь, в программе:

"ПО БЕЗУМНЫМ ДОРОГАМ СУДЬБЫ КОЛЕСЯ"

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

https://www.youtube.com/watch?v=R_vqZO3FKBM

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

<https://www.youtube.com/watch?v=qUDmQBhImVA>

Сведения об авторах:

Нина Воронель – писатель, драматург, переводчик. Живет в Тель-Авиве.

Мадина Тлостанова – филолог, прозаик. Живет в Линчёпинге (Швеция).

Алина Загорская – журналист, прозаик, фотохудожник. Живет в Бат-Яме.

Григорий Подольский – врач-психиатр, прозаик. Живет в Иерусалиме.

Михаил Гольд – художник, прозаик. Живёт в Холоне.

Сергей Четвертков – прозаик, сценарист. Живет в Москве.

Даниэль Клугер – писатель, автор песенных баллад. Живет в Реховоте.

Яков Шехтер – писатель. Живет в Холоне.

Рита Бальмина – художник, поэт. Живет в Нью-Йорке.

Ирина Каренина – поэт, журналист. Живет в Минске.

Ирина Маулер – поэт, бард, художник. Живет в Беэр-Яакове.

Алексей Цветков – поэт. Живет в Бат-Яме

София Бронштейн – поэт. Жила в Нетании. Умерла в ноябре 2017 года.

Илья Марков – переводчик, поэт. Живёт в Ижевске.

Дмитрий Стровский – поэт, историк. Живет в Ариэле.

Давид Маркиш – писатель. Живет в Ор-Йегуде.

Тая Найдено – поэт, публицист, колумнист. Живет в Одессе.

Роза Ляст – историк. Живет в Бней-Браке.

Марк Горин – журналист, редактор. Живет в Тель-Авиве.

Эдуард Бормашенко – философ, физик. Живет в Ариэле.

Александр Мошинский – археолог. Живет в Москве.

Борис Карафёлов – художник. Живет в Мевассерет-Ционе.

Роман Кацман – филолог, переводчик. Живет в Гиват-Шмуэле.

Михаил Юдсон – литератор. Живет в Тель-Авиве.

Ирина Морозовская – психолог, бард. Живет в Одессе.

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ

**Яков Шехтер
Михаил Юдсон**

Ответственный секретарь

Михаил Сидоров

Редколлегия:

**Ирина Маулер (раздел поэзии), Ирина Морозовская (раздел
“Стихи и струны”), Анна Мисюк,
Эдуард Бормашенко, Роман Кацман,
Денис Соболев (раздел литературной критики),
Давид Шехтер (раздел публицистики)**

Компьютерная обработка:

Амнон Пасхин

Почтовый адрес:

**Michael Yudson, Journal “Article”. P.O.B. 44050,
Tel-Aviv 61440, Israel**

Телефон: 050-908-03-48 (в Израиле)

(972)-50-908-03-48 (для заграницы)

Электронный адрес редакции:

articreda@gmail.com

Сайт журнала:

<http://www.sunround.com/club/journal.htm>

Фейсбук:

<https://www.facebook.com/TelAvivskijSetevojZurnalArtikl>

Стоимость годовой подписки (с пересылкой):

**в Израиле – 200 шекелей,
за рубежом – 100 долларов.**

